ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ-ЖУРНАЛ

№ 7—8

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА 1-9-2-7

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева и А. Я. Троицкого. Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

И. Агол, И. Альтер, А. Айхенвальд, Арк. А—ц, В. Асмус, В. Астров, Гр. Баммель, А. Бартенев, Я. Берестнев, А. Болотников, В. Борисенко, Б. Борилин, Н. Бухарин, В. Ваганян, И. Вайнштейн, П. Виноградская, А. Вишневский, А. Вознесенский, Р. Выдра, В. Выропаев, Б. Гессен, С. Гоникман, Б. Горев, И. Дашковский, А. Деборин, Ш. Двалицкий, Г. Дмитриев, Ф. Дучинский, В. Егоршин, Б. Завадовский, Г. Зайдель, Н. Звенигородцев, П. Попов, Ф. Капелюш, Ник. Карев, В. Кирпотин, Б. Козо-Полянский, В. Колоколкин, К. Корнилов, А. Кон, Ст. Кривцов, Н. Куравов, И. Левин, Н. Ленцнер, Б. Лифшиц, Н. Лукин-Антонов, И. Луппол, А. Максимов, Дм. Марецкий, Л. Мендельсон, К. Милонов, В. Милютин, Я. Миренкин, Ф. Михайловский, С. Моносов, В. Невский, И. Орлов, И. Павлович, Е. Пашуканис, В. Позняков, В. Полянский, М. Покровский, И. Разумовский, Я. Розанов, И. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, Д. Рязанов, И. Сапир, П. Сапожников, Н. Саргин, А. Серебровский, А. Слепков, Вас. Слепков, И. Степанов, А. Столяров, П. Стучка, Я. Стэн, А. Тальгеймер, Ф. Теленчиков, А. Тимирязев, А. Троицкий, Г. Тымянский, А. Удальцов, Ю. Франкфурт, Ц. Фридлянд, В. Фриче, З. Цейтлин, Г. Шмидт и др.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 1-21-16, кремлевский 3-90.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Непринятые рукописи не возвращаются.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 7—8
ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1927

Главлит № 97101 - Москва. Тираж 4.000 экз.

Тип. изд-ва «Правда» и «Беднота». Яузский мост, Серебрянич. наб., д. 22а.

СОДЕРЖАНИЕ

Критика и библиография.

Сообщения и заметки.

Немецкий социализм в стихах и прозе.

Deutscher Sozialismus in Versen und Prosa.

К. Маркс и Фр. Энгельс.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Публикуемые здесь впервые в русском переводе две статьи Энгельса о «Немецком социализме в стихах и прозе» были напечатаны в «Deutsche Brüsseler Zeitung», немецкой демократической газете, издававшейся бывш. прусским офицером—впоследствии участником баденского восстания—Ад. фон-Борнштедт (1808—1851) в Брюсселе с 1 января 1847 г. до февральской революции. Первая статья (о Беке) помещена в №№ 73 и 74 (от 12 и 16 сентября 1847 г.), вторая (о К. Грюне) в №№ 93—98 (от 21, 25 и 28 ноября, 2, 5 и 9 декабря 1847 г.). Насколько нам известно, эти статьи с тех пор не перепечатывались и, так как брюссельская газета является величайшей библиографической редкостью, они очень мало известны.

Маркс и Энгельс относились к этой эмигрантской газете так же, как и к парижскому «Vorwärts'у» в 1844 г., как к «Bummelblättchen»—по удачному выражению Маркса в его письме к Энгельсу от 18 мая 1859 г. Но, не имея других возможностей помещать свои работы в печати, они ее захватили весной 1847 г. в свои руки и до февральской революции опубликовали в ней ряд важных статей, как, напр., полемику с К. Гейнценом, статью против правительственного социализма, о гражданской войне в Швейцарии и др.

«Немецкий социализм в стихах и прозе», по всей вероятности, составляет главу той части «Немецкой идеологии», которая направлена против истинных социалистов. По первоначальному плану «Идеологии» авторы, повидимому, посвятили «истинному социализму» лишь две главы: сохранившуюся в рукописи статью Энгельса под этим же заглавием и опубликованную в 1847 г. в «Westphälisches Dampfboot» О. Люнинга статью Маркса против К. Грюна «Историография истинного социализма» [1]). Но по мере того, как это течение в Германии все больше расширялось и разветвлялось, авторы «Идеологии» были вынуждены уделить ему столько же внимания, как и критике послегегельянской философии в лице Л. Фейербаха, Штирнера и Бруно Бауэра. В своем письме от 15 января 1847 г. Энгельс пишет Марксу: «Как бы было хорошо, если бы мы могли еще раз написать главу об

---

[1]) Сюда же относится т. н. манифест против Криге, также напечатанный в 1846 г. в «Westphälisches Dampfboot».

истинном социализме, теперь, когда они развились во всех направлениях, когда образовались вестфальская школа, саксонская школа, берлинская школа и т. д., вместе с одинокими звездами Пютманами и т. д. Их можно было бы подразделить по созвездиям на небе».—Из сохранившейся рукописи «Истинные социалисты» явствует, что Энгельс написал эту критику в начале 1847 г. В очень юмористической и весьма резкой форме он разделывается с представителями «истинного социализма», главным образом в области художественной литературы. Писатели и поэты этого направления группировались вокруг довольно многочисленных социалистических журналов и газет. Так, в Рейнской провинции тогда существовала в е с т ф а л ь с к а я группа («Westphälisches Dampfboot» О. Люнинга), в у п п е р т а л ь с к а я группа («Gesellschaftsspiegel» М. Гесса, Фр. Шнаке и др.) и группа Германа П ю т м а н а («Rheinische Jahrbücher», «Deutsches Bürgerbuch», «Prometheus»); в остальной Германии: с а к с о н с к а я группа (журнал «Veilchen» Герм. Земмига, Э. Веллера, Луизы Отто и др.), б е р л и н с к а я группа (Э. Дронке, Ф. Засс и др.) и одиночки К. Бек, А. Мейснер и М. Гартман в Австрии и многие другие. Влиятельным органом была «Трирская газета», выходившая под идейным руководством главного теоретика «истинного социализма», Карла Грюна.

Против слезно-сантиментальных поэтических произведений всей этой компании, а также против двух более слабых стихотворений из сборника Ф. Фрейлиграта «Ça ira» Энгельс и направил свой острый меч критики в статье об «истинных социалистах». Мы остановились на этой, еще неопубликованной работе Энгельса потому, что он без сомнения одновременно с ней написал и по форме и по содержанию родственную ей статью о К. Беке. После «открытия» юных работ Энгельса,—среди которых находится одна статья о Беке,—нет никакого сомнения, что автором названной статьи является не Маркс, как до сего времени считали, а Энгельс. Что же касается авторства статьи о Грюне, то мы имеем на это непосредственное доказательство самого Энгельса; в том же письме от 15 января 1847 г. он пишет Марксу: «Я переработаю статью о грюновском Гёте, сокращу ее до размеров полулиста, максимум трех четвертей листа и подготовлю ее для нашей публикации, е с л и ты это одобряешь, о чем ты должен немедленно мне написать. Книга слишком характерна. Грюн восхваляет всякое ф и л и с т е р с т в о Гёте как ч е л о в е ч е с к о е, он превращает франкфуртца и ч и н о в н и к а Гёте в «истинного человека», между тем как все колоссальное и гениальное он обходит или даже оплевывает до такой степени, что эта книга представляет блестящее доказательство того, что ч е л о в е к — э т о н е м е ц к и й м е щ а н и н. Я это только наметил, но мог бы это развить и порядком сократить остальную часть статьи, так как она не подходит для нашего журнала. Что ты об этом думаешь?»—Из этого можно заключить, что Энгельс написал сперва более длинную статью о книге Грюна для «Немецкой идеологии», но после крушения всех надежд на возможность ее издания, сократил и обработал ее и вместе со статьей о Беке опубликовал в Брюссельской газете.

Кроме уже перечисленных нами статей против немецкого истинного социализма в литературном наследстве Маркса и Эн-

гельса сохранился еще отрывок статьи Энгельса «О немецкой социалистической литературе», написанной по всей вероятности летом 1847 г. Если, таким образом, просмотреть реконструированный Д. Б. Рязановым план «Немецкой идеологии» [1]), то бросается в глаза, что большая часть критики истинного социализма, особенно его представителей в литературе, написана Энгельсом— конечно, при тесном сотрудничестве с Марксом. Да и в «Немецком социализме в стихах и прозе» не исключена возможность участия Маркса, но тем не менее несколько странно, что не только П. Струве, Бернштейн и др. исследователи до настоящего времени приписывали эту работу Марксу, но даже и такой блестящий стилист как Меринг считал эту очень характерную для стиля Энгельса работу «несомненно написанною Марксом» [2]). В заблуждение, правда, могла ввести оценка Гёте, в статье о Грюне, совпадающая со взглядами Маркса на великого поэта. Но теперь, когда нам известен весь ход духовного развития молодого Энгельса, нет ничего удивительного, что именно он, а не Маркс, должен был критиковать представителей «истинного социализма» из области литературы. Если Маркс пришел к социализму через классическую немецкую философию, то Энгельс, в известном смысле, пришел к нему через немецкую литературу, впитывая в себя в течение нескольких, самых важных для его развития, лет все идеи тогдашней радикальной немецкой интеллигенции, о чем свидетельствует целый ряд его юных литературно-критических статей и работ [3]). «Немецкий социализм в стихах и в прозе» такой же расчет Энгельса с эстетическими идеалами литературного направления «истинного социализма», как и с «Молодой Германией» пять лет назад [4]). После этого едва ли можно считать обоснованным упрек, сделанный Мерингом и др. Марксу и Энгельсу, что будто бы основоположники научного социализма хорошо разбирались в вопросах экономики и философии, но чересчур перегибали палку в вопросах литературы и эстетики. «Они,—пишет Меринг,—с презрением смотрели на все, что для них являлось уже изжитым пониманием. При этом они забыли о праве поэта говорить на своем собственном языке, который по своей логической ясности не должен равняться с языком научным» [5]). Нам кажется, что основатели научного социализма достаточно сведущи в вопросах литературной критики 40-х гг., чтобы сказать свое слово.

Не совсем правильно частое подчеркивание в марксистской литературе, будто эти работы против истинных социалистов имеют только исторический и биографический интерес. Меринг даже боялся, как бы их опубликование не умалило заслуг истинных социалистов перед рабочим движением [6]); частая ссылка при

---

[1]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. I, стр. 193—194.

[2]) F. Mehring, Nochmals Marx und der «wahre» Sozialismus. In «Neue Zeit» XIV_2 (1896), S. 397.

[3]) Эти статьи опубликованы во втором томе Сочинений Маркса и Энгельса под ред. и с прим. Д. Рязанова. М.—Л. Гиз. 1923 г.

[4]) См. там же, стр. 231—245, статью Энгельса: «Александр Юнг и Молодая Германия».

[5]) Фр. Меринг, Мировая литература и пролетариат, Москва, Гиз, 1924, стр. 162.

[6]) F. Mehring, l. c., S. 398—399.

этом на авторов, которые сами предоставили свои рукописи «грызущей критике мышей», также не совсем соответствует действительности. Бернштейн в одном месте рассказывает [1]), как Энгельс еще в 1883 г. предложил ему «чрезвычайно дерзкую» работу [2]) для фельетона партийного органа, цюрихского «Социал-Демократа»; из описания Бернштейна явствует, что это были «истинные социалисты». И Энгельс, по словам Бернштейна, взял статью обратно лишь потому, что она была направлена против определенного течения в тогдашней социал-демократии в Германии, которое Энгельс не хотел компрометировать во время действия закона против социалистов. При издании литературного наследства Маркса и Энгельса Меринг также не считал нужным печатать хотя бы одну из этих литературно-полемических статей против «истинного социализма»; из «Немецкого социализма в стихах и прозе» он приводит несколько цитат [3]) и указывает на важное значение некоторых положений.

«Открытие» статей о «Немецком социализме в стихах и прозе» было сделано Ф. Мерингом и П. Струве [4]) в 1896 г.; оно совпадает с «открытием» «истинного социализма» вообще. Трудно понять тон и содержание этих статей в изолированности от всей страстной полемики, которую вели Маркс и Энгельс с истинными социалистами. Кроме того, без, хотя бы и краткого, знакомства с сущностью немецкого «истинного социализма» трудно понять причины, побудившие авторов «Идеологии» напечатать именно эти две статьи из всего оставшегося неопубликованным материала. Поэтому нам придется остановиться немного подробнее на этом раннем социалистическом движении в Германии и выявить причины, побудившие Маркса и Энгельса так резко выступать против него в «Немецкой идеологии», в отдельных статьях и в «Коммунистическом манифесте».

Не без интереса, что значительная доля работы по «открытию» и разработке немецкого «истинного социализма» была проделана русскими марксистами в самый разгар полемики с народниками. Мы не будем вдаваться здесь в вопрос, как велико идейное влияние «истинного социализма» на русское народничество, особенно на ранних его представителей, но что оба течения имели много общего, доказывать не приходится. «Истинный социализм» учил, что Германия может перейти непосредственно от романтически-феодального строя к социализму, минуя фазу капитализма, при условии, если все руководство будет передано «гуманитарной» интеллигенции. Будучи под сильным влиянием лево-гегельянских идей, соединяя в своих сочинениях «гуманизм»

---

1) Marx und der «wahre» Sozialismus. In «Neue Zeit» XIV_2 (1896), S. 217

2) Это место из письма Энгельса Бернштейну от 13 июня 1883 г. гласит: «Считаете ли вы своевременным печатать в виде фельетона в С.-Д. чрезвычайно дерзкую работу Маркса и мою за 1847 г., в которой разделаны и заседающие теперь в рейхстаге «истинные социалисты»? Самое дерзкое, что когда-либо было написано на немецком языке!» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. 1, стр. 347).

3) Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx und Fr. Engels, 1841—1850. Hrsg. v. Fr. Mehring, 2. Bd, S. 385—388.

4) См. F. Mehring, l. c. и Peter v. Struve: Die «Deutsche Brüssele Zeitung» vom Jahre 1847. In «Neue Zeit» XV_1 (1897), S. 380.

Фейербаха и учение об «анархии» Прудона, истинные социалисты в лице своих главных представителей К. Грюна и М. Гесса выработали абстрактную теорию переустройства общества, которая не могла разобраться в действительном общественно-экономическом положении тогдашней Германии. Благодаря отсталому экономическому развитию последней, ее буржуазно-революционное движение опоздало по сравнению с Англией. и Францией на много десятилетий. И в 30-х и 40-х гг. мы видим в Германии то характерное явление, что одновременно с наступлением буржуазии на феодально-бюрократический строй, делает также и пролетариат свои первые шаги, хотя еще очень неуклюжие. Оставляя в стороне первое, еще утопическое, но уже революционное рабочее движение вейтлингианцев, которое, из-за изолированности в Швейцарии, имело мало влияния на движение в самой Германии, часть немецкой интеллигенции, воспитывавшейся на пустых фразах об «абстрактном человеке» и «истинном образовании», претендовала на руководство над довольно значительной пауперизованной массой ремесленников и городской мелкой буржуазией. Либеральные стремления буржуазии не встречали сочувствия в «истинных социалистах»; они без всякого исторического анализа констатировали, что, раз буржуазно-конституционный строй во Франции и Англии не принес обездоленной массе ничего хорошего, поэтому нужно итти против стремлений немецкой буржуазии, борьба с реакционным правительством которой тогда еще была революционной.

Деятельность «истинных социалистов» особенно оживилась после восстания силезских ткачей летом 1844 г., когда под покровительством правительства везде возникали отделения союза «Zum Wohle des arbeitenden Volkes». Не только такие либеральные газеты, как Трирская, но и такая, как Кельнская, бывшая год назад еще реакционной, только и писали о социализме. На Рейне и в других, особенно промышленных, провинциях велась оживленная пропаганда и выросли социалистические журналы и газеты. «Истинный социализм», таким образом, достиг известного рода значения как литературная партия. Но он в корне был пропитан мещанскими идеями и мелкобуржуазными иллюзиями и, несмотря на свои революционные фразы, в тогдашней политической обстановке был реакционен. Своими нападениями на буржуазию эти «истинные» социалисты и даже коммунисты, попавшие под влияние этих идей, создали в известном смысле единый фронт с реакционным правительством против стремлений буржуазии, по крайней мере, эта борьба пришлась правительству очень кстати—и нередко бывали случаи, когда реакционная цензура и полиция покровительствовали социалистам в этой борьбе. Буржуазия заметила эту реакционную роль «истинного социализма» и публично обвиняла не только его представителей, но и коммунистов в том, что они поддерживают реакцию. При таком положении вещей, Маркс и Энгельс, конечно, не могли молчать. Нам здесь важно было дать лишь краткую характеристику этого течения, воспроизвести его облик и показать как основоположники научного социализма в тогдашний момент его оценивали и почему они должны были выступить с такой резкой критикой не только его представителей в «экономике», «историографии», «философии», но и в «стихах и прозе». Ибо при том материалисти-

ческом миропонимании, которое Маркс и Энгельс как раз окончательно оформили к тому времени, нельзя ожидать, чтобы они имели одну мерку для критики экономических и политических и вторую мерку для оценки эстетических вопросов.

Почему Энгельс выбрал именно Бека как типичного представителя поэзии «истинного социализма», имеет свои основания. Карл Бек (1817—1879) и некоторые из его приверженцев, как А. Мейснер (1822—1885) и М. Гартман (1821—1872), принадлежат к самой характерной для этого направления литературной школе—австрийской. Уже «отец» политически-социальной лирики, Анаст. Грюн (1806—1876), и Ник. Ленау (1802—1850) писали ряд социальных стихотворений в духе французского утопического социализма и идей Ж. Ж. Руссо о вреде цивилизации и спасения человечества у лона природы. Австрийские социальные поэты нередко еще подражают простонародному верованию, что все социальное зло исходит от министров и чиновников, а «добрый» монарх желает народу только добра; торжество правды и победа обездоленных ожидались от нового «спасителя», который накажет всех виновных и поведет материально обиженных в страну счастья, где исчезнут паровой молот и машины и вместо креста будет сиять серп, символ земледельческого труда. Эти социальные идеалы предшественников Бека были продуктом массовой пауперизации народных масс в раннюю эпоху австрийского капитализма. Н. Ленау, один из самых талантливых немецких лириков вообще, оказавший большое влияние на творчество Бека, еще в 1838 г. сочинил жалобную песню по поводу разрушений, причиненных постройкой железной дороги в лесах и на полях. К. Бек, хотя и вырос в венгерской степи, но в годы своего учения в Лейпциге (с 1835 г.) ознакомился с промышленным производством и одним из первых ввел в немецкую поэзию индустриальные темы: стихотворение «Die Eisenbahn» (1838) принесло ему первый крупный литературный успех. Он примкнул к «Молодой Германии» и написал целый ряд талантливых произведений; первое из них «Ночи. Стихи в панцыре» (1838), вышедшее еще до стихотворений Фрейлиграта, произвело очень сильное впечатление на литературные круги, и К. Гуцков даже видел в нем будущего «немецкого Байрона». Молодой Энгельс, любивший немецкую лирику, «начиная от песни Людвига и вплоть до Николая Ленау» выше всего мечтавший сам стать великим лириком и пополнить таким образом пробел недостающего младогерманской школе, к которой он себя тогда причислял, великого мастера стихотворной формы, в письмах к братьям Греберам отзывается с большим энтузиазмом о Беке, сравнивает его с молодым Шиллером и Гёте и восклицает: «Благо нам, немцам, что родился Карл Бек!» [1]). Но через некоторое время он относится уже критически к своему любимцу и в статье о нем в «Телеграфе» Гуцкова (декабря 1839) [2]) иронизирует над «тихим морем слез» и называет сборник «Тихие песни» «Гейневскими отзвуками и безграничной детской наивностью». Бек написал еще несколько талантливых произведений —роман в сти-

---

[1]) Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, том I, под. ред. и с примечаниями Д. Рязанова, М.-Л., Гиз, 1923, стр. 453.

[2]) См. русский перевод—там же, стр. 52—57.

хах «Janko, der ungarische Rosshirt» (1842), историческую повесть «Jadwiga», трагедию «Der König Saul» (1841) и др. Путешествуя по Германии и Швейцарии, он познакомился с Гервегом и Фрейлигратом и многими другими представителями молодой политической поэзии. В споре между приверженцами Гервега и Фрейлиграта он был на стороне последнего, но вскоре также перешел к политически-социальной лирике и написал свои «Песни о бедняке» (1846). Между тем, как социальные поэты в Германии, примкнувшие к движению «истинного социализма», находились больше под влиянием политической лирики Гервега, Гейне, Фрейлиграта, Пруца и др. и описывали условия жизни наупернзованных масс более реалистически, не говоря уже о группе талантливых социалистических поэтов из «Gesellschaftsspiegel» и «Westphälisches Dampfboot», работавших над созданием теории новой пролетарской поэзии и искусства—К. Бек в Австрии был оторван от этого движения и писал под влиянием А. Грюна и Н. Ленау, введя в свою поэзию только больше индустриальных тем, особенно же картины из жизни пролетариата. Но Бек воспевает не борющегося, сознательного пролетария, а жалкого, униженного и беспомощного бедняка; поэт зовет свою армию люмпенпролетариев не на штурм частной собственности, а взывает к состраданию и милосердию богачей к меньшему брату. В жалобно-сантиментальном тоне описываются страдания жертв эксплоатации раннего капитализма, но среди этих типичнейших для поэзии «истинного социализма» «gefühlssozialistische» мотивов Бека встречаются,—как и Энгельс подчеркивает,—весьма реалистические описания положения люмпенпролетаритата, не потерявшие своей поэтической свежести по сие время. Вообще Бек, несмотря на все, был,—как Энгельс правильно замечает в конце своей статьи,—одним из самых талантливых лириков 40-х гг. Его мелкобуржуазная идеология и сантиментальные жалобы, так жестоко высмеянные Энгельсом, были продуктом тогдашнего социально-политического положения Австрии и Германии и встречаются, хотя не в такой сильной степени, почти у всех представителей поэзии «истинного социализма». Даже такой реалистический политический поэт, как Г. Гервег, впал в этот тон в своих двух единственных социальных стихотворениях «О бедном Якове» и «О бедной Лизе». После 40-х гг. Бек не писал ничего выдающегося. Скомпрометированный сотрудничеством в фельетоне реакционного венского «Ллойда» в 1848—1849 гг. и угнетенный семейными несчастиями он несколько лет был «странствующим поэтом» в буквальном смысле, потом долгое время, до смерти, жил в Вене.

Карл Грюн (1817—1887), против книги которого «Гёте с человеческой точки зрения» направлена вторая статья Энгельса, был, как уже указывалось, главным теоретиком и типичным представителем «истинного социализма». Изучая сперва, по воле родных, богословие в Бонне, он скоро перешел к философии и филологии и в Берлине, куда он переехал, стал ярым приверженцем Гегеля. Под влиянием идей «Молодой Германии» он в 1839 г. выпустил свою первую книгу «Buch der Wanderungen» под псевдонимом Эрнст фон-дер-Гайде, восхваленную молодым Энгельсом в письмах к братьям Греберам. В 1842—1843 гг. Грюн издавал радикальную «Mannheimer Abendzeitung». Будучи выслан

из Бадена и Пфальца (1843), полтора года занимался чтением докладов общеобразовательно-гуманитарного характера для просвещения широких слоев общества. От темы одного такого доклада, прочитанного им 28 апреля 1844 г. в Билефельде, вышедшего в печати под заглавием «Об истинном образовании» и все руководимое им гуманитарно-социальное умственное течение получило название «истинный» социализм. С 1 июня по 30 сент. 1844 г. он издавал журнал «Der Sprecher oder Rheinisch-Westphälischer Anzeiger» и в то же время выпустил книгу «Friedrich Schiller als Mensch, Geschichtsschreiber, Denker und Dichter», достойное дополнение к поверхностной книге о Гёте. Переселившись в конце 1844 г. в Париж, Грюн выпустил сборник запрещенных цензурой статей «Neue Anekdota» (1845), затем известную книгу «Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien» (1845), против которой Маркс написал свою «Историографию истинного социализма». В 1846 г. вышла его книга «Goethe vom menschichen Standpunkte», признанная даже его почитателями «довольно поверхностной». Здесь же, в Париже он читал лекции немецким ремесленникам и близко сошелся с Прудоном. Из писем Энгельса к Марксу и Брюссельскому комитету видно, что ему стоило немало трудов парализовать влияние Грюна в кругах ремесленников. Начиная с 1846 г. вплоть до окончательной самоликвидации «истинного социализма» после 1849 г., Грюн вел яростную агитацию в «Трирской газете» и других органах печати против Маркса и Энгельса. Вернувшись в 1848 г. в Германию, он и его приверженцы были застигнуты врасплох политическими событиями и видели выход лишь в «анархии» Прудона. «Трирская газета», редактором которой он стал, во все время революции не имела программы: она видела спасение то в «республиканской монархии», то в «Национальном Собрании», то опять во всеобщем восстании «анархистов», и в конце концов в «утократии», в отрицании всякой власти. «Истинный социализм» шатался от одной крайности к другой и неоднократно играл на-руку реакции. Эта историческая проверка доказывает правильность оценки этого течения, данной Марксом и Энгельсом. И если в марксистской литературе иногда поднимается вопрос, действительно ли последние правильно поступали, оценивая это направление р е а к ц и о н н ы м, то с уверенностью можно сказать, что оно в своей т а к т и к е в политической обстановке 40-х гг. безусловно было реакционно.

Сам Грюн был избран в 1848 г. в прусское Национальное Собрание, где примкнул к крайней левой. Он также состоял членом второй прусской палаты. После роспуска последней он был заключен в тюрьму за «интеллектуальное» сочувствие Пфальцскому восстанию. Освобожденный через 8 месяцев, он с 1850 по 1861 гг. был журналистом в Бельгии, с 1862 по 1865 гг. профессором при торговой школе во Франкфурте н/М., с 1865 г. в Гейдельберге, а с 1868 г. жил до своей смерти в Вене. Грюн написал еще очень много. Главные его произведения более позднего периода (уже свободные от всякого социализма): «Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts» (1872), «Ludwig Feuerbach» (1874), «Die Philosophie in der Gegenwart» (1876), «Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts» (1880) и др.

Статьи Энгельса о «Немецком социализме в стихах и прозе» имеют теперь главным образом лишь исторический интерес. Особенно книга Грюна о Гёте давно уже утонула в море книжной макулатуры и ничто ее оттуда больше не извлечет. Но помимо полемики отдельные места как в статье о Беке, так и в статье о Грюне и по сей день еще сохраняют интерес для теоретика литературы и эстетики. Особенно краткую оценку Гёте нужно рассматривать как первую попытку правильной, марксистской оценки великого поэта [1]). Кроме того, статьи в целом всегда останутся актуальными по отношению ко всякой половинчатости, поверхностности, смазыванию проблем, крикливости и слезливости в вопросах эстетики и литературы.

Ф. Шиллер.

I.

Карл Бек: „Песни о бедняке или поэзия истинного социализма“.

Karl Beck: «Lieder vom armen Mann, oder die Poesie des wahren Sozialismus».

«Песни о бедняке» начинаются песней к богатому дому. К дому Ротшильдов.

Чтобы избежать недоразумений, поэт называет бога «HERR», а дом Ротшильда «H e r r».

Уже с первых слов он обнаруживает, что находится во власти мелкобуржуазной иллюзии, будто «золото царит» по прихоти Ротшильда, иллюзии, которая влечет за собой целый ряд ложных представлений о власти (Macht) дома Ротшильдов.

Поэт угрожает не уничтожением действительной власти Ротшильда, общественных отношений, на которых она покоится; он желает лишь более гуманного ее применения. Он хнычет по поводу того, что банкиры являются не социалистическими филантропами, мечтателями, стремящимися осчастливить человечество, а просто банкирами. Бек воспевает трусливое мещанское убожество, «бедняка», «pauvre honteux», с его бедными, благочестивыми и непоследовательными желаниями, «бедняка» во всех его формах, но не гордого, грозного и революционного пролетария. Угрозы и упреки, которыми Бек осыпает дом Ротшильда, вопреки всем добрым намерениям автора, производят на читателя еще более комическое впечатление, чем даже проповедь капуцина. Они покоятся на детской иллюзии о могуществе Ротшильдов, на совершенном незнании связи этого могущества с существующими отношениями, на глубоком заблуждении относительно средств,

---

[1]) См. по этому вопросу также статью П. Струве, который, как все, приписывал статью о Грюне Марксу—«Маркс и Гёте» в сборнике «На разные темы». Спб. 1902.

которые Ротшильды должны применять, чтобы стать и остаться властью. Малодушие и глупость, бабья сантиментальность, жалкое прозаически-трезвое мещанство—такова музыка этой шарманки, и они напрасно насилуют самих себя, чтобы казаться страшными. Они становятся лишь смешными. Их искусственно низкий бас постоянно срывается на комический фальцет; драматическое изображение гигантской борьбы Энцелада превращается в комическое кувырканье клоуна:

«Nach deinen Launen herrscht das Gold
. . . .
O wär' dein Werk so schön! O wäre
Dein Herz so gross wie deine Macht!»[1]) (стр. 4).

Жаль, что власть принадлежит Ротшильду, а сердце—автору. Если бы они были соединены вместе, это было бы слишком большим счастьем на земле (господин Людвиг Баварский).

Первый, кто противопоставляется Ротшильду, это, конечно, сам певец, немецкий певец, живущий в «высоких святых мансардах».

«Es tönt von Recht und Licht und Freiheit,
Vom ächten GOTT in seiner Dreiheit
Die liedergesegnete Laute der Barden
Da folgt das horchende Menschenkind
Den Geistern»[2]) (стр. 5).

Этот БОГ, заимствованный из эпиграфа «Лейпцигской Всеобщей Газеты», не производящий на еврея Ротшильда никакого впечатления, уже благодаря своей тройственности, оказывает, напротив, на немецкую молодежь магическое действие.

«Es mahnt die wiedergenesene Jugend
. . . .
Und der Begeisterung zeugender Samen
Geht auf in hundert herrlichen Namen»[3]) (стр. 6).

---

[1]) «Мир царит по твоему произволу
. . . .
О, если бы твои дела были так же хороши. О, если б
Твое сердце было так же велико, как твоя власть».

[2]) «О праве, о свете и о свободе,
О подлинном БОГе и его тройственности
Говорят благословенные звуки бардов
И прислушивающееся человеческое дитя
Следует за духами».

[3]) «Призывает возрождающуюся молодежь
. . . .
И семя, рождающее воодушевление,
Всходит в тысяче великолепных имен».

Ротшильд судит о немецких поэтах иначе:

«Das Lied, das uns die Geister geboten,
Du nennst es Hunger nach Ruhm und Broten.»[1])

И хотя молодежь призывает, и погибают сотни ее великолепных имен, великолепие которых в том и состоит, что они не идут дальше простого воодушевления, хотя «трубы мужественно призывают к борьбе», а сердце так громко стучит ночью:

«Das thörichte Herz, es fühlt die Bedrängniss
Von einer göttlichen Empfängniss» [2]) (стр. 7).

Это глупое сердце, эта дева Мария,—и хотя.

«Die Jugend, ein finstrer Saul (Карла Бека, изд. Энгельмана в Лейпциге, 1840 г.).
Mit Gott und mit sich selber grollt» [3]),—

вопреки всему этому, Ротшильд сохраняет систему вооруженного мира, которая, по мнению Бека, от него лишь одного и зависит.

Газетное сообщение, что святая Церковная область послала Ротшильду орден Спасителя, является у нашего поэта поводом для того, чтобы доказать, что Ротшильд не спаситель; с таким же успехом это могло бы служить поводом для не менее интересного доказательства, что Христос, хотя он и был спасителем, не был рыцарем ордена Спасителя.

«Du ein Erlöser?» [4]) (стр. 11).

И он доказывает Ротшильду, что он не боролся ночью, как Христос, что он никогда не приносил в жертву гордого земного могущества,

«Für eine milde beglückende Sendung,
Vom grossen Geist dir anvertraut» [5]) (стр. 11).

Следует упрекнуть великий ДУХ (GEIST), что он не проявляет большого ума (Geist) в выборе своих миссионеров и обращается с призывами к благим делам не по надлежащему адресу. Все величие его заключается лишь в размере букв.

Неспособность Ротшильда к роли спасителя подробно доказывается тремя примерами: его поведением по отношению к июльской революции, к полякам и к евреям.

«Aufstand das muthige Frankenkind» [6]) (стр. 12),

[1]) «Песню, которую дали нам духи,
Ты называешь голодным стремлением к славе и хлебу».

[2]) «Глупое сердце, оно стеснено предчувствием
Божественного зачатия».

[3]) «Молодежь, мрачный Савл,
Ропщет на Бога и на самое себя».

[4]) «Ты ли спаситель?».

[5]) «Для благой приносящей счастье миссии,
Доверенной тебе великим ДУХом».

[6]) «Восстали мужественные дети Франции».

словом, вспыхнула июльская революция.

«Warst du bereit? Erklang dein Gold
Wie Lerchengezwitscher jubelnd und hold
Zum Lenz, der in der Welt sich rührte?
Der, was an sehnlichen Wünschen tief
In unsrer Brust verschüttet schlief
Verjüngt zurück ins Leben führte?[1])» (стр. 12).

Пробудившаяся весна—это была весна буржуа, для которой звон золота,—золота Ротшильда, как и всякого другого,—был торжествующим и веселым пением жаворонка. Правда, желания, которые во время реставрации таились не только в груди, но и в лентах карбонариев, снова пробудились к жизни, и бедняк Бека остался ни с чем. Но как только Ротшильд убедился в том, что новое правительство имеет под собой солидную базу, его жаворонки беззаботно запели, конечно, за обычные проценты.

Полное пленение Бека мещанскими иллюзиями обнаруживается в апофеозе им Лафитта, противопоставляемого им Ротшильду:

«Dicht rankt sich an deine beneideten Hallen
Ein heiliggesprochenes Bürgerhaus» [2]) (стр. 13),

т.-е. дом Лафитта. Восторженный мещанин гордится бюргерской скромностью своего дома в противоположность вызывающим зависть хоромам Hôtel-Ротшильд. Его идеал, Лафитт его воображения, конечно, также должен жить в скромной буржуазной обстановке; Hôtel Лафитта уменьшается до размеров дома немецкого буржуа. Сам Лафитт изображается в нем в виде доброго хозяина, чистого сердцем: он сравнивается с Муцием Сцеволой и будто бы пожертвовал своим состоянием, чтобы снарядить в путь человека и век. Не имеет ли Бек в виду парижский «Siècle»? Он называет его мечтательным мальчиком, под конец нищим. Его похороны изображены трогательно:

«Es ging im Leichenzuge mit
Gedämpften Schritts die Marseillaise» [3]) (стр. 14).

---

[1]) «Оказался ли ты готов? Зазвучало ли твое золото,
Как пение жаворонка, торжествующе и радостно
Навстречу весне, пробудившейся в мире,
Вернувшей к жизни пламенные желания,
Которые спали глубоко в нашей груди?»

[2]) «Тесно примыкает к твоим вызывающим зависть хоромам
Благословенный дом буржуа».

[3]) «В погребальной процессии шла среди других
Сдержанным шагом Марсельеза».

Рядом с Марсельезой следовала карета королевской семьи, а непосредственно за ними г. Sauzet, г. Duchâtel и все ventrus и loups-cerviers палаты депутатов.

Но как Марсельеза должна была с д е р ж а т ь свой шаг, когда после июльской революции Лафитт с триумфом ввел своего Кампера, герцога Орлеанского, в Hôtel de Ville и произнес ошеломляющую фразу, что о т н ы н е в л а с т в у ю т б а н к и р ы.

В вопросе о п о л я к а х поэт упрекает Ротшильда лишь в том, что он не оказался достаточно щедрым благотворителем по отношению к эмиграции. Здесь нападение на Ротшильда превращается в анекдот в стиле провинциального городка и лишено и тени нападения на представляемую Ротшильдом власть денег вообще. Буржуа, как известно, повсюду, где они господствуют, приняли поляков с любовью и даже с энтузиазмом.

Пример этой болтовни: выступает поляк, унижается и просит: Ротшильд дает ему серебряную монету, поляк

«Nimmt freudezitternd das Silberstück
Und segnet dich und deinen Samen» [1]),

положение, от которого польский комитет в Париже до сих пор в общем обезопасил поляков. Все это выступление поляка служит для нашего поэта лишь поводом самому стать в позу:

«Ich aber schleudre des Bettlers Glück
Verächtlich in deinen Beutel zurück,
In der beleidigten Menschheit Namen!» [2]) (стр. 16),

при чем, чтобы попасть так в кошелек, нужна большая ловкость и опыт в метании в цель. Бек обеспечивает себя тут и на случай обвинения в оскорблении действием, так как он действует не от своего имени, а от имени человечества.

Уже на стр. 9 Ротшильду достается за то, что он принял грамоту о гражданстве от разжиревшей австрийской столицы,

«Wo dein gehetzter Glaubensgenosse
Sein Licht und seine Luft bezahlt» [3]).

Бек думает даже, что Ротшильд вместе с этой венской грамотой о гражданстве, приобрел счастье свободного человека.

---

1) «Дрожа от радости берет серебряную монету
И благословляет тебя и твое потомство».

2) «Но я с презрением бросаю обратно
В твой кошелек счастье нищего
Во имя оскорбленного человечества».

3) «Где твой затравленный единоверец
Платит и за солнечный свет, и за воздух».

Теперь он обращается к нему с вопросом (стр. 19):

«Hast du den eignen Stamm befreit
Der ewig hofft und ewig duldet?» [1]).

Ротшильд должен был стать освободителем евреев. Но как он должен был сделать это? Евреи избрали его королем, так как он обладал наибольшим количеством золота. Он должен был бы научить их презирать золото, отказываться от него в пользу человечества (стр. 21).

Он должен был бы изгладить из их памяти эгоизм, коварство и ростовщичество, словом, ему следовало бы выступить в роли проповедника в рубище и с головой, посыпанной пеплом. Это то же самое, как если бы наш поэт обратился к Луи Филиппу с требованием, чтобы он научил буржуа июльской революции упразднить собственность. Если бы Ротшильд и Луи Филипп настолько утратили бы разум, они бы очень скоро лишились своей власти, но ни евреи не отказались бы от торгашества, ни буржуа не забыли бы о собственности.

На стр. 24 Ротшильду делается упрек, что он высасывает из буржуа соки, как будто не следовало бы желать, чтобы у буржуа высасывали соки.

На стр. 25 Ротшильд будто бы обманул государей. Но разве их не нужно обманывать?

Мы уже видели достаточно доказательств того, какое сказочное могущество Бек приписывает Ротшильду. Тут все идет crescendo. После того, как на стр. 26 он размечтался, чего бы только он (Бек) ни сделал, если бы был собственником солнца, оказывается, он не сделал бы и сотой доли того, что солнце делает и без него,—внезапно ему приходит в голову мысль, что Ротшильд является не единственным грешником, но что, кроме него, существуют и другие богачи. Но

«Du sassest beredt im Lehrerstuhle
Es lernten die Reichen in deiner Schule;
Du musstest sie führen ins Leben hinein,
Du konntest ihr Gewissen sein.
Sie sind verwildert —du hast es geduldet,
Sie sind verworfen—du hast es verschuldet!» [2]) (стр. 28).

---

[1]) «Освободил ли ты твой родной народ,
Вечно надеющийся и вечно страдающий?»

[2]) «Ты им был учителем,
Богатые учились в твоей школе,
Ты должен был ввести их в жизнь,
Ты мог быть их совестью.
Они одичали—ты это допустил,
Они заброшены—ты в этом повинен».

Итак, развитие торговли и промышленности, конкуренцию, концентрацию собственности, государственные долги и ажиотаж, коротко говоря, все развитие современного буржуазного общества Ротшильд мог бы предотвратить, если бы он был лишь немного совестливее. Надо действительно обладать toute la désolante naiveté de la poésie allemande, чтобы напечатать такие детские сказки. Ротшильд превращается здесь в настоящего Аладина.

Не довольствуясь этим, Бек приписывает Ротшильду

«Der Sendung schwindelnde Grösse,

. . . .

Zu lindern der Welt gesammte Leiden»[1]),

миссию, которую капиталисты мира все вместе также не могли бы выполнить хотя бы в отдаленной степени. Разве наш поэт не видит, что он становится тем более смешон, чем возвышеннее и сильнее он старается быть, что все его упреки Ротшильду превращаются в самую низкую лесть, что он прославляет могущество Ротшильда, как этого не мог бы сделать самый рьяный панегирист. Ротшильд должен быть в восторге, видя, каким гигантским пугалом становится его маленькая личность в мозгу немецкого поэта.

После того, как наш поэт облек в стихотворную форму невежественные фантазии немецкого мещанина о могуществе крупного капиталиста, после того как в сознании своей головокружительной грандиозной миссии он невероятно раздул фантастичность этого могущества, он высказывает моральное возмущение мещанина по поводу контраста между идеалом и действительностью и впадает при этом в поэтический пароксизм, который должен заставить расхохотаться даже пенсильванского квакера.

«Weh mir, wenn ich in langer Nacht (21 декабря)
Mit heisser Stirn es durchgedacht

. . . .

Dann hob sich bäumend meine Locke
Mir war's, als riss ich an GOTTES Herzen,
Ein Glöckner an der Feuerglocke»[2]) (стр. 28),

чем, конечно, был вколочен последний гвоздь в гроб старика. Он полагает, что «духи истории» доверили ему здесь мысли,

[1]) «Головокружительная грандиозная миссия
. . . .
Смягчать все страдания мира».

[2]) «Горе мне, когда я долгой ночью (21 декабря)
Разгоряченным лбом обдумывал все это
. . . .
Дыбом становились у меня волосы на голове,
И мне казалось, точно я хватаюсь за сердце БОГа,
Как звонарь за набатный колокол».

которых он не должен был бы высказывать ни вслух, ни про себя: он приходит, наконец, к отчаянному решению протанцовать канкан в своем гробу:

«Doch einst im modernden Leichentuch
Wird wonnig schaudern mein Gerippe,
Wenn nieder zu mir (dem Gerippe) die Kunde taucht,
Dass auf den Altären das Opfer raucht» [1]) (стр. 29).

Я начинаю бояться мальчика Карла.

Песня о доме Ротшильдов закончена. Теперь следуют, как это принято у современных лириков, рифмованные размышления об этой песне и о роли, которую играет в ней поэт.

«Ich weiss es kann
Dein mächtiger Arm mich blutig schlagen» [2]) (стр. 30),

т.-е. отсчитать ему пятьдесят. Австриец не может забыть о порке. Перед этой опасностью ему придает мужества возвышенное чувство:

«Wie's GOTT befahl und sonder Zagen.
So sang ich offen, was ich sann» [3]).

Немецкий поэт поет всегда по приказу. Конечно, ответственность несет хозяин, а не слуга, и поэтому и Ротшильд должен иметь дело с БОГом, а не с Беком, его слугой. Вообще для современных лириков стало правилом:

1) хвастаться опасностью, которой они будто бы подвергаются, благодаря своим невинным стихам,

2) получать колотушки и обращаться после этого к Богу.

Песня к дому Ротшильдов заканчивается выражением высоких чувств по поводу той же песни, о которой здесь клеветнически говорится:

«Frei ist's und stolz, es darf dich meistern
Dir sagen, worauf es gläubig schwört» [4]) (стр. 32),

т.-е. собственной добродетели, как раз проявляющейся в этом конце. Мы боимся, однако, как бы Ротшильд не заставил Бека предстать перед судом не из-за его песни, а из-за этой ложной присяги.

---

[1]) «Но когда-нибудь в истлевшем саване
С наслаждением содрогнется мой скелет,
Когда до меня (до скелета) дойдет весть,
Что на алтарях дымится жертва».

[2]) «Я знаю, может
Жестоко побить меня твоя могучая рука».

[3]) «Как приказал мне БОГ, без колебаний
Открыто пел о том, что думал».

[4]) «Она свободна и горда, она должна покорить тебя,
Сказать тебе, чему здесь с верой приносится присяга».

О, если бы вы простерли золотую благодать.

Поэт призывает богатых оказать помощь нуждающимся,

«Bis dir der Fleiss ein sicheres Habe
Für Weib und Kind gewann» [1]).

И все это для того,

«Dass du gut verbleiben könnest,
Ein Bürger und ein Mann» [2]),

т.-е. summa summarum добрым буржуа. Бек вернулся, таким образом, к своему идеалу.

Работник и работница.

Поэт воспевает две благочестивые души, которые,—что описано в высшей степени скучно,—лишь после многих лет скаредничества и нравственного образа жизни целомудренно взбираются, наконец, на супружеское ложе.

«Sich küssen? Sie thäten es schämig! Sich necken? Sie thäten es leise!
Ach, Blumen waren es wohl, doch waren es Blumen im Eise;
Ein Tanz auf Krücken, o Gott, ein armer verspäteter Falter,
Der halb ein blühendes Kind, und halb ein verwelkender Alter» [3]).

Вместо того, чтобы закончить этой единственно хорошей строфой во всем стихотворении, автор после этого трепещет и ликует по поводу мелкой собственности, собственных свай, подымающихся вокруг собственного очага: и эта фраза произносится не иронически, а со слезами серьезной грусти на глазах. Но и это еще не конец:

«Nur Gott ist ihr Herr, der die Sterne beruft zu leuchten wenns nachtet,
Den Knecht, der die Kette zerbricht, mit seligem Auge betrachtet» [4]).

---

[1]) «Пока твой труд не обеспечит
Твоей жены и ребенка».

[2]) «Чтобы ты мог оставаться
Добрым гражданином и человеком».

[3]) «Целоваться? Они делали это стыдливо. Шутить друг с другом? Они делали это тихо.
Ах, конечно, это были цветы, но лишь цветы во льду,
Танец на костылях, о Боже, бедная запоздавшая бабочка,
Наполовину еще цветущий ребенок, наполовину — уже увядающий старик».

[4]) «Лишь бог — их господин, призывающий звезды светить, когда наступает ночь.
Праведным оком взирающий на работника, разбивающего цепи».

Этим счастливо устраняется всякая острота. Малодушие Бека и отсутствие в нем уверенности в себе проявляются в том, что он растягивает каждое стихотворение и никак не может кончить, пока не манифестирует сантиментальностью своего мещанства. Он, повидимому, нарочно, избрал гекзаметры Клейста, чтобы заставить читателя томиться той же скукой, которую, благодаря своей трусливой морали, оба влюбленных заставляли себя переживать в течение своего долгого испытательного периода.

Еврей-старьевщик.

В описании еврея-старьевщика есть наивные, не плохие, например, места.

«Die Woche flieht, die Woche bietet
Nur fünf der Tage deinem Fleiss.
O spute dich, du Athemloser,
Wirb, wirb um deinen Tagelohn.
Am Samstag will es nicht der Vater,
Am Sonntag will es nicht der Sohn» [1]).

Позже, однако, Бек просто впадает в либерально-младо-германскую слюнявую болтовню о евреях. Поэзия здесь исчезает настолько, что кажется, будто слушаешь золотушную речь в золотушной саксонской сословной палате. Ты не можешь стать ни ремесленником, ни земледельцем, ни профессором, но медицинская карьера тебе открыта. Это поэтически выражено так:

«Sie gönnen dir kein Handgewerke,
Sie gönnen dir kein Ackerfeld.
Du darfst ja nicht zur Jugend sprechen
Von eines Lehrers hohem Pfühl
. . . .
Du darfst im Land die Kranken heilen» [2]).

Нельзя ли было бы изложить в стихах прусское собрание законов или переложить на музыку стихи господина Людвига Баварского?

---

[1]) «Неделя летит, неделя оставляет,
Лишь пять дней для твоего труда,
О, торопись ты, не знающий передышки,
Трудись, трудись из-за твоего заработка.
По субботам не позволяет этого отец,
По воскресеньям не позволяет этого сын».

[2]) «Они не допускают тебя к ремеслу,
Они не допускают тебя к пашне.
Ты не можешь говорить с молодежью
С высокой кафедры учителя
. . . .
Ты можешь лечить больных в стране».

После того, как еврей продекламировал своему сыну:

«Du musst ja schaffen, musst erraffen
In steter Gier nach Gut und Geld» [1]).

он его утешает:

«Doch ehrlich bleibst du fort und fort» [2]).

Лорелей.

Эта Лорелей—никто иная, как золото.

«Da trat in des Gemüthes Reinheit
Mit breiten Wogen die Gemeinheit,
Und jedes Heil ertrank» [3]).

В этом душевном потоке и гибели счастья—в высшей степени унылая смесь пошлого и высокопарного. За этим следуют тривиальные тирады о безнравственности золота.

«Sie (die Minne) späht nach Thalern, nach Juwelen,
Nach Herzen nicht und gleichen Seelen
Und eines Hüttleins Raum» [4]).

Если бы влияние денег ограничилось тем, что они сделали бы не популярным немецкое искание сердец и родственных душ и Шиллеровской малейшей хижины, в которой находит приют любящая пара, можно было бы уже признать за ними революционную роль.

Песня барабанщика.

В этом стихотворении наш социалистический поэт опять обнаруживает, как его немецкая мещанская ограниченность вновь и вновь портит и тот слабый эффект, который он вызывает.

Под звуки музыки выступает полк. Народ призывает солдат об'единиться с ним. Читатель обрадован: поэт, наконец, проявил мужество. Но, увы, в конце концов, мы узнаем, что речь идет лишь об именинах императора, и обращение народа—это лишь мечтательная, тайная импровизация юноши на параде. Вероятно, гимназиста.

---

1) «Ты должен работать, должен жадно бороться
Из-за имущества и денег».

2) «Но честным останешься ты всегда».

3) «Тут в чистые покои духа
Широкой волной влилась подлость,
И всякое счастье утонуло в ней».

4) «Она ищет талеры—драгоценности,
Не ищет сердец и родственных душ,
Не ищет счастья в хижине».

Так мечтает юноша, у которого пылает сердце. Та же тема у Гейне была бы горькой сатирой на немецкий народ: у Бека же получилась лишь сатира на самого поэта, отождествляющего себя с немощно мечтающим юношей. У Гейне мечты буржуа, намеренно были бы взвинчены, чтобы затем упасть до уровня действительности. У Бека сам поэт солидаризируется с этими фантазиями и, конечно, терпит ущерб, когда низвергается в мир действительности. Первый вызывает в буржуа возмущение своей дерзостью, второй успокаивает его родством душ. Пражское восстание дало ему, впрочем, возможность воспроизвести кое-что совсем не похожее на этот фарс.

Переселенец.

«Ich brach den Zweig vom Stamme,
Der Förster gab Rapport,
Da band der Herr mich stramme
Und schlug mir diese Schramme» [1]).

Нехватает только, чтобы и рапорт лесничего был изложен такими стихами.

Деревянная нога.

Здесь поэт пытается рассказывать и терпит жалкую неудачу. Эта полная неспособность рассказывать и изображать, обнаруживающаяся во всей книге, характерна для поэзии истинного социализма. Истинный социализм в своей неопределенности не открывает возможность связывать отдельные факты, о которых нужно рассказать, с общими условиями, что дало бы возможность выявить на этих фактах поражающее и важное в них. Поэтому истинные социалисты и в своей прозе избегают истории. Там, где они не могут уклониться от нее, они довольствуются либо философской конструкцией, либо сухо и скучно регистрируют отдельные несчастные случаи и социальные казусы. И всем им и в прозе, и в поэзии нехватает таланта рассказчика, что связано с неопределенностью всего их мировоззрения.

Картофель.

Мелодия: Утренняя заря, утренняя заря!

«Heilig Brot,
Das du kamst für unsre Noth,
Das du kamst um Himmels Willen

[1]) «Я отломил ветку от ствола,
Лесничий подал рапорт,
Помещик крепко связал меня
И ударил меня так, что остался у меня этот шрам».

In die Welt, das Volk zu stillen,
Fahre wohl, du bist nun todt!» [1]).

Во второй строфе он называет картофель

«Den kleinen Rest,
Der aus Eden uns geblieben» [2])

и так характеризует картофельную болезнь:

«Unter Engeln tobt die Pest!» [3]).

В третьей строфе Бек советует **бедняку** одеть траур:

«Armer Mann!
Gehe hin, leg' Trauer an.
Völlig bist du nun gerichtet,
Ach, dein Letztes ist vernichtet,
Weine, wer noch weinen kann!
. . . .
Tod im Sand
Liegt dein **Gott**, du traurend Land,
Lass jedoch den Trost dir sagen:
Kein Erlöser ward erschlagen,
Der nicht wieder auferstand!» [4]).

Плачь, кто может плакать, с поэтом. Если бы он не был так же беден энергией, как его бедняк беден здоровым картофелем, он радовался бы тому веществу, которое получено было прошлой осенью картофелем, этим богом буржуазии, одним из устоев существующего буржуазного общества. Немецкие землевладельцы и мещане могли бы без вреда петь это стихотворение в церквах.

Бек заслуживает за него венка из цветов картофеля.

---

[1]) «Святой хлеб,
Пришедший к нам в нашей нужде,
Пришедший **волей неба**
В мир, чтобы накормить народ,
Покойся, теперь ты мертв».

[2]) «Маленькой частицей.
Оставшейся нам из рая».

[3]) «Среди ангелов свирепствует чума!».

[4]) «Бедняк.
Поди, одень траур.
С тобой кончено.
Последнее, что у тебя было, уничтожено.
Плачь, кто еще может плакать.
. . . .
Мертв в песке
Лежит твой бог, опечаленная страна.
Но скажи себе в утешение:
Ни один искупитель не был убит,
Без того, чтобы опять не воскреснуть».

Старая дева.

Мы не будем подробно разбирать это стихотворение, так как оно бесконечно и с невыразимой скукой растянулось на девяносто страниц. Старая дева, в цивилизованных странах, существующая в большинстве случаев только номинально, представляет из себя в Германии значительное «социальное явление».

Самая обычная манера социалистически-самодовольного рассуждения заключается в том, чтобы говорить: все хорошо, только бы, с другой стороны, не было бедных. Такое рассуждение может быть высказано по любому вопросу. Подлинное содержание его заключается в филантропически-фарисейском мещанстве, совершенно согласном с положительными сторонами существующего общества и причитывающем лишь по поводу того, что на ряду с этим существует и отрицательная сторона—бедность; мещанство это целиком связано с современным обществом и желало бы, чтобы оно продолжало существовать, но без условий его существования.

Бек часто повторяет это рассуждение в своем стихотворении в чрезвычайно тривиальной форме, напр., по случаю Рождества:

«O, Zeit, die mild des Menschen Herz erbaut,
Du wärest milder und doppelt traut—
Wenn nicht in der Brust des armen Buben
Der elternlos in die festlichen Stuben
Des reichen Spielgenossen schaut,
Der Neid mit seiner ersten Sünde
Bei wüster Gotteslästerung stünde!
Ja . . . .
. . . süsser Klänge beim Weihnachtlicht
Der Kinder Jubel in meinem Gehöre,
Wenn nur in feuchten Höhlen nicht
Auf schlechter Streu das Elend fröre» [1]).

В этом бесформенном бесконечном стихотворении встречаются, впрочем, отдельные хорошие места, напр., изображение люмпен-пролетариата:

---

[1]) «О, время, делающее человеческое сердце кротким,
То было бы еще лучше и еще милее,
Если бы в груди бедного мальчика,
Сироты, заглядывающего в праздничные комнаты
Богатого товарища,
Не пробуждалась зависть, этот первый грех,
Не раздавалось бы бурное богохульство.
Да . . . .
. . . слаще звучала бы при рождественском освещении
Радость детей в моих ушах,
Если бы в сырых трущобах
Не зябла бы бедность на плохой соломе».

«Was täglich und unverdrossen
Nach Kehricht sucht in verpesteten Gossen;
Wass wie der Spatz nach Futter schweift,
Was Töpfe flickt und Scheeren schleift,
Was starren Fingers die Wäsche steist,
Was keuchend schiebt des Karren Wucht,
Beladen mit kaum gereifter Frucht,
Und weinerlich singt: Wer kauft, wer kauft?
Was um den Heller im Schmutze rauft;
Was täglich an den Steinen der Ecken
Den Gott besingt, an den es glaubt,
Kaum wagt die Hände hinzustrecken,
Dieweil das Betteln nicht erlaubt;
Was tauben Ohrs in Hungersnöthen
Die Harfen spielt und bläst die Flöten,
Jahraus, Jahrein denselben Chor—
Vor allen Fenstern, an jedem Thor—
Die Kindermagd zum Tanze stimmt,
Doch selber nicht das Lied vernimmt;
Was Nachts die grosse Stadt erhellt
Und selbst kein Licht im Hause hat;
Was Lasten trägt, was Holz zerspellt,
Was herrenlos, was herrensatt;
Was beten und kuppeln und stehlen läuft,
Den Rest des Gewissens wüst versäuft» [1]).

Бек впервые подымается здесь над уровнем обычной немецко-буржуазной морали, вкладывая эти стихи в уста старого нищего, дочь которого просит отца отпустить ее на свиданье с офицером. Он рисует в приведенных выше стихах те классы, к которым будет принадлежать и ее ребенок, и черпает свои возражения дочери непосредственно из условий ее существования, не читая ей моральной проповеди, что следует признать.

[1]) «Кто каждый день неустанно
Ищет отбросов в зловонных сточных канавах,
Кто мечется, как воробей, в поисках пищи,
Кто чинит горшки и точит ножницы,
Кто оцепеневшими пальцами крахмалит белье,
Кто со стоном толкает тяжелую тележку,
Нагруженную едва созревшими плодами,
И плаксиво поет: кто купит, кто купит?
Кто ради гроша копается в грязи,
Кто ежедневно на углах улиц
Воспевает бога, в которого верит,
И едва решается протянуть руку за подаянием,
Так как нищенство запрещено,
Кто, несмотря на глухоту, из-за нужды

Не укради.

Нравственный слуга одного русского, которого сам слуга называет хорошим барином, обкрадывает ночью своего как будто задремавшего хозяина, чтобы помочь своему старому отцу. Русский крадется за ним и, глядя через его плечо, читает следующее письмецо, которое тот пишет старику.

«Nimm das Geld! Ich hab gestohlen!
Vater, bete zum Erlöser,
Dass er mir von seinem Throne
Einst Verzeihung senden möge!
Schaffen will ich und verdienen
Von der Streu den Schlummer hetzen,
Bis ich meinem braven Gebieter
Das Geraubte kann ersetzen» [1].

Добрый барин нравственного слуги так растроган этим ужасным открытием, что он не может произнести ни слова и, благословляя, кладет свою руку на голову слуги.

«Aber der ist eine Leiche
Und es brach sein Herz im Schrecken» [2].

Можно ли написать что-либо более комичное? Бек опускается здесь ниже уровня Коцебу и Ифлянда; трагедия слуги превосходит даже буржуазную трагедию.

Играет на арфе или на флейте
Из года в год все ту же мелодию
Под всеми окнами, перед всеми дверьми
И своей музыкой заставляет приплясывать няньку,
А сам не слышит своих звуков,
Кто ночью освещает большой город,
А дома сидит в темноте,
Кто носит тяжесть, кто колет дрова,
Кто бродит без хозяина,
Кто сводничает и ворует
И беспутно теряет последние остатки совести»

[1]) «Возьми деньги. Я украл их.
Отец, моли Спасителя,
Чтобы он с высоты своего трона
Даровал мне когда-либо прощение.
Я хочу трудиться и зарабатывать,
Гнать сон от своего ложа,
Пока я не возмещу моему доброму барину
Того, что я у него украл».

[2]) «Но тот уже мертв,
Сердце его разорвалось в ужасе».

Новые боги и старые песни.

В этом стихотворении высмеиваются и часто удачно Ронге, друзья света, новые евреи, парикмахер, прачка, лейпцигский буржуа с его умеренной свободой. Под конец поэт оправдывается перед филистерами, которые будут обвинять его за это, хотя и он

«Das Lied von Licht
In Sturm und Nacht hinausgesungen» [1]).

Он излагает затем социалистически модифицированное учение о братской любви, обосновываемое своеобразным натур-деизмом, и практическую религию, и противопоставляет таким образом одну сторону своих противников другой их стороне. Так Бек никогда не может кончить, пока он не погубил опять самого себя, так как он сам глубоко связан с немецким убожеством и слишком много рассуждает о себе, о поэте и его поэзии. Поэт— у современных лириков вообще опять баснословно кургузая, легкомысленно топорщащаяся фигура. Это не активное существо, стоящее посреди действительного общества, это «поэт», парящий в облаках, но облака эти ничто иное, как туманные фантазии немецкого буржуа. Бек постоянно переходит от самой вздорной высокопарности к самой трезвой буржуазной прозе, от мелкого воинственного юмора против существующих условий к сентиментальному примерению с ними. То-и-дело он спохватывается, что ведь это он-то и есть de quo fabula narratur. Его стихотворения оказывают поэтому не революционное действие, а

«Wie drei Brausepülverchen,
Das Blut zu stillen» [2]) (стр. 293).

Весь том заканчивается поэтому очень кстати следующей бессильной жалобой:

«Wann soll es auf der Erden
O Gott, verträglich werden?
Ich bin an Sehnsucht doppeet frisch,
Drum an Geduld ein doppelt Müder» [3]).

Бек бесспорно обладает большим талантом и от природы большей энергией, чем большинство немецкой литературной мрази. Его единственное несчастье, это—немецкое убожество, к числу теоретических форм которого принадлежат и пышно-слезливый

---

[1]) «Песню о свете
Пропел на встречу буре и ночи».

[2]) «Как три шипучих порошка,
Которые останавливают кровь».

[3]) «Когда же, Господи, на земле
Можно будет сносно жить.
Я вдвойне бодр в тоске,
И вдвойне устал в терпении».

оциализм, и младо-германские реминисценции Бека. Пока обще-твенные противоречия не примут в Германии более острой формы, лагодаря более определенному выделению классов и быстрому авоеванию политической власти буржуазией, в самой Германии емецкому поэту ждать многого не приходится. С одной стороны, ля него невозможно выступать революционно в немецком общетве, так как сами революционные элементы еще слишком неразиты; с другой стороны, окружающее его со всех сторон хроическое убожество действует слишком расслабляюще, лишая его озможности подняться над ним, чувствовать себя свободным от его и высмеивать его без того, чтобы самому постоянно впадать него. Всем немецким поэтам, у которых есть какой-нибудь алант, пока можно посоветовать только одно—переселиться в цивилизованные страны.

II.

Карл Грюн: „О Гете с человеческой точки зрения". Дармштадт 1846.

Karl Grün: «Ueber Goethe vom menschlichen Standpunkte.», Darmstadt 1846.

Господин Грюн отдыхает от тревог его «Социального движения во Франции и Бельгии», бросая взгляд на социальный застой у себя на родине. Для разнообразия он решил взглянуть на старого Гете «с человеческой точки зрения». Сменив семимильные сапоги на домашние туфли и одев шлафрок, он самодовольно потягивается в своем кресле: «Мы не пишем комментарии, мы берем лишь то, что совершенно ясно» (стр. 244). Он очень облегчил себе задачу: «Розы и камелии я поставил у себя в комнате, резеду и фиалки выкинул за окошко» (стр. III). «И прежде всего никаких комментариев. Но вот собрание сочинений на стол, немного запаха роз и резеды в комнате! Посмотрим, как далеко мы подвинемся.—Плут дает больше, чем он имеет» (стр. IV, V).

При всей своей nonchalance господин Грюн совершает в своей книге величайшие подвиги. Но это не удивляет нас после того, как мы слышали от него самого, что он человек, который «готов был притти в отчаяние от ничтожества общественных и личных отношений» (стр. III), «чувствовал на себе узду Гете, когда перед ним вставала опасность затеряться в чрезмерном и «бесформенном» (там же), и имеет в себе «высокое чувство человеческого призвания», «которому принадлежит наша душа—хотя бы это вело в ад» (стр. IV). Мы уже больше ничему не удивляемся после того, как мы узнали, что уж раньше он

однажды «обратился с вопросом к человеку Фейербаха» с вопросом, на который «легко было бы ответить», но который все же для указанного человека оказался, повидимому, слишком трудным (стр. 277); когда мы видим, как господин Грюн на стр. 198 «выводил самосознание из тупика», на стр. 102 хочет даже отправиться ко «двору русского императора», а на стр. 305 громовым голосом кричит в мир: «Анафема тому, кто с помощью закона хочет создать новое положение, которое должно быть длительным. «Мы ко всему готовы, когда г. Грюн на стр. 187 собирается «понюхать идеализм» («seine Nasenspitze an den Idealismus zu legen») и «превратить его в уличного мальчишку», когда он строит расчеты о том, как бы «стать собственником», «богатым, богатым собственником, иметь возможность платить налог, дающий право на избрание в парламент человечества, на внесение в список присяжных, которые решают о человеческом и бесчеловечном».

Разве это может быть для него слишком трудным, для него, стоящего «на безыменной почве общечеловеческого»! (стр. 182). Его не страшат даже «ночь и ее ужасы» (стр. 312): убийство, прелюбодеяние, воровство, проституция, порок и заносчивость. Правда, на стр. 99 он признается, что он уже «испытал бесконечную боль, когда человек застигает себя в своем ничтожестве»; именно так он «застигает» себя на глазах у публики по поводу фразы: «Du gleichst dem Geist, den Du begreifst, nicht mir», при чем происходит это так: «В этих словах как бы одновременно ударяют гром и молния и в то же время разверзается земля, разрывается завеса перед храмом, раскрываются могилы,—наступает помрачение кумиров и древний хаос—звезды опять сталкиваются друг с другом, огромный хвост кометы мгновенно сжигает маленькую землю и все, что остается, это лишь копоть, дым и пар. И если представить себе это ужасное разрушение,—все это еще ничто по сравнению с разрушением, которое заключается в этих девяти словах (стр. 235, 236). Правда, «на крайней границе теории», на стр. 295, у господина Грюна «как бы ледяной поток бежит по спине и подлинный ужас заставляет содрогаться все члены», но он все это подавляет, так как он ведь член «великого масонского ордена человечества» (стр. 317). Take it all in all, обладая такими качествами, господин Грюн будет иметь успех на любом поприще. Прежде чем мы перейдем к его пространным писаниям о Гете, отправимся с ним в некоторые побочные области его деятельности.

Прежде всего в область естествознания, так как «знание природы», согласно стр. 247, это «единственная положительная наука» и в то же время «не в меньшей мере завершение гуманистического (vulgo: человеческого) человека». Соберем тщательно все положительное, что нам сообщает господин Грюн об этой единственно положительной науке. Он не вдается здесь,

правда, в подробности, и лишь, прохаживаясь в сумерки по своей комнате, роняет несколько замечаний, но, «тем не менее», он совершает при этом «самые положительные» чудеса.

По поводу приписываемой Гольбаху «Système de la nature», он делает открытие: «Здесь невозможно доказывать, как система природы на полпути обрывается, обрывается в той точке, где из необходимости церебральной системы должны были бы выбиться (herausschlagen müssten) свобода и самоопределение» (стр. 70). Господин Грюн мог бы совершенно точно указать точку, в которой «из необходимости церебральной системы» «выбивается» нечто иное, и человек, таким образом, получает пощечины и с внутренней стороны черепа. Господин Грюн мог бы дать самые точные и подробные сведения о том, что до сих пор совершенно не поддавалось наблюдению, именно о процессе производства сознания в мозгу. Но, к сожалению, в книге о Гете с человеческой точки зрения «это не может быть изложено».

Дюма, Плэфер (Playfair), Фарадей и Либих полагали до сих пор, что кислород лишен как вкуса, так и запаха. Но господин Грюн, зная, что все кислое щиплет язык, об'являет на стр. 75 кислород «едким». Точно так же он обогащает на стр. 229 новыми фактами и акустику и оптику; испуская из себя «очистительный шум и сияние», он ставит вне сомнения очистительную силу звука и света.

Не довольствуясь этим блестящим обогащением «единственно положительной науки», не довольствуясь и теорией о внутренних пощечинах, господин Грюн открывает на стр. 93 новую кость: «Вертер был человеком, которому недостает позвоночной кости, который не стал еще суб'ектом». Господствовавшее до сих пор ошибочное воззрение сводилось к тому, что у человека имеется около двух дюжин позвонков. Господин Грюн не только сводит эти многочисленные кости к нормальному единству, но и открывает к тому же, что эта исключительная позвоночная кость обладает замечательным свойством делать человека «суб'ектом». Суб'ект господина Грюна заслуживает за это открытие особой позвоночной кости.

Наш естествоиспытатель — мимоходом — следующим образом формулирует под конец свою «единственно положительную науку» о природе.

«Ist nicht der Kern der Natur
Menschen im Herzen?» [1]).

Существо природы в сердце человека. В человеческом сердце существо природы. Природа имеет свое существо в сердце чел-

[1]) «Разве существо природы
Не в сердце человека».

века (стр. 250). С разрешения господина Грюна мы добавляем: «В сердце человека существо природы. В сердце существо природы человека. В человеческом сердце природа имеет свое существо».

На этом выдающемся «положительном» открытии мы оставляем область естествознания, чтобы перейти к экономии, которая, к сожалению, согласно вышеизложенному, не является «положительной наукой». Тем не менее господин Грюн действует и здесь, хотя и на авось, но в высшей степени «положительно».

«Индивид выступил против индивида, и так возникла всеобщая конкуренция» (стр. 211). Это значит, что смутное и таинственное представление немецких социалистов о «всеобщей конкуренции «вступило в жизнь», и так возникла конкуренция. Аргументы не приводятся, несомненно, потому, что экономия не есть положительная наука.

«В средние века презренный металл был еще связан верностью, любовью и благочестием; шестнадцатое столетие разбило эти оковы, и деньги стали свободны» (стр. 241). Мак-Кулох и Бланки, которые до сих пор находились во власти заблуждения, будто деньги в средние века были связаны, благодаря отсутствию сообщения с Америкой и благодаря гранитным массам, прикрывавшим в Андах жилы «презренного металла», Мак-Кулох и Бланки будут голосовать за посылку господину Грюну благодарственного адреса за это открытие.

Истории, которая тоже не есть «положительная наука», господин Грюн пытается придать положительный характер, противопоставляя фактам традиции ряд фактов своего воображения.

На стр. 91 «Катон Эддисона закалывает себя кинжалом на английской сцене за сто лет до Вертера», обнаруживая, таким образом, поразительное пресыщение жизнью. Оказывается, что он закалывает себя тогда, когда его автор, родившийся в 1672 году, был еще младенцем.

На стр. 175 господин Грюн исправляет дневники Гете, указывая, что в 1815 году свобода печати не была об'явлена немецкими правительствами, но лишь «обещана». Таким образом, сном являются все те ужасы, которые нам рассказывают зауерландские и прочие филистеры о четырех годах свободы печати от 1815 до 1819,—о том, как все их мелкие гадости и скандальные истории были извлечены прессой на свет божий и как, наконец, союзные акты 1819 г. положили конец этому террору публичности.

Господин Грюн рассказывает нам далее, что свободный имперский город Франкфурт отнюдь не был государством, а «лишь частью гражданского общества» (стр. 19). «Вообще в Германии

нет государств и теперь постепенно начинают, наконец, понимать своеобразные преимущества этой германской безгосударственности» (стр. 257), каковые преимущества заключаются прежде всего в большой доступности колотушек. Немецкие самодержцы могут таким образом сказать: «la société civile, c'est moi»,—при чем им всё же придется плохо, так как, согласно стр. 101, гражданское общество лишь «абстракция».

Но если у немцев нет государства, зато у них имеется «огромный вексель на правду, и этот вексель должен быть реализован, оплачен, превращен в звонкую монету» (стр. 5). Этот вексель, несомненно, оплачивается в той же конторе, где господин Грюн платит «налог, дающий право на избрание в парламент человечества».

Важнейшие «положительные» раз'яснения даются нам относительно французской революции, о «значении» которой автор, отступая от последовательности изложения, держит «особую речь». Он начинает с изречения оракула: противоречие между историческим правом и правом разумным (Vernunftrecht) имеет большое значение, так как и то и другое исторического происхождения. Отнюдь не желая преуменьшать значение столь же нового, как и важного открытия господина Грюна, что и разумное право сложилось в процессе истории, мы позволяем себе лишь скромно заметить, что тихий разговор с глазу на глаз в тихой комнатке с первыми томами «Histoire parlementaire» Бюше должен был бы показать ему, какую роль это противоречие играло в революции.

Господин Грюн предпочитает, однако, подробно доказывать нам испорченность революции, что сводится в конце концов к одному, единственному очень тяжкому упреку: «понятие человек не было исследовано». Такое грубое упущение действительно непростительно. Если бы революция исследовала понятие человек, то не было бы и речи ни о девятом термидора, ни о 18-м брюмера; Наполеон удовольствовался бы чином генерала и, может быть, на старости лет написал бы устав строевой службы «с человеческой точки зрения».—Далее мы узнаем в раз'яснение «значения революции», что деизм в основе своей не отличается от материализма и почему не отличается. Мы с удовольствием убеждаемся из этого, что господин Грюн еще не совсем забыл своего Гегеля. Сравним, напр., «Историю философии» Гегеля, т. III, стр. 458, 459, 463 второго издания. Далее, опять-таки для раз'яснения «значения революции», сообщается кое-что о конкуренции (важнейшее отсюда мы уже изложили выше) и приводятся длинные извлечения из работ Гольбаха, чтобы доказать, что он выводит преступления из государства; не менее раз'ясняется «значение революции» большим числом выдержек из «Утопии» Томаса Мора, относительно которой раз'ясняется, что в ней в

1516 году пророчески изображена с точностью до мелочей «т е п е р е ш н я я Англия» (стр. 225). И, наконец, после всех этих разбросанных мимоходом на 36 страницах Vues und Considérations следует окончательный приговор на стр. 226: «Революция—это осуществление маккиавелизма». Предостерегающий пример для всех, кто еще не исследовал понятия человек!

В утешение бедных французов, которые не достигли ничего, кроме осуществления маккиавелизма, господин Грюн на стр. 73 проливает каплю бальзама: «Французский народ в XVIII столетии был Прометеем среди народов, противопоставлявшим ч е л о в е ч е с к и е п р а в а правам богов». Не будем цепляться за то, что таким образом «понятие человек» все же должно было быть «исследовано», или за то, что человеческие права «противопоставлялись» не «правам богов», а правам короля, дворянства и попов; оставим эти мелочи и окутаем нашу голову тихим трауром: здесь с господином Грюном случилось нечто «человеческое».

Господин Грюн забывает, что в более ранних своих произведениях (см., напр., статью в I томе «Рейнских Ежегодников», «Социальное движение» и др.), он не только размазал и «популяризовал» известный ход мыслей о человеческих правах из «Немецко-французских Ежегодников», но даже с усердием подлинного плагиатора утрировал его до бессмыслицы. Он забывает, что клеймил там человеческие права, как права Epiciers, филистера и т. д., и теперь вдруг выступает за «ч е л о в е ч е с к и е права», за права «человека». То же случается с г. Грюном на стр. 251 и 252, где «право, которое рождается с нами», «внезапно превращается в твое естественное право, твое человеческое право, право действовать из себя и наслаждаться своим произведением», хотя Гете прямо противопоставляет его «закону и правам», которые «как вечная болезнь п е р е д а ю т с я по н а с л е д с т в у», т.-е. традиционному праву ancien régime, с которым находятся в противоречии лишь «п р и р о ж д е н н ы е неотчуждаемые человеческие права» революции, но отнюдь не права «ч е л о в е к а». На этот раз господин Грюн должен был забыть то, что писал раньше, чтобы Гете не потерял человеческой точки зрения.

Впрочем, господин Грюн не совсем еще забыл то, чему он научился из «Немецко-французских Ежегодников» и других книг того же направления. На стр. 210 он определяет, напр., тогдашнюю французскую свободу, как свободу от несвободного (!) всеобщего (!!) существа (!!!). Это «Unwesen», очевидно, возникло из «G e m e i n w e s e n», стр. 204 и 205 «Немецко-французских Ежегодников» путем перевода этих страниц на разговорный язык современного немецкого социализма. Истинные социалисты вообще имеют обыкновение, когда они встречаются с ходом мыслей, который им непонятен, так как абстрагирован от философии и содер-

жит юридические, экономические и т. д. выражения, мигом сводить его к короткой фразе, напичканной философскими терминами, и заучивать этот вздор наизусть для любого употребления. Таким именно образом юридическое «Gemeinwesen» «Немецко-французских Ежегодников» превращено в приведенное выше философски-бессмысленное» «allgemeine Wesen», политическое освобождение, демократия нашли в «освобождении от несвободного всеобщего существа» свою философскую краткую формулу, а ее истинный социалист может уже положить в карман, не опасаясь, что бремя его учености окажется для него слишком тяжелым. На стр. XXVI господин Грюн эксплоатирует в таком же роде то, что в «Святом Семействе» говорится о сенсуализме и материализме, и использует сделанное в этой работе указание, что у материалистов прошлого столетия, между прочим у Гольбаха, можно найти точки соприкосновения с социалистическим движением наших дней, для того, чтобы привести упомянутые выше цитаты из Гольбаха и дать к ним социалистические пояснения. Переходим к философии. К ней господин Грюн питает глубокое презрение. Уже на стр. VII он сообщает нам, что «ему более нечего делать с религией, философией и политикой», что эти трое «относятся к прошлому и никогда более не подымутся после пережитого ими крушения» и что от всех их и в частности от философии он «не сохраняет ничего, кроме человека и общественного социального существа». Общественного социального существа и упомянутого выше человеческого человека во всяком случае достаточно, чтобы утешить нас по поводу окончательной гибели религии, философии и политики. Но господин Грюн слишком скромен. Он не только «сохранил» из философии «гуманистического [1]) человека» и всевозможные «существа», но счастливо обладает и значительной, хотя и расплывчатой, массой Гегелевской традиции. Да и могло ли это быть иначе после того, как он несколько лет назад не раз благочестиво преклонял колени перед бюстом Гегеля. Нас, вероятно, попросят не касаться таких смешных и скандальных personalia; но господин Грюн сам доверил эту тайну печати. На этот раз мы не скажем где. Мы уже столько раз указывали господину Грюну его источники, отмечая и главу и стих, что можем потребовать хоть раз такой же услуги и от господина Грюна. Чтобы еще раз доказать ему нашу готовность к услугам, мы доверим ему тайну, что окончательное решение вопроса о свободе воли, приводимое им на стр. 8, он заимствовал из «Traité de l'Association» Фурье, из главы «du libre arbitre». Лишь замечание, что теория свободной воли есть «заблуждение немецкого духа», является своеобразным заблуждением самого господина Грюна.

---

[1]) В печатном тексте, повидимому, опечатка: humoristischen Menschen.

Наконец, мы приближаемся к Гете. На стр. 15 господин Грюн доказывает, что Гете имеет право на существование. Гете и Шиллер, это—разрешение противоречия между «бездеятельным наслаждением», т.-е. Виландом, и «чуждым наслаждения действием», т.-е. Клопштоком. «Лессинг первый поставил человека на голову» (сумеет ли господин Грюн проделать за ним этот акробатический фокус?).—В этой философской конструкции мы имеем сразу все источники господина Грюна. Форма конструкции, основа целого—это общеизвестный ангелевский ловкий прием примирения противоречий (der weltbekannte Angel'sche Kunstgriff der Vermittelung der Gegensätze). «Поставленный на голову человек»—это гегелевская терминология в применении к Фейербаху. «Бездеятельное наслаждение» и «чуждое наслаждения действие».—Это противоречие, на котором господин Грюн заставляет Виланда и Клопштока разыгрывать приведенные выше вариации, заимствовано из собрания сочинений М. Гесса. Единственный источник, которого здесь недостает, это сама история литературы, которая понятия не имеет о приведенном выше хламе, и поэтому с полным основанием игнорируется господином Грюном.

Так как мы как раз говорим о Шиллере, уместно привести следующее замечание господина Грюна: «Шиллер был всем, чем только можно быть, не будучи только Гете» (стр. 311). Pardon, ведь можно было бы быть и господином Грюном.—Впрочем, здесь наш автор пашет волами Людвига Баварского.

«Rom, Dir fehlt das was Neapel hat, diesem just, was Du besitzest;
Wäret ihr beide vereint, wär's für die Erde zu viel» [1]).

Этой исторической конструкцией подготовлено появление Гете в немецкой литературе. «Человек» Лессинга, «поставленный на голову», только в руках Гете может проделывать дальнейшую эволюцию. Господину Грюну принадлежит заслуга открытия в Гете «человека», не того естественного человека, веселого и плотского, который рождается от мужчины и женщины, а человека в высшем смысле, человека, как такового, caput mortuum, coulin germain гомункулуса из «Фауста», не человека, о котором говорит Гете, а «человека», о котором говорит господин Грюн. Но кто этот «человек», о котором говорит Грюн?

«В Гете все человеческое» (стр. XVI). На стр. XXI мы узнаем, «что Гете так представлял себе и изображал человека, каким мы хотели бы его сегодня осуществить в действительности». На стр. XXII: «Гете в настоящее

---

[1]) «Рим, тебе не достает того, что имеет Неаполь, Неаполю как раз того, что есть у тебя;
Если бы вы были соединены вместе, это было бы слишком много для земли».

время, таковы именно его произведения,—это подлинный кодекс человечества». Гете — это «совершенная человечность» (стр. XXV). «Поэтические произведения Гете— это идеал человеческого общества» (стр. 12). «Гете не мог стать национальным поэтом, так как он был призван быть поэтом человеческого» (стр. 25). И все же на стр. 14 «наш народ», т.-е. немцы, должен в Гете «видеть в проясненном виде свое собственное существо». Здесь нам дается первое раз'яснение «существа человека», и мы при этом тем более можем положиться на господина Грюна, что он, несомненно, чрезвычайно глубоко «исследовал понятие человек». Гете так представляет «человека», как господин Грюн его «осуществляет» в действительности и в то же время он представляет немецкий народ; таким образом «человек» есть не кто иной, как «проясненный немец». Это подтверждается повсюду. Как Гете «не национальный поэт», но «поэт человеческого», так и немецкий народ «не национальный» народ, но народ «человеческого». Поэтому на стр. XVI мы читаем: «Поэтические произведения Гете, возникнув из жизни, не имели и не имеют ничего общего с действительностью». Точь в точь, как и «человек», как и немцы. А на стр. 4: «И сейчас еще французский социализм хочет осчастливить Францию; немецкие же писатели имеют перед своими глазами весь род человеческий» (между тем, как «род человеческий» имеет их в большинстве случаев не «перед глазами», а перед отдаленной и противоположной частью тела). Так господин Грюн во многих местах выражает свою радость по поводу того, что Гете хотел «освободить человека изнутри» (см., напр., стр. 225), но из этого чисто германского освобождения все еще ничего не выходит.

Констатируем пока это первое раз'яснение. «Человек»—это «проясненный» немец.

Проследим, в чем заключается признание господином Грюном Гете «поэтом человеческого», признание «человеческого содержания в Гете». Мы увидим, что господин Грюн открывает здесь сокровеннейшие мысли истинного социализма, как и вообще в своем усердии перекричать всю свою компанию он выбалтывает миру вещи, о которых прочая братия предпочла бы хранить молчание. Ему, впрочем, тем легче было превратить Гете в «поэта человеческого», что Гете сам часто в несколько эмфатическом смысле употреблял слова «человек» и «человеческий». Гете употреблял их, правда, в том смысле, в каком они употреблялись в его время, и позже Гегелем, когда слово человеческий применялось по отношению к грекам в противоположность языческим и христианским варварам, задолго до того, как эти выражения получили у Фейербаха свое таинственно-философское значение. У Гете в большинстве случаев они имеют совершенно

нефилософское, телесное значение. Лишь господину Грюну принадлежит заслуга превращения Гете в ученика Фейербаха и в истинного социалиста.

О самом Гете мы не можем, конечно, говорить здесь подробно. Мы обращаем внимание лишь на один пункт.—Гете в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу его времени. То он враждебен ему; оно противно ему и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время итальянского путешествия, он восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. То он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких Ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от напирающего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, будто Гете признает лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это различные настроения, в которых он находится; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гете то колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (misère) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в Шиллеровском бегстве к Кантовскому идеалу; он был слишком проницателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его силы, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. В этой дилемме—существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать,—в этой дилемме Гете находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, de guerre lasse перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, в том, что он не был либерален, а в том, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистер-

скому страху перед всяким современным великим историческим движением; не в том, что он был придворным, а в том, что в то время, когда Наполеон очищал огромные Авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точки зрения, мы не измеряем Гете ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом. Мы не можем здесь представить Гете в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками в его развитии и в жизни. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что констатируем факт.

Мы увидим, с какой из указанных сторон произведения Гете является «подлинным кодексом человечества», «совершенной человечностью», «идеалом человеческого общества».

Обратимся сначала к Гетевской критике существующего общества, чтобы затем перейти к положительному изложению «идеала человеческого общества». При богатстве содержанием книги Грюна мы, само собой понятно, приведем в обоих случаях лишь несколько наиболее характерных блестящих мест.

Гете в качестве критика общества действительно совершает чудеса. Он «проклинает цивилизацию» (стр. 34—36), повторяя романтические жалобы, что цивилизация стирает в человеке все характерное, индивидуальное. Он «предсказывает мир буржуазии» (стр. 79), изображая в «Прометее» tout bonnement возникновение частной собственности. Он—на стр. 229—«судья мира... Минос цивилизации». Но все это лишь мелочи.

На стр. 253 господин Грюн цитирует «Ketechisation»:

«Bedenk, o Kind, woher sind diese Gaben?
Du kannst Nichts von Dir selber haben.
Ei, Alles hab'ich vom Papa.
Und der, woher hat's der?—Vom Grosspapa.
Nicht doch! Woher hat's denn der Grosspapa bekommen?
Der hat's genommen».

Ура! во весь голос кричит господин Грюн, la propriété c'est le vol—вот настоящий Прудон!

Леверрье со своими планетами может итти домой и уступить свой орден господину Грюну, так как здесь перед нами нечто большее, чем Леверрье, большее даже, чем Джексон и пары сернистого эфира. Кто свел как никак беспокоящую многих мирных буржуа фразу Прудона о краже к размерам приведенной выше эпиграммы Гете, заслуживает grand cardon Почетного легиона.

«Гражданский генерал» доставляет уже больше хлопот. Господин Грюн оглядывает его некоторое время со всех сторон,

вопреки своему обыкновению делает несколько гримас, становится озабоченным: «да, да... довольно безвкусно... революция здесь не осуждена» (стр. 150)... Стой, нашел, о каком предмете здесь идет речь? О горшке молока. Итак: «не забудем, что это опять... вопрос о собственности, выдвинувшийся на первый план» (стр. 151).

Когда на улице, на которой живет господин Грюн, две старухи ссорятся из-за селедочной головки, пусть господин Грюн не откажется от труда спуститься из своей пахнущей розами и резедой комнаты и известит их, что и у них «вопрос о собственности» «выдвинулся» на первый план. Благодарность всех благомыслящих людей будет для него лучшей наградой.

Один из величайших критических подвигов совершил Гете, когда написал «Вертера». «Вертер» отнюдь не простой сантиментальный роман с любовной фабулой, как это думали до сих пор читатели Гете, руководясь «человеческим разумением». В «Вертере» «человеческое содержание нашло для себя такую адэкватную форму, что ни в одной литературе нельзя найти ничего такого, что могло бы быть поставлено хоть сколько-нибудь рядом с ним» (стр. 96). «Любовь Вертера к Лотте лишь рычаг, лишь носитель трагедии последовательного эмоционального пантеизма. Вертер, это—человек, который лишен стержня и который еще не сделался суб'ектом» (стр. 93). Вертер кончает с собой не из-за своей влюбленности, а потому, «что он—злополучное пантеистическое сознание—не мог уяснить своих взаимоотношений с миром» (стр. 94). «Вертер с художественным мастерством выявляет всю гниль современного общества, показывает глубочайшие корни социальных недугов, их религиозно-философскую основу (каковая «основа», однако,—более позднего происхождения, чем «недуги»); указывает, как на источник зла, на нечеткость, туманность познания... Чистые, проветренные понятия об истинной человечности» (но прежде всего стержень, господин Грюн, стержень!) «нанесли бы смертельный удар тому отвратительному, со всех сторон из'еденному червями состоянию, которое именуется буржуазным обществом!».

Вот вам пример того, как Вертер «с художественным мастерством» изображает «гниль общества». Вертер пишет: «Авантюры? С какой стати пользуюсь я этим глупым словом?.. Наши буржуазные, наши лживые порядки—вот настоящие авантюры, подлинные уродства!». Этот стон мечтательного плаксы по поводу бездны между буржуазной действительносью и своими, не менее буржуазными, иллюзиями относительно этого строя, этот жалкий, основанный исключительно на отсутствии элементарного опыта вопль господин Грюн на стр. 84 выдает за острую и глубокую критику общества. Господин Грюн утверждает даже, что выраженная в вышеприведенных словах «неизбывная мука жизни, эта болезненная потребность все ставить на голову, чтобы оно

хоть один раз приняло иной облик» (!) в конце концов проложили себе русло французской революции». Революция, в которой перед тем было усмотрено осуществление маккиавелизма, становится теперь лишь осуществлением страданий молодого Вертера. Гильотина, воздвигнутая на революционной площади, оказывается не чем иным, как бледной копией вертеровского пистолета.

После этого не приходится удивляться, что Гете и в «Стелле», как указывается на стр. 108, обработал «социальное содержание», хотя в этом произведении изображены «в высшей степени жалкие взаимоотношения» (стр. 107). Истинный социализм гораздо менее взыскателен, чем наш господь Иисус. Где двое или трое собрались вместе—и вовсе не требуется, чтобы это было во имя его—там он уже среди них и проникнут «социальным содержанием». Он, равно как и его последователь господин Грюн, вообще имеет поразительное сходство с «тем плоским, самодовольным разнюхиванием, которое во все решительно вмешивается, но ни в чем не в состоянии разобраться» (стр. 47).

Наши читатели, быть-может, помнят одно из писем, которое Вильгельм Мейстер в последнем томе «Скитаний» пишет своему свояку и в котором он,—после нескольких довольно плоских замечаний о преимуществах людей, выросших в достатке,—утверждает превосходство дворянского сословия над мещанством и санкционирует, как не подлежащее в ближайшее время изменению, подчиненное положение всех не-дворянских классов. Только отдельным личностям при известных обстоятельствах будто бы удается подняться на уровень дворянства. Господин Грюн делает по этому поводу следующее замечание: «То, что Гёте говорит о превосходстве высших классов, б е з у с л о в н о в е р н о, если отожествлять высший класс с образованным классом, а именно так делает Гете» (стр. 264). На этом мы пока можем успокоиться.

Обратимся к основному, вызвавшему столько толков вопросу: к вопросу об отношении Гете к политике и французской революции. Тут книга господина Грюна может нам показать, что значит итти напролом; тут в полной мере обнаруживается верность господина Грюна.

Чтобы отношение Гете к революции получило свое оправдание, Гёте, само собою разумеется, должен стоять н а д революцией, она, еще до своего возникновения, должна быть преодолена им. Поэтому уже на стр. XXI мы узнаем, что «Гете настолько опередил п р а к т и ч е с к о е развитие своей эпохи, что, по его собственному убеждению, мог отнестись к ней лишь с отрицанием и неприятием», а на стр. 84, при рассмотрении «Вертера», который, как мы видели, уже заключал в себе in nuce всю революцию, сказано: «История датирует 1789 год, а Гете 1889-ый». Точно так же на стр. 28 и 29 Гете должен «в двух-трех словах разделаться с бессмысленным криком о свободе»: ведь уже в 70-ых

годах он напечатал в франкфуртских ученых записках статью, которая отнюдь не говорит о свободе, требуемой «крикунами», а высказывает лишь некоторые общие и довольно сухие размышления о свободе как таковой, о самом понятии свободы. Далее: на том основании, что Гете в своей докторской диссертации защищал тезис об обязанности каждого законодателя ввести тот или иной культ—тезис, который сам Гете трактует лишь как забавный парадокс, вызванный провинциальной перебранкой франкфуртских попов (господин Грюн это с а м цитирует)—на этом основании заявляется, что «студент Гете вместе с изношенными подметками сбросил с себя весь дуализм революции и современного французского строя» (стр. 26, 27). Повидимому, господину Грюну достались в наследство «изношенные подметки студента Гете», и он приделал их к семимильным сапогам своего «социального движения».

Теперь в совершенно новом свете предстают перед нами изречения Гете, относящиеся к революции. Теперь нам ясно, что он, который стоял высоко над ней, который уже пятнадцать лет тому назад «разделался» с ней, сбросил ее с себя «вместе с изношенными подметками», опередил на полвека,—что он не мог отнестись к ней с сочувствием, не мог заинтересоваться народом «крикунов», с которым свел свои счеты уже в году от рождества Христова семьдесят третьем. Теперь для господина Грюна нет никаких трудностей. Пусть Гете облекает в стройные двустишия самую банальную традиционную мудрость, пусть он делает ее предметом самых филистерских размышлений, пусть он испытывает самый архи-мещанский трепет перед великим ледоходом, угрожающим его мирному поэтическому уединению, пусть он доводит до предела свою мелочность, свою трусость, свое лакейство,—ничто не смутит его терпеливого схолиаста. Господин Грюн подымает его на свои неутомимые плечи и несет через грязь; мало того, он всю грязь принимает на счет истинного социализма,—лишь бы не запачкались башмаки Гете. Начиная с «Французской кампании» и кончая «Незаконной дочерью»—все, все без исключения принимает на себя господин Грюн (стр. 133—170), обнаруживая преданность, которая могла бы исторгнуть слезы у Бюше и ему подобных. Но когда все бесполезно, когда грязь уж очень густа, тогда привлекается в помощь высшая социальная экзегеза, и господин Грюн парафразирует следующим образом:

Frankreichs traurig Geschick, die Grossen mögen's bedenken,
Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr.
Grosse gingen zu Grunde; doch wer beschützte die Menge
Wider die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann [1]).

---

[1]) «Печальная судьба Франции,—пусть о ней поразмыслят великие мужи, но поистине—малые еще более должны о ней поразмыслить. Великие кончили гибелью, но кто защитил толпу от толпы? Толпа стала тираном толпы».

«Кто защитит»,—кричит господин Грюн изо всей мочи, с разрядкой, с вопросительными знаками, со всеми «носителями трагедии последовательного делового пантеизма»,—«т.-е. кто защитит неимущие массы, так называемую чернь, от имущей толпы, от законодательствующей черни?!» (стр. 137). «Т.-е. кто защитит» Гете от господина Грюна?

Таким вот способом об'ясняет господин Грюн одно за другим все высокомудрые буржуазные наставления из «Венецианских эпиграмм», которые кажутся «пощечинами, наносимыми рукой Геркулеса, и которые лишь теперь звучат для нас особенно приятно» (после того как для мещанина миновала опасность), так как мы имеем за спиной великий и горький опыт» (безусловно, более горький для мещанина) (стр. 136).

Из «Осады Майнца» господин Грюн «ни в коем случае не хотел бы оставить без внимания следующее место:—Во вторник... я поспешил... выразить мое почтение... моему государю, и при этом я имел счастье услужить моему неизменно милостивому господину и т. д.—То место, где Гете повергает свою верноподданническую преданность к стопам лейб-камердинера, лейб-рогоносца и лейб-сводника прусского короля, господина Ритца,—господин Грюн не считает нужным цитировать.

По поводу «Гражданского генерала» и «Переселенцев» мы узнаем: «Вся антипатия Гете к революции, так часто облекавшаяся в поэтическую форму, вызывалась тем, что он видел людей, изгоняемых из честно нажитых владений, на которые притязали интриганы, завистники и пр. ...вызывалась самой несправедливостью грабежа, ...и тем, что все его домовитое, мирное существо возмущалось нарушением права владения, опиравшимся на произвол и обращавшим целые массы человечества в бегство, ввергая их в нищету» (стр. 151). Поставим это место просто на счет «человека», «мирное и домовитое существо которого чувствует себя так уютно в условиях «честно нажитого», говоря просто, благоприобретенного владения, что бури революции, сметающие sans fason эти условия, он об'являет «произволом», делом «интриганов, завистников и пр.».

Что буржуазная идиллия «Германа и Доротеи» с ее робкими и благоразумными провинциалами, с ее причитающими крестьянами, в суеверном страхе бегущими от армии санкюлотов и от ужасов войны, вызывает у господина Грюна «самое чистое наслаждение» (стр. 165), после всего сказанного не удивляет нас. Господин Грюн «спокойно довольствуется даже ограниченной миссией, которая в конце концов ...выпала на долю немецкого народа». Не к лицу немцам продолжать это ужасное движение и бросаться то туда, то сюда. Господин Грюн прав, проливая слезы соболезнования из-за жертв тяжелой эпохи и в патриотическом отчаянии обращая по поводу таких ударов судьбы свои

взоры к небу. Ведь и без того не мало есть испорченных людей и выродков, в груди которых не бьется «человеческое» сердце, которые предпочитают подпевать в республиканском лагере марсельезу и даже в оставленной каморке Доротеи позволяют себе скабрезные шутки. Господин Грюн—честный прямой человек, возмущающийся бесчувственностью, с которой, например, какой-нибудь Гегель смотрит на «тихие цветки», растоптанные в бурном ходе истории, и насмехается над «скупой канителью личных добродетелей скромности, смирения, человеколюбия и благотворительности, «выдвигаемых» против всемирно-«исторических актов и их исполнителей». Господин Грюн прав в этом. На небе он получит заслуженную награду.

Закончим «человеческие» глоссы к революции следующим замечанием: «Подлинный комик мог бы самый конвент признать бесконечно смешным»; а пока не нашлось такого «подлинного комика», господин Грюн дает нам необходимые для этого инструкции (стр. 151 и 152).

Об отношении Гете к политике после революции господин Грюн опять-таки дает нам ошеломляющие раз'яснения. Приведем лишь один пример. Мы уже знаем, какая глубокая злоба против либералов таится в груди «человека». «Поэт человеческого» не может, конечно, сойти в могилу, не оставив памятки для господ Велькера, Ицштейна и компании. Такую памятку наше «самодовольно проницательное существо» находит в следующем месте в «Кротких Ксениях»:

«Das ist doch nur der alte Dreck,
Werdet doch gescheiter!
Tretet nicht immer denselben Fleck,
So geht doch weiter!»

Высказанный Гете взгляд, «ничто не внушает большего отвращения, чем большинство, так как оно состоит из немногих сильных вожаков, из плутов, которые приспособляются, из слабых, которые ассимилируются, и из массы, которая ковыляет за ними, не зная и в отдаленной степени, чего она хочет»,—это типичное мнение обывателя, которое в своем невежестве и близорукости только и возможно было на ограниченной территории немецкого карликового государства, представляется господину Грюну, как «критика позднейшего» (т.-е. современного) «правового государства». Насколько она значительна, можно убедиться, «напр., в любом парламенте» (стр. 268). Таким образом «брюхо» французской палаты только по невежеству так превосходно печется о себе и ему подобных. Несколькими страницами дальше (стр. 271) «июльская революция» оказывается для господина Грюна «фатальной», и уже на стр. 34 высказывается суровое осуждение таможенному союзу, так как он «еще удорожает лох-

мотья, необходимые голому и зябнущему для прикрытия своей наготы, чтобы несколько усилить опору трона (!!), свободомыслящих денежных тузов» (которые, как известно во всем таможенном союзе находятся в оппозиции к «трону»). «Голыми» и «зябнущими», как известно, обыватель всегда аргументирует в Германии, когда нужно оспаривать покровительственные пошлины или какую-либо другую прогрессивную буржуазную меру, и «человек» присоединяется к обывателю.

Что же раз'ясняет нам у господина Грюна относительно «существа человека» Гетевская критика общества и государства?

Прежде всего «человек», согласно стр. 264, испытывает глубокое уважение к «образованным сословиям» вообще и особое чувство почтительности к высшему дворянству. Далее для него характерен сильный страх, который он испытывает по отношению ко всякому большому массовому движению, ко всякому энергичному общественному действию, при приближении которого он либо трусливо прячется за печку, либо поспешно удирает со всем своим скарбом. Пока движение продолжается, оно для него лишь «горький опыт»; но едва лишь оно прекратилось, он широко размещается на авансцене, раздает рукой Геркулеса пощечины, звук которых только теперь начинает ему казаться таким приятным, и находит все происшедшее «бесконечно смешным». При этом он всей душой тяготеет к «честно нажитому владению» и является в остальном вполне «домовитым и мирным существом», скромен, довольствуется малым и желал бы, чтобы никакие бури не мешали ему в его маленьких, тихих радостях. «Человек охотно живет в ограниченной обстановке» (стр. 191; такова первая фраза «второй части»): он никому не завидует и благодарит Творца, если его оставляют в покое. Словом, «человек», о котором мы уже знаем, что он прирожденный немец, начинает понемногу, как две капли воды, походить на немецкого мещанина.

Действительно, к чему сводится—при посредничестве господина Грюна—Гетевская критика общества. Что осуждает «человек» в обществе. Во-первых, то, что оно не отвечает его иллюзиям. Но эти иллюзии являются как раз иллюзиями идеологизирующего, в особенности молодого обывателя и если обывательская действительность не отвечает этим иллюзиям, то вызывается это тем, что ведь это—иллюзии. Но они зато тем более соответствуют обывательской действительности. Они отличаются от нее лишь так же, как вообще идеологическое выражение какого-либо состояния отличается от этого последнего, и о реализации его не может поэтому быть и речи. Убедительным доказательством этого являются глоссы господина Грюна к «Вертеру».

Во-вторых, полемика «человека» направляется против всего того, что угрожает немецкому режиму обывательщины. В его ненависти к либералам июльской революции, покровительствен-

ным пошлинам ясно сказывается ненависть придавленного, косного мещанина к независимой прогрессивной буржуазии. Приведем для иллюстрации этого еще два примера.

Расцветом мещанства, как известно, был цеховой строй. На стр. 40 господин Грюн говорит, в духе Гете, т.-е. «человека»: «В средние века корпорация связывала сильного в целях защиты с другими сильными». В глазах «человека» члены цехов того времени «сильные люди».

Но во времена Гете цеховой строй уже разрушался, конкуренция прорывалась со всех сторон. Гете, как настоящий обыватель, в одном месте своих мемуаров, которые цитирует господин Грюн на стр. 88, предается душу раздирающим жалобам по поводу начинающегося гниения мещанства, разорения состоятельных семей, связанного с этим развала семейной жизни, ослабления домашних связей и прочих мещанских горестей, которые в цивилизованных странах встречают презрение. Господин Грюн видит в этом месте превосходную критику современного общества и до такой степени не в силах умерить свою радость, что все «человеческое содержание» этой цитаты печатает курсивом.

Перейдем теперь к положительному «человеческому содержанию» в Гете. Мы можем теперь быстрее подвигаться вперед, так как мы уже напали на след «человека».

Прежде всего нужно отметить отрадное открытие, что «Вильгельм Мейстер бежит из родительского дома» и в «Эгмонте» «брюссельские граждане отстаивают свои права и привилегии» только для того, чтобы «стать людьми» (стр. XXII).

Господин Грюн поймал уже однажды старика Гете на путях Прудона. На стр. 320 это ему посчастливилось еще раз: «То, чего он желал, чего мы все желаем, это спасти нашу личность, это анархия в истинном значении этого слова; Гете говорит об этом:

«Warum mir aber in neuster Welt
Anarchie so gar wohl gefällt?
Ein jeder lebt nach seinem Sinn
Das ist nun also auch mein Gewinn» и т. д.

Господин Грюн на верху блаженства; подлинно «человеческая» общественная анархия, возвещенная впервые Прудоном и принятая par acclamation немецкими истинными социалистами,— эта анархия обнаруживается у Гете. На этот раз он, однако, не доглядел. Гете говорит здесь об уже существующей «анархии в новейшем мире», которая составляет уже его «выгоду» и согласно которой каждый живет как хочет: т.-е. он говорит о независимости в общественном быту, вызванной разложением феодального и цехового строя, возвышением буржуазии и изгнанием патриархальности из общественной жизни образованных классов. О дорогой сердцу господина Грюна будущей анархии в выс-

шем смысле здесь не может быть и речи уже по грамматическим соображениям. Гете вообще говорит здесь не о том, чего он желал бы, а о том, что он нашел готовым.

Но этот маленький стишок не должен портить картины. Ведь мы зато имеем стихотворение «Собственность».

«Ich weiss, dass mir nichts angehört,
Als der Gedanke der ungestört
Aus meiner Seele will fliessen
Und jeder günstige Augenblick,
Der mich ein liebendes Geschick
Von Grund aus lässt geniessen».

Если не очевидно, что в этом стихотворении «существовавшая до сих пор собственность исчезает, как дым» (стр. 320), то разум умолкает в господине Грюне.

Но предоставим эти маленькие экзегетические развлечения господина Грюна их судьбе. Число их легион, и одно неожиданнее другого. Присмотримся лучше еще раз к «человеку».

Мы уже слышали, что «человек охотно живет в ограниченной обстановке». Обыватель тоже. «Первенцы Гете были чисто социального (т.-е. человеческого) характера... Гете дорожил ближайшим, незаметным, уютным» (стр. 88).—Первое положительное, что мы открываем в человеке, это любовь к «незаметной уютной» тихой жизни мещанина.

«Если мы находим в мире место,—так господин Грюн резюмирует Гете,—где мы можем спокойно жить, не тревожась за то, чем мы владеем, имеем поле, которое нас кормит, дом, который нас укрывает,—разве здесь не наша родина?». И господин Грюн восклицает: «Разве эти слова не выражают подлинные стремления нашей души» (стр. 32).—«Человек» носит redingote à la propriétaire и обнаруживает себя и тут подлинным мещанином.

Немецкий бюргер, как всякий знает, разве лишь кратковременно, в молодости, мечтает о свободе. «Человек» отличается тем же свойством. Господин Грюн с удовольствием отмечает, что Гете в позднейшие годы резко осудил стремление к свободе, сказывающееся еще в «Геце», этом «произведении свободного необузданного мальчика»; он цитирует даже (на стр. 43) трусливое отречение Гете. Что понимает господин Грюн под свободой, можно видеть из того, что он тут же отождествляет свободу французской революции со свободой швейцарцев ко времени путешествия Гете по Швейцарии, т.-е. современную конституционную и демократическую свободу с режимом господства патрициев и цехов в средневековых имперских городах и со старо-германской грубостью альпийских скотоводов. Монтаньяры Бернского нагорья даже и по имени не отличаются от монтаньяров Конвента!

Почтенный бюргер—большой враг всякой фривольности и кощунственных шуток. «Человек» точно так же. Если Гете в разных местах говорит об этом, как подлинный бюргер, то для господина Грюна и это относится к «человеческому содержанию Гете». И для того, чтобы читатель вполне поверил этому, господин Грюн не только собирает эти жемчужные зерна, но добавляет на стр. 62 кое-что ценное и от себя, напр., что «богохульники... пустые горшки и дураки» и т. д. И это делает честь его сердцу, как сердцу «человека» и гражданина (Bürger'a).

Бюргер не может жить без «возлюбленного монарха». И «человек» не может. Поэтому и Гете на стр. 129 имел в Карле-Августе «превосходного государя». Мужественный господин Грюн бредит anno 1846 о «превосходных государях».

Бюргера каждое событие интересует постольку, поскольку оно непосредственно затрагивает его частные интересы. «Даже события дня становятся для Гете внешними об'ектами, если они то неблагоприятно, то благоприятно влияют на его буржуазный уют, если они могут вызвать у него эстетический или человеческий, но отнюдь не политический интерес» (стр. 20). Господин Грюн «приобретает человеческий интерес к какой-либо вещи» лишь, если он замечает, что она «то неблагоприятно, то благоприятно влияет на его буржуазный уют». Господин Грюн признает здесь прямо, что буржуазный уют это — главное для «человека».

«Фаусту» и «Вильгельму Мейстеру» господин Грюн посвящает специальные главы. Обратимся сначала к «Фаусту».

На стр. 116 мы узнаем: «Только благодаря тому, что Гете напал на след тайны организации растений», «он оказался в состоянии создать своего гуманистического человека (от «человеческого человека» нам никак не спастись), Фауста. Ведь Фауст, как благодаря... так и благодаря естествознанию подымается на вершину своей собственной природы»! Мы уже видели, как и «гуманистический человек»—господин Грюн «благодаря естествознанию» подымается на вершину своей собственной природы». Видно, это лежит в крови.

Мы узнаем далее на стр. 231, что «звериный скелет и мертвая кость» в первой сцене означают «абстракцию всей нашей жизни»; вообще господин Грюн обращается с «Фаустом» так, точно он имеет перед собой откровение святого Иоанна богослова. Макрокосм означает «Гегелеву философию», которая тогда, когда Гете писал эту сцену (в 1806 г.), еще существовала может быть лишь в голове Гегеля и разве лишь в рукописи «Феноменологии», над которой Гегель в это время работал. Но «человеческому содержанию» нет дела до хронологии.

Изображение во второй части «Фауста», утратившей свое величие священной Римской империи, господин Грюн просто рас-

сматривает, как изображение монархии Людовика XIV, «чем», добавляет он, «сама собой дается конституция и республика». «Человеку», конечно, дается «само собой» все то, что другие люди должны добывать тяжелым трудом.

На стр. 246 господин Грюн открывает нам, что вторая часть «Фауста» с естественно-научной стороны «стала современным каноном, точно так же, как «Божественная комедия» Данте была каноном средневековья». Рекомендуем это замечание вниманию естествоиспытателей, которые до сих пор мало интересовались второй частью «Фауста», и вниманию историков, которые видели до сих пор в проникнутом партии духом гибеллинов произведении Флорентинца что-то совсем не похожее на «канон средневековья». Повидимому, господин Грюн смотрит на историю такими же глазами, какими, согласно стр. 49, Гете смотрит на свое прошлое: «В Италии Гете взглянул на свое прошлое глазами Аполлона Бельведерского», каковые pour comble de malheur лишены даже глазных яблок.

Вильгельм Мейстер—«коммунист», т.-е. «в теории стоит на почве эстетического воззрения(!)» (стр. 254). «Er hat sein Sach auf Nichts gestellt, und sein gehört die ganze Welt» (стр. 257). Конечно, у него есть довольно денег, и мир принадлежит ему, как всякому буржуа, и для этого ему вовсе не нужно стараться стать «коммунистом на почве эстетического воззрения». Под аусппциями того «ничто», на карту которого Вильгельм Мейстер поставил свое дело и которое, как выясняется на стр. 256, оказывается довольно пространным и содержательным «ничто», упраздняется и похмелье. Господин Грюн «осушает все бокалы до дна без головной боли». Тем лучше для «человека», который может безнаказанно предаваться пьянству. Для того времени, когда это все осуществится, господин Грюн уже сейчас открывает, что «Ich hab mein' Sach auf Nichts gestellt»—это подлинная застольная песня «истинного человека»; эту песню будут петь, когда человечество окажется достойно ее». Но господин Грюн сократил ее до трех строф и вытравил все места, не подходящие для молодежи и для «человека».

Гете в «Вильгельме Мейстере» «устанавливает идеал человеческого общества». «Человек не обучающее, а живущее, деятельное и действующее существо». Вильгельм Мейстер и есть этот человек. «Существо человека составляет деятельность» (это существо является общим у человека со всякой блохой): стр. 257, 258, 261.

Наконец, о «Wahlverwandtschaften». Этот и без того моральный роман господин Грюн пропитывает моралью еще более, так что почти кажется, будто он поставил себе задачей рекомендовать «Wahlverwandtschaften» в качестве подходящего классного чтения в женских учебных заведениях. Господин Грюн об'ясняет, что

Гете «различал между любовью и браком, при чем разница заключалась в том, что любовь для него была поисками брака, а брак—обретенной, завершенной любовью» (стр. 286). Т.-е. любовь есть поиски «обретенной любви». Это раз'ясняется далее в том смысле, что после «свободы юношеской любви» должен наступить брак, как окончательный союз любви (стр. 261), точь в точь как в цивилизованных странах, где мудрый отец семейства предоставляет своему сыну сначала в течение нескольких лет перебеситься, чтобы затем найти ему подходящую жену для «окончательного союза». Но в то время, как в цивилизованных странах в этом «окончательном союзе» давно перестали видеть что-либо морально связывающее и, напротив, муж содержит любовниц, а жена наставляет мужу рога, в господине Грюне опять побеждает обыватель: «Если у человека был действительно свободный выбор, ...если два человека основывают свой союз на разумной воле обоих» (о страсти, плоти и крови здесь нет и речи), «то нужно обладать взглядами вольноотпущенного, чтобы рассматривать нарушение этого союза, как мелочь, а не как страдание и несчастье, как на него смотрит Гете. О либертинаже у Гете не может быть и речи» (стр. 262).

Это место характерно для робкой полемики против морали, которую господин Грюн позволяет себе время от времени. Обыватель убедился, что у молодых людей нужно кое на что смотреть сквозь пальцы, так как самые беспутные молодые люди потом оказываются самыми лучшими мужьями. Но если они и после свадьбы в чем-либо провинятся, тогда им нет пощады, нет для них милосердия, «так как для этого нужно обладать взглядами вольноотпущенного».

«Взгляды вольноотпущенного». «Либертинаж». Мы так осязательно видим «человека» перед нашими глазами, как он кладет руку на сердце и радостно и гордо восклицает: «Нет, я чист от всякой фривольности, я не знаю «порока», я никогда легкомысленно не нарушил счастья проникнутого довольством брака, я всегда оставался верен и честен и никогда не желал жены ближнего моего, я не вольноотпущенный!».

«Человек» прав. Он не создан для изящных приключений с красивыми женщинами, он никогда не строил своих расчетов на соблазне и супружеской неверности, он не «вольноотпущенный», а человек совести, честный и добродетельный немецкий обыватель. Он

«l'épicier pacifique,
Fumant sa pipe au fond de sa boutique;
Il craint sa femme et son ton arrogant;
De la Maison il lui laisse l'empire,
Au moindre singe obéit sans mot dire
Et vit ainsi, cocu, battu, content». (Parny, Goddam, Chant III).

Нам остается сделать лишь еще одно замечание. Если мы выше рассматривали Гете лишь с одной стороны, то в этом вина исключительно господина Грюна. Он совсем не изображает Гете со стороны его величия. Он спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гете действительно велик и гениален, напр., мимо римских элегий «вольноотпущенника» Гете, или заливает это широким потоком банальностей, чем только доказывает, что тут ему нечего сказать. Зато с редким для него прилежанием он отыскивает все филистерское, все обывательское, все мелкое, группирует все это, утрирует по всем правилам литературного цеха и каждый раз радуется, когда ему представляется возможность подкрепить какую-либо пошлость авторитетом хотя бы и искаженного Гете.

История отомстила Гете за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался лицом к лицу с ней. Но эта месть не в нападках Менцеля, не в ограниченной полемике Берне. Нет,

> «So wie Titania in Feen und Zauberland
> Klaus Zetteln in den Armen fand»,

так Гете проснулся однажды в об'ятиях господина Грюна. Апология его господином Грюном, слова горячей благодарности, которые тот бормочет по поводу всякого филистерского замечания Гете, это самая жестокая месть оскорбленной истории величайшему немецкому поэту.

А господин Грюн «может умереть с сознанием, что он не осрамил призвания—быть человеком» (стр. 248).

———

Алогизм Уильяма Джемса [1]).

В. Асмус.

I.

Прагматическая теория Джемса не раз была предметом обстоятельного разбора и ожесточеннейшей критики. Гораздо меньше внимания уделялось анализу логических воззрений Джемса. А между тем, учение Джемса о логике—одна из любопытнейших страниц в истории буржуазной мысли. Социальная основа философии Джемса в целом—та же, что и основа новейших европейских антирационалистических систем. Но вместе с тем учение Джемса представляет не только воспроизводение уже известных доктрин, но также новый, и при том знаменательный шаг вперед в направлении, по которому неуклонно двигалась буржуазная философская мысль в конце XIX и начале XX века.

Философским источником логических воззрений Джемса был, по собственному его признанию, интуитивизм Бергсона. Однако самый характер влияния, оказанного сочинениями Бергсона на Джемса, в высшей степени любопытен—с социологической точки зрения. В фактах идеологического «влияния» нет ничего случайного: они всегда детерминированы социологически. «Влияние» Бергсона на Джемса, понятое социологически, есть не столько «влияние», сколько интерпретация. Характер, направление, содержание этой интерпретации в точности отражают новый этап в развитии буржуазной идеологии. В работе о Бергсоне я отметил те стороны его учения, в которых критика интеллектуализма переходит в прямой алогизм. Но, как было мною указано, у самого Бергсона алогизм этот значительно смягчался рядом существенных оговорок. Алогизм Бергсона—более тенденция, чем категорическая догма. Могучее обаяние точных наук, авторитет классических традиций философии сдерживали алогические тенденции Бергсона, не дав им развернуться в откровенное и резкое восстание против интеллекта. В трактатах Бергсона алогические тенденции изложены языком дипломатии, и своему исконному врагу—интеллекту—Бергсон воздает все воинские почести. Более того. Для последующей формации буржуазных идеологов Бергсон оказался даже слишком позитивистическим мыслителем. В биологизме «Творческой эволюции» стали усматривать свидетельство философской немощи Бергсона, его неспособности уйти окончательно из-под власти рационалистического позитивизма. Как бы то ни было, но об'ективный результат философии Бергсона соответствовал идеологическим нуждам

---

[1] Настоящая статья по содержанию есть продолжение моей работы «Бергсон и его критика интеллектуализма» («Под Знам. Маркс.» 1926 г., № 3, стр. 43—75).

европейской буржуазии: учение это намечало все основы критики интеллекта и логики, но в такой форме, которая не разрывала внешних связей с вековыми традициями положительной философии и, таким образом, удачно маскировала начавшийся закат буржуазной философии: все далее и далее идущее недоверие к теории, разочарование в интеллекте, сомнение в логике, жажду иных способов утешения.

Несколько иначе сложились дела в Америке. Отделенные широким простором Атлантического океана от старой Европы с ее бесчисленными седыми научными учреждениями, уходящими корнями—в средневековье, буржуазные теоретики Америки—даже в тех случаях, когда они получали свое образование в колледжах и университетах старой Англии—далеко не в той мере, как их европейские собратья, испытывали давление классических традиций. С другой стороны, в стране, где движение пролетариата не успело еще сложиться в формы, представляющие осязательную угрозу буржуазному порядку, интеллектуальные силы буржуазии могли развиваться, не боясь, что деградирующая природа этого развития может быть опознана.

В такой-то обстановке приступал Джемс к изучению философии Бергсона. Он подошел к Бергсону с умом сравнительно «свободным» от преклонения перед авторитетом рационализма, с руками, не связанными, не стесненными, вольными искать в любом направлении, брать именно то, что ему было нужно.

Сюда присоединились и чисто-личные особенности Джемса—редкая искренность и прямодушие. Свои мысли Джемс выражает, совершенно не считаясь с тем впечатлением, какое они могут произвести на читателей [1]). В результате философия Джемса представляет новую—гораздо более решительную, чем у Бергсона—форму борьбы против интеллектуализма. Алогизм Джемса гораздо откровеннее, прямее, радикальнее, а потому и проще в формах выражения, нежели утонченный, искусно замаскированный алогизм Бергсона. Джемс прямо отбрасывает прочь ту элегантную церемонность, расшаркивание в сторону интеллекта и положительной науки, которые еще так характерны для Бергсона. О своем превращении из рационалиста в решительного и убежденного алогиста сам Джемс рассказал с исключительной искренностью и прямотой. В отличие от Бергсона, неохотно раскрывающего источники своего учения, Джемс не утаивает своей духовной генеалогии. В своей лекции «Соединение элементов сознания» Джемс обращается к своим слушателям с таким признанием: «Я до сих пор,—говорит он,—не эмансипировался бы, до сих пор не отодвинул бы с таким легким сердцем логику на второй план, не изгнал бы ее из глу-

[1]) Простодушная откровенность Джемса повредила ему во мнении буржуазных идеологов Европы. В конце XIX и в начале XX в. философская совесть, искренность и прямота становятся редкими качествами в среде европейских философов. Да и расцениваются они не как добродетели, а скорее как недостатки. Для многих из европейских читателей Джемса его философия показалась компрометирующей интеллектуальное достоинство класса. Джемс простодушно проговорился и выболтал то, что—по крайней мере в Европе—надо было тщательно скрывать: теоретический декаданс класса, разрыв с интеллектуализмом, поход против логики. Непосредственность и откровенность в этих вопросах казались непристойными всем тем, кто еще дорожил связями с традицией классической философии.

бины философии, чтобы заставить занять ее законное и почетное место в мире простой человеческой деятельности, если бы на меня не оказал влияния... в высшей степени оригинальный французский писатель, Анри Бергсон. Чтение его произведений—вот что сделало меня смелым. Если бы я не читал Бергсона, я, вероятно, до сих пор продолжал бы исписывать для себя страницу за страницей, в надежде заставить сойтись концы, которые никогда не могли сойтись, и пытаясь найти такой способ понимания действительности и ее проявлений, который не противоречил бы принятым законам логики тождества»[1]). Чрезвычайно знаменательно, что теория Бергсона разрешила сомнения и колебания Джемса именно относительно логики и интеллектуализма вообще. В интуитивизме Бергсона Джемс вычитал больше того, что, быть может, хотел открыть читателям сам автор. Нельзя отказать Джемсу в большой проницательности. Уже в первых работах Бергсона Джемсу удалось прощупать основной стержень, основную тенденцию системы. Не взирая на обманчивую quasi-позитивистскую оболочку, Джемс сразу узнал в Бергсоне его подлинную природу антиинтеллектуалиста. Более того. Подстрекаемый непреодолимым стремлением—расквитаться с интеллектом—Джемс раздул, преувеличил размеры бергсоновского алогизма. В теории Бергсона Джемс усмотрел не только то, что было в известной мере завуалировано ее автором, но даже и то, чего в ней вовсе не было. Преувеличения, суб'ективизм в джемсовской интерпретации Бергсона великолепно отражают рост антиинтеллектуалистических настроений среди буржуазных философов эпохи империализма.

В философии Бергсона Джемс увидел категорическую критику интеллектуализма. «Самым важным... вкладом Бергсона в философию,—говорит Джемс,—является его критика интеллектуализма. На мой взгляд Бергсон убил интеллектуализм окончательно и без всякой надежды на возрождение»[2]). Что касается самого Джемса, то у него критика интеллектуализма сразу принимает характер радикальной критики понятий. И здесь Джемсом руководит правильный инстинкт. Джемс отлично понимает, что сущность интеллектуализма тесно связана с понятиями, с концептизмом. Хотя всякое мышление реализуется в суждениях и—с точки зрения процесса мышления—мы можем рассматривать суждения, как реальную единицу и как основной факт мышления, однако в высоко организованных формах научного мышления на первый план выдвигается именно понятие. С чего бы ни начинала логика изложение своего предмета—с суждения, как реального носителя мышления, или с понятия, как «элемента» суждения—ясно, что на высоких ступенях научного мышления суждение превращается в средство, а настоящей целью и результатом суждения будет именно понятие, как высшая возможная форма теоретической деятельности. Коренное, определяющее значение понятия Джемс признает в полной мере. «Интеллектуализм,—говорит он,—коренится в нашей

[1]) У. Джемс, Вселенная с плюралистической точки зрения, лекция V: Соединение элементов сознания, пер. Б. Осипова и О. Румера, М. 1911 г., стр. 118, курсив мой. *В. А.*

[2]) У. Джемс, Вселенная и т. д., стр. 119.

способности, дающей нам главное превосходство над животными, а именно, в способности приводить сырой поток нашего чисто чувственного опыта в систему понятий» [1]).

Так как интеллектуализм свое завершение находит в понятиях, то всякая борьба против интеллектуализма может почитаться успешной только в том случае, если она будет направлена против понятий. В понятиях антиинтеллектуалисты всегда видели своего исконного и сильнейшего врага. Уже Бергсон—хотя он и не первый в этом деле—упорно и долго боролся против концептизма. Но в то время, как у Бергсона критика понятий прикрывалась иллюзорным параллелизмом его учения об интуиции, у Джемса эта критика выступает совершенно открыто, без всякой маскировки.

Джемс критикует интеллект как в его генезисе, так и в современной его функции. Следуя за Бергсоном, Джемс подчеркивает, что источником интеллекта были практические потребности, а его современное назначение—в обслуживании этих потребностей. По мнению Джемса, «бессмертные исследования Гельмгольца об ухе и глазе—в сущности не что иное, как комментарий к закону, что практическая польза определяет то, какие элементы наших ощущений мы принимаем во внимание, какие нет. Мы замечаем или различаем всякий чувственный элемент,—говорит Джемс,—лишь поскольку от него зависит изменение наших действий [2]). Коренное заблуждение философии состоит, по Джемсу, в том, что в интеллекте она видит орудие познания, орган теоретической деятельности в то время, как на самом деле интеллект есть всего лишь орудие практической ориентации. «Чувственное впечатление,—утверждает Джемс,—существует лишь для того, чтобы возбудить центральный процесс мышления, а последний существует лишь для того, чтобы вызвать конечный акт. Таким образом, всякий акт—не что иное, как реакция на внешний мир; а средняя ступень—рассмотрение, созерцание или мышление—только переходный пункт, середина петли, оба конца которой прикреплены к внешнему миру» [3]). «Если бы умственный процесс, — рассуждает Джемс,—не коренился во внешнем мире, если бы он не вел к активным проявлениям, он не исполнял бы своего назначения и его надо было бы считать или патологическим, или незаконченным. Поток жизни, проникающий в нас через уши или глаза, должен вернуться во внешний мир через посредство наших рук, ног или уст. Мысли, которые порождаются в нас этим потоком, в сущности только определяют, к какому из упомянутых органов должен быть направлен последний при данных обстоятельствах для того, чтобы действия наши всего больше способствовали нашему благополучию» [4])... «поступки, а не чувства — окончательная цель нашего познания... граница нашего интеллектуального горизонта — представление о некоторых работах, которые мы должны

---

[1]) Там же, стр. 120.

[2]) У. Джемс, Чувство рациональности (Зависимость веры от воли и др., пер. С. И. Церетелли. СПБ. 1904, стр. 97, курсив мой. *В. А.*).

[3]) У. Джемс, Рефлекторные акты и теизм (Зависимость веры от воли, стр. 131; курсив мой. *В. А.*).

[4]) У. Джемс, Рефлекторные акты и теизм (там же, стр. 131).

произвести, или которым должны противодействовать»[1]).

Как видно из приведенных цитат, Джемс великолепно понимает практическую природу интеллекта и интеллектуального познания. Но верное по сути представление сопровождается у Джемса в корне неверной оценкой. Практическая природа интеллекта, в глазах Джемса, есть самое верное доказательство немощи интеллектуального познания. Так как наша рациональная логика и положительная наука состоят на службе у практики, то они не могут, по Джемсу, обеспечить нам проникновение в «интимную» сущность действительности. Познавать, но лишь в меру нашей способности воздействовать на вещи—это значит познавать неполным, поверхностным образом. В этом смысле положительная наука дает, по мнению Джемса, не больше, чем обыденная—рациональная в основной своей установке—логика. Как бы ни казались утонченными и усложненными наши научные понятия—по сути они не далеко ушли от тех рациональных форм, которыми оперирует еще не знающий науки интеллект и которые возникли, как орудие для ответа на вопросы, предлагаемые практикой, в самом узком, техническом смысле этого слова. «Разве возможно,—восклицает Джемс,—чтобы такая молодая наука, выросшая точно гриб за одну ночь, могла знакомить нас с чем-либо большим, нежели с кусочком той вселенной, которая предстанет перед нами, когда мы познаем ее адэкватно? Нет! наша наука—капля, наше невежество—море!» [2]). По мысли Джемса, безуспешность интеллектуального познания, количественная ничтожность его результатов, об'ясняется не безмерностью познавательных задач, не бесконечными размерами того, что предстоит познанию, но несовершенством самого познавательного метода. Интеллектуальные методы выкраивают из конкретной ткани бытия только те его части, которые доступны практическому воздействию. Они показывают в вещах лишь то, что может усмотреть в них интеллект; последний же глядит на мир глазами, затуманенными практическим интересом.

В основе этого воззрения лежит откровенное недоверие к познавательной ценности практического опыта. Молчаливую предпосылку всех гносеологических суждений Джемса образует взгляд, согласно которому практика не может быть источником адэкватного познания. В этом пункте приходится исправить ошибку, обычно сопровождающую истолкование джемсовской философии.

Большинство интерпретаторов Джемса подчеркивали «прагматизм» Джемса, т.-е. подчинение всех теоретических задач задаче практического обслуживания жизни и вырастающих из жизни духовных потребностей. Такая характеристика не может быть названа неверной, но она явно недостаточна. Если бы теория Джемса ограничивалась бы «прагматизмом» в указанном выше значении, то в худшем случае ее можно было бы упрекать в слишком ограниченном, узком, недальновидном понимании практики. На самом деле Джемс идет гораздо дальше. «Прагма-

---

[1]) У. Джемс, Детерминизм и связанная с ним дилемма (Зависимость веры от воли, стр. 199; курсив мой. В. А.).

[2]) У. Джемс, Стоит ли жить? (Зависимость веры и т. д., стр. 60).

тизм» в его устах есть лишь выражение критики интеллекта. Так как практическая точка зрения в сущности не есть, по Джемсу, точка зрения познавательная, то утверждение о практическом характере **всей** науки и философии равносильно утверждению о несостоятельности **всего** интеллектуального метода в целом. Парадоксальность учения Джемса состоит в том, что он одновременно и превозносит практику—более чем кто бы то ни было—и, вместе с тем—невероятно принижает ее значение. Он превозносит практику, ибо доказывает, что все вопросы, какие только может поставить себе философия, и все ответы на них, какие только она может дать, имеют ценность и оправдание только в меру их жизненного—практического—значения. И Джемс принижает практику, ибо он утверждает, что порожденное практикой знание—именно в силу своей связи с практикой—не может почитаться за действительное знание.

Возобновляя аргументы Сократа, Джемс видит лучшее доказательство **теоретической** немощи интеллекта в тех **противоречиях**, которые необходимо возникают в процессе интеллектуального познания и которые превращают всякую рационалистическую философию в арену, никогда не прекращающейся борьбы противоположных философских систем. По Джемсу, все исторически известные нам системы запутываются в противоречии между **абсолютным единством** бытия и его **конкретной множественностью**. На крайних полюсах этого противоречия стоят, с одной стороны,—Спиноза, «с его бесплодной системой об'единения всех вещей в единой субстанции», с другой—Давид Юм, с его не менее бесплодной «несвязностью и раздельностью всех вещей» [1]).

По мнению Джемса, это противоречие не может быть разрешено в границах самого интеллектуализма. Перед лицом этого противоречия у интеллекта остается только один выход—классификация: «единственное средство примирить то и другое,—утверждает Джемс,—это **классифицировать отдельные явления**, как виды одной общей сущности, которую мы в них подмечаем. Таким образом, первым шагом при философском об'единении вещей будет их подведение под пространственные «виды», а последним—подведение их отношений и действий под общие «законы» [2]). Формально классификация—единственный результат и единственное достояние науки и философии, основанной на интеллектуальных формах и функциях. По сути же даже классификация,—так думает Джемс,—не может спасти достоинство интеллекта. В основе всякой классификации лежит **отбор**, а также об'единение об'ектов с некоторой определенной точки зрения. Но каков бы ни был принцип этого отбора — руководящую роль в нем играет **практический** интерес, практическое воззрение. Точка зрения, конституирующая характерную для каждой науки установку, не может не быть практической. Она подсказывается нам **направлением наших интересов**, которые велят выбирать то, что для нас всего нужнее, на все же остальное мы закрываем глаза, считаем его несущественным и

---

[1]) У. **Джемс**, Чувство рациональности (Зависимость веры от воли и т. д., стр. 75).

[2]) Там же, стр. 75—76.

ненужным. Таким образом, практика, по Джемсу, подсекает крылья интеллекта даже там, где ему кажется, что он взвивается к вершинам чисто теоретического познания.

Познание, которого высшее завершение сводится к классификации, не может не быть абстрактным. «Итак,—говорит Джемс,—цельная теоретическая философия может быть только классификацией составных частей вселенной; результаты же ее всегда будут абстрактными, потому что основанием каждой классификации является абстрактная сущность, воплощенная в конкретных фактах, при чем остальные особенности этих фактов временно оставляются классификатором без внимания» [1]).

Учение Джемса о классификации весьма оригинально. Обычное сознание видит в классификации специфично-теоретическую деятельность и расценивает ее, как одно из высших проявлений теоретического разума. Напротив, по Джемсу, ходячее убеждение в теоретической природе классификации—в корне ошибочно. Как бы ни казалась нам «теоретичной» классификация с ее сложными и утонченными методами дистинкции и субординации,—ее последнее назначение—увеличение нашей практической власти над вещами и ничего более: «Любой способ классификации вещей является только способом пользоваться ими для какой-нибудь цели. Понятия, «виды»—только телеологические орудия. Ни одно абстрактное понятие не может быть достойным заместителем конкретной реальности, если оно не отвечает какому-нибудь специальному интересу данного лица» [2]).

Так как никакая «теоретическая» классификация не в силах возвыситься над кругозором практических интересов, то ее собственно-теоретические результаты всегда будут относительны. Более того. Чем совершеннее и точнее формы и методы классификации, тем яснее выдают они тайну теоретической несостоятельности интеллекта: «мы приходим к заключению,—говорит Джемс,—что простая классификация вещей, с одной стороны—лучшая философия, с другой же стороны,—она жалкая и неадэкватная заместительница полной истины. Она—до чрезмерности кратко выраженная формула жизни, достигаемая, как и все подобные формулы, путем абсолютной потери и устранения всего реального» [3]).

В этой тираде Джемс воспроизводит традиционную ошибку антиинтеллектуалистов. От науки они требуют, чтобы каждая частная научная операция, каждый частный прием или метод давали адэкватное воспроизведение всей реальности, доступное только всей науке в целом. Спору нет, каждая научная операция имеет целью воспроизводить не все абсолютно, но лишь определенные, т.-е. целям самой операции соответствующие связи и отношения действительности. Наука не есть огромное безмолвное око, пассивно отражающее без остатка всю действительность. Наука вопрошает, а всякий вопрос предполагает выбор и ограничение. Характер, об'ем, границы ответа в известной мере предопределяются характером самого вопроса, способом его постановки, направлением его выбирающего внимания. Классификация есть действительно точная и

[1]) У. Джемс. Там же, стр. 76.
[2]) Там же, стр. 79.
[3]) У. Джемс, Чувство рациональности (Там же, стр. 77—78).

весьма ценная научная операция. Но обвинять ее в том, что она—жалкая заместительница полной истины, просто смешно, ибо, будучи одним из научных приемов, необходимых в деле стяжания адэкватной истины, классификация никогда и ни в какой мере не выдавала себя за окончательный и полный результат научного познания мира в целом. Классификация открывает в вещах только те их стороны, которые могут быть познаны через сравнение, различение и отграничение об'ектов, составляющих известное целое, систему. Это отграничение и сравнение обусловлено не только «точкой зрения» или принципами отбора классификатора. Сама эта «точка зрения», определяющая выбор и направление внимания, возможна только потому, что в структуре познаваемого бытия существуют—об'ективно, независимо от нашего сознания—те связи и отношения, которые могут постигаться с данной «точки зрения». Таким образом, даже самая «ограниченность» классифицирующей точки зрения, выбирающей из всех признаков и свойств сопоставляемых явлений только известную часть их, соответствующую задачам классификации, не есть ограниченность произвола, личного, суб'ективного воззрения,—но—в последнем счете—соответствует об'ективной структуре бытия, определяется независимыми от сознания свойствами об'екта и выражает—поскольку классификация удачна—адэкватную природу связей и отношений действительности. Коренная ошибка Джемса в том, что в классификации он выдвигает на первый план не ее предметное основание, которым единственно определяется ее научная ценность, а лишь ту «точку зрения», которая обусловливает выбор изучаемых в классификации об'ектов, а также границы их сопоставления. Такая «точка зрения» или, точнее говоря, методологическая перспектива классификации действительно существует. Классификация не может «пожирать» все стороны, свойства и признаки изучаемой области. Она действительно производит отбор—тем более строгий, чем более отчетливы и дифференцированы принципы классификации. Но эти принципы отнюдь не могут быть сведены, как это делает Джемс, к суб'ективно-психологическим актам: выбора, сопоставления и т. д. То, что в принципах классификации суб'ективно представляется, как психологический акт, об'ективно есть предметно-логическое основание, которое, как таковое, восходит к об'ективной, предметной природе изучаемого бытия.

Особенно забавно то, что всю ответственность за мнимые грехи классификации Джемс сваливает на интеллект. Джемсу менее всего следовало бы говорить об интеллекте и о логизме, ибо вся его «критика»—по существу психологистична и потому ее стрелы попасть в интеллект никак не могут. Кто «разложил» все содержание научного знания на сумму суб'ективных операций, актов «сознания», «точек зрения», «аспектов» и проч., тот не должен удивляться, если в понятой таким образом науке не окажется никакого об'ективно-предметного содержания. Такое «понимание» науки действительно есть «точка зрения», но на этот раз—весьма неадэкватная, лишенная об'ективного значения.

Первичная ошибка Джемса состоит в том, что интеллект он анализирует не в предметном содержании его деятельности, но лишь в психологическом аспекте «интеллектуальной

точки зрения». Не будучи диалектиком, Джемс не может понять, каким путем возможно разрешить противоречие между законными претензиями интеллекта на адэкватное познание и тем психологическим фактом, что интеллект может реализовать это познание не иначе, как в аспекте различных, весьма ограниченных, неполных и неадэкватных «точек зрения». В последнем счете, вся эта критика Джемса сводится к чисто-идеалистическому убеждению, будто содержание научного знания целиком определяется и обусловливается установкой или аспектом сознания. Здесь та же ошибка, в которую впали Риккерт и Виндельбанд. Оба они задумали создать новую классификацию наук, положив в ее основу различие наук не по предмету, а по методу. Предложенное ими деление наук на номотетические и идеографические (или генерализирующие и индивидуализирующие) предполагает, что различие наук создается не различием в предмете познания, но лишь различием в аспекте этого предмета, в «точке зрения» направленного на него сознания. По Риккерту, естествознание и история суть различные науки не потому, что они имеют дело с различными предметами. Действительность едина, но она представляется либо как природа, либо как история—в зависимости от установки нашего сознания, которое в первом случае направлено на общее, повторяющееся, закономерное, во втором же — не единичное, индивидуальное и неповторимое.

Эта теория импонирует неопытному читателю пафосом методологизма. В ней любопытна попытка дать «чисто-методологическую, а не предметную классификацию наук. И все же она в корне ошибочна. В конечном счете она сводится к чисто-кантианской мысли, будто науки конституируются, размежевываются и определяются нашими точками зрения, иными словами,—собственной и произвольной активностью сознания. Но дело обстоит как раз наоборот! Из того, что отдельные науки и научные методы реализуются в определенных «аспектах» или «точках зрения», ни в какой мере не следует, будто различия наук впервые этими аспектами создаются. Идеалистическая классификация Виндельбанда и Риккерта основана на очевидном игнорировании предметной природы самого сознания. Естествознание и история существуют как особые науки вовсе не потому, что у нас, в нашем сознании есть две «точки зрения»: на общее и индивидуальное. Как раз напротив: только потому и может наше сознание сконструироваться в эти «точки зрения», что в самом действительном бытии, в действительности, как она существует вне и независимо от нашего сознания, существует «природное» и «историческое». Не методом определяется предмет науки, но, наоборот: предметным, об'ективным строением изучаемого бытия или области бытия определяется необходимая для этой области методологическая установка.

Отсюда следует, что классификация—вопреки Джемсу—есть не только сумма «полезных» и—в последней инстанции—суб'ективных приемов интеллекта. Предметная природа интеллектуального познания есть достаточная гарантия его об'ективности и адэкватности, хотя, конечно, адэкватность эту не следует смешивать с абсолютным воспроизведением всей полноты реальности.

II.

В учении Джемса подчеркивают обычно его «прагматизм», под которым разумеют переоценку всех теоретических задач и учений не с точки зрения их соответствия действительности, но исключительно с точки зрения их практической полезности или актуальности. В прагматической философии Джемса его поклонники видят свидетельство практического, жизненного гения, особого интеллектуального здоровья американского философа. В учении Джемса импонирует пафос практики, активности, который, как кажется, противостоит оторванной от жизни кабинетной мудрости «теоретических» философов. Нельзя отказать Джемсу в известном красноречии, в известной силе убеждения, с которыми он на все лады комментирует свою излюбленную мысль о том, что ценность теории определяется больше ее практическими результатами, нежели ее действительной глубиной и адэкватностью.

Однако ошибся бы тот, кто в пафосе практицизма увидел бы руководящую идею теории Джемса. Истинная тенденция системы постигается лишь путем конкретного изучения взаимной связи всех мотивов, составляющих ее теоретическое содержание. Для уразумения этих тенденций обычные понятия—вроде «эмпиризм», «сенсуализм», «прагматизм» и т. п.—оказываются слишком односторонними и далекими от задач действительной характеристики. Идея о том, что познание в конечном счете руководится практикой и что его результаты должны расцениваться в меру его практической действительности, сама по себе, вне контекста других гносеологических идей, так же мало может почитаться характерной для «прагматизма», как не может тезис о чувственном происхождении всего нашего познания, взятый без дальнейших дополнений и оговорок, быть характеристикой гносеологии диалектического материализма в его отличии от прочих видов эмпиризма и рационализма. Наиболее существенное в учении Джемса—не его практицизм, но соединение этого практицизма с резкой критикой интеллектуализма. Чем настойчивее утверждает Джемс, что для него ценность гипотез и теорий определяется их «рабочей силой», их способностью, удовлетворять запросы и потребности жизни, тем труднее распознать в его реторике заглушенный голос теоретического нигилизма, составляющего действительную основу и действительный пафос джемсовского учения.

Теория знания Джемса насквозь двусмысленна. Видимость положительного практицизма удачно прикрывает в ней нигилистическое восстание против логики и интеллекта. Сражаясь против интеллектуализма, Джемс облекает свои действия в форму борьбы за точность гносеологических понятий. По Джемсу, обычная и высокая оценка интеллектуального знания основана на двусмысленности понятий «теория». Согласно Джемсу большинство философов называют «теорией» как знание, построенное в виду известных практических задач, так и знание, совершенно созерцательное, отрешенное от всякой мысли о его практическом — действительном, возможном или вероятном — использовании. Но, по Джемсу, это смешение—неправомерно. Между обоими видами знания лежит целая пропасть. Познание,

рассчитанное на возможное—в настоящем или в отдаленном будущем—применение, по существу отличается от познания, направленного на предмет с единственной целью—отразить этот предмет так, как он есть, независимо от какого бы то ни было—актуального или потенциального—практического к нему отношения. По Джемсу, только последний вид знания может быть признан знанием теоретическим, т.-е. созерцательным, бескорыстным. Что касается всего громадного фактического состава знания наших реальных наук, то, по Джемсу, все это знание практично, а не теоретично, ибо направлено не на постижение связей того, что есть, а на подготовку и осуществление наших практических действий и задач. А между тем,—как указывает Джемс,—обычное словоупотребление характеризует именно этот «практический род знания», как знание теоретическое. Но ясно, по Джемсу, что слово «теория» здесь есть просто синоним нашей способности пользоваться таким знанием впрок, нашей способности предвидения, предсказания и т. д. Научное знание делает возможным не только действия немедленные, ad hoc, непосредственные, но—и в этом источник его громадного значения—действия, рассчитанные на долго впредь, действия возможные, но неосуществленные, далеко выходящие из круга непосредственного и частного, индивидуального применения. Научное знание конденсирует потенциальный опыт человека. Вот эту-то организацию нашей потенциальной активности, эту возможность неопределенно широкого, многообразного и многократного использования научного знания мы, по мнению Джемса, ошибочно принимаем за его «теоретичность», видим в нем выражение его «теоретической» природы. По Джемсу, наше научное знание интеллектуально, но оно вовсе не теоретично. Оно интеллектуально, ибо способность предвидения, подготовка наших возможных и многократных воздействий на вещи обусловлена деятельностью и формами интеллекта, с его законами тождества, основания и т. д., с его функциями сравнения, различения и т. д. Но оно ни в малейшей степени не «теоретично», ибо все, что интеллект может открыть нам в вещах, есть не действительная сущность этих вещей, но всего лишь отношения между вещами и при том не все существующие отношения, но лишь те, учет и открытие которых может иметь значение для практических реакций человека на внешний мир.

Не трудно понять, куда клонятся эти выводы. С одной стороны, все существующее реальное научное познание Джемс квалифицирует, как познание по сути интеллектуальное. С другой стороны, все результаты этого познания, в том числе и те, в которых издавна видят свидетельство теоретической мощи интеллекта, Джемс об'являет лишенными именно теоретического значения. Но если дело обстоит так, то отсюда следует, что интеллекту недоступно теоретическое познание действительности и что такое познание должно быть делом не интеллекта, но какого-то иного органа или орудия познания. «Хитрость» Джемса состоит в том, что, признавая на словах, формально—вслед за ходячим словоупотреблением—теоретическую ценность научного знания, Джемс тут же спешит прибавить, что «теория» в наших действительных, реальных науках есть еще «не настоящая» теория, что истинная теория начинается лишь за грани-

цами интеллекта, там, где прекращается власть интеллектуальных приемов и методов, с их неизбежной для интеллекта практической установкой.

Весь этот ход мыслей Джемса поразительно напоминает антиинтеллектуалистические выступления Бергсона. «Своеобразие» этой критики неоспоримо. И Джемс и Бергсон критикуют реальное научное знание за отсутствие в нем истинно-теоретического содержания. Существующая в науке теория для них еще недостаточно теоретична! Действительную теорию они отрицают во имя несуществующей еще, но долженствующей существовать истинно-теоретической теории! В учении Бергсона носителем «чистой» теории выступает фантом «интуиции», в прагматизме Джемса—и того проще: дело ограничивается критикой интеллектуального знания и логизма. Джемс много откровеннее и простодушнее Бергсона. В учении Бергсона явная «логомахия» искусно маскируется бутафорским призраком «интуиции». Развенчав интеллект, «доказав» его теоретическую несостоятельность, Бергсон с тем большей энергией восхваляет теоретические преимущества интуиции. И хотя—при ближайшем рассмотрении—бергсоновская интуиция оказывается понятием фиктивным, мнимым, однако пафос ее пропаганды, несомненно, смягчает впечатление, оставляемое антиинтеллектуалистической критикой. Не то у Джемса. «Доказав», что теоретическое знание, доставляемое интеллектом, в сущности вовсе не теоретично, Джемс даже не заботится о том, чтобы взамен отвергнутого практического знания найти достойного носителя истинно-теоретических задач. Зато с полной прозрачностью выступает замысел Джемса: вся эта якобы тонкая дистинкция, различение в составе наших теорий мнимо-теоретического и истинно-теоретического содержания имеет единственной целью полное развенчание интеллекта, как орудия и метода теоретического познания. Вместе с Бергсоном Джемс согласен «приписать нашему интеллекту первичную теоретическую функцию», лишь бы мы «с своей стороны согласились различать «теоретическое» или научное познание от более глубокого «умозрительного» познания, которого добивается большинство философов, и признали, что теоретическое познание, которое является познанием о вещах в отличие от живого или сочувственного знакомства с ними, касается только внешней поверхности реального» [1]. «Правда,—оговаривается Джемс,—поверхность, которую покрывает взятое в этом смысле теоретическое познание, может быть огромна по своему протяжению; она может усеять всю ширь пространства и времени созданными ею понятиями; но она не проникает в глубину даже на один миллиметр» [2].

III.

Современный алогизм выступает не только с общими антиинтеллектуалистическими декларациями: обычно он принимает форму специальной критики понятия. Антиконцептизм, борьба против понятия—вот последнее завершение, конечная цель и излюбленная полемическая форма современных алогистов. Упор-

---

[1] У. Джемс, Вселенная и т. д., стр. 137.
[2] Там же, стр. 137.

ство, с каким алогизм вновь и вновь возвращается к проблеме понятия, чрезвычайно характерно и—надо сказать—вполне закономерно. В основе этого непрекращающегося интереса к понятию лежит правильное убеждение в том, что понятие, как наиболее тонкая, точная, структурная и разработанная научная форма, есть в то же время главная цитадель, надежда и оплот интеллектуализма. Бергсон, Джемс и все близкие к ним алогисты великолепно понимают, что падение теоретического авторитета понятия должно было бы немедленно привести к падению авторитета логики и интеллектуализма во всем их об'еме. Развенчать понятие—значит развенчать логизм в целом. Показать теоретическую несостоятельность понятия значит поставить под сомнение теоретическую мощь интеллектуализма вообще. Поэтому для Джемса нет задачи более желанной, более заманчивой и более обещающей, чем гносеологическая «критика» понятий. Джемс хорошо знает, что здесь все труды и усилия оплатятся с лихвой.

Приступая к критике понятия, Джемс раз'ясняет, что основы, на которых построена эта критика, «в одно и то же время отнимают у логики господство над полнотою жизни и устанавливают обширную и определенную сферу влияния там, где ее власть не подлежит спору» [1]). Границы компетенции логики проходят, по Джемсу, по той же линии, по которой, согласно общему воззрению его гносеологии, проходит водораздел между практической и теоретической установкой знания. Джемс с особенной силой настаивает на том, что логическое познание—в существенном своем содержании—есть знание в понятиях, и что границы его мощи целиком совпадают с границами познавательной силы понятий: «Логика,—говорит Джемс,—дающая первично отношения между понятиями, как таковыми, а отношения между естественными фактами только вторично или постольку, поскольку факты были уже отождествлены с понятиями и определены с помощью их, должна, очевидно, стоять или падать вместе с методом понятий» [2]).

Но метод понятий, по Джемсу, не способен привести нас к истинному, т.-е. умозрительному, внепрактическому познанию жизни. Ибо этот метод есть—по определению Джемса—«преобразование, которому поток жизни подвергается в наших руках существенным образом в интересах практики, и только подчиненно—в интересах теории» [3]). Понятия, по Джемсу,—всегда ретроспективны, посмертны; они не столько отражение, сколько гербарий жизни: «постигать жизнь посредством понятий,—говорит Джемс.—значит остановить ее движение, разрезая ее как бы ножницами на куски и складывая их в наш логический гербарий; сравнивая их здесь, как высушенные образчики, мы можем установить, какой из них логически содержится в другом или исключает другой собою. Такой анализ предполагает жизнь уже закончившейся, ибо понятия, будучи различными точками зрения, создавшимися по осуществлении факта, имеют ретроспективный и как бы посмертный характер» [4]).

---

[1]) У. Джемс, Вселенная и т. д., лекция VI, стр. 133.
[2]) Там же, стр. 134.
[3] Там же, стр. 134.
[4]) Там же, стр. 134.

Восставая против понятий, Джемс апеллирует к авторитету «живой жизни». Но подлинная основа этого восстания заключается в мысли, будто понятие есть только «точка зрения». Приведенная цитата великолепно подтверждает наше мнение о глубоком внутреннем родстве между прагматической гносеологией и неокантианскими идеалистическими системами, в том числе даже с такими,—которые—как учение Риккерта и Виндельбанда — кажутся полной противоположностью прагматизму. Как бы ни был силен пафос методологизма в системе Риккерта—его очевидность не может затушевать сходства между Джемсом и Риккертом в главном: для обоих понятие есть только познавательный аспект, «точка зрения»; обоим недоступно понимание предметного характера, предметного содержания и предметного источника понятий. Нельзя достаточно надивиться наивности операции, с помощью которой Джемс развенчивает понятие: он отнимает у понятия всякое предметное значение, сводит все логическое содержание понятия к суб'ективному произволу выбирающей «точки зрения», молчаливо полагая при этом, что практический интерес, руководящий сознанием в отборе элементов понятия, принципиально не имеет и не может иметь ничего общего с теоретическим познанием. Нет ничего удивительного, если после всех этих насильственных и произвольных операций понятие кажется лежащим совершенно вне путей адэкватного познания. Разлучив теорию с практикой, связав метод понятий в одно нераздельное целое с практикой, и отвергнув гносеологическую мощь практики, Джемс последовательно приходит к выводу, что метод понятий как нельзя более далек от истинных задач теоретического познания. На долю понятия остается лишь та скромная помощь, которую понятия могут оказать при практической ориентации. Так как понятие показывает нам не вещи, но лишь то, что можно увидеть в них с данной точки зрения, и так как одна и та же точка зрения может последовательно прилагаться ко множеству вещей, открывая в них тождественные моменты, то отсюда следует, что понятия могут давать нам известное предвидение возможных конфигураций практики. В этом смысле Джемс согласен признать в понятии мощное орудие, но не познания в точном смысле,—а лишь ориентирования в действительности. «Хотя посредством понятий, выделяемых из чувственного потока прошлого, — говорит Джемс, — мы можем перейти к будущему потоку, и, делая другое выделение, сказать, какая частная вещь, вероятно, будет найдена здесь, и хотя в этом смысле понятия дают нам познание, так что можно признать за ними известную теоретическую ценность (особенно если предсказанная частная вещь такова, что не представляет для нас в настоящем никакого практического интереса): однако в более глубоком смысле, в смысле даваемого прозрения, они не имеют никакой теоретической ценности, ибо они совершенно не вводят нас в связь с внутренней жизнью потока и с теми причинами, от которых зависит его направление. Вместо того, чтобы быть истолкователями действительности, понятия вовсе отрицают интимную сторону действительности [1]).

---

[1]) У. Джемс, Вселенная и т. д., лекция VI, стр. 135; курсив мой. *В. А.*

Внимательный читатель без труда услышит в этих джемсовских положениях отголоски антиинтеллектуалистической критики Бергсона. Однако Джемс дает не только парафраз из Бергсона. Критика Джемса не в пример более решительна и прямолинейна, чем у Бергсона. Даже в изложении и истолковании идей Бергсона Джемс далеко выходит из границ бергсоновского интуитивизма, подчеркивает антиинтеллектуализм Бергсона чересчур уж сильно. В другом месте [1]) я уже показал, что хотя Бергсон и сомневается в адэкватности интеллектуального познания, однако он признает, что это познание все же улавливает какую-то грань действительности, касается до известной степени внутренней природы реального. Напротив, Джемс уже н а ц е л о отрицает познавательную ценность понятий. Его критика есть прямая, ничем не прикрытая и не смягченная проповедь алогизма. Основное назначение понятия, выражающее характер интеллектуального познания, состоит, по Джемсу, в р а з л и ч е н и и и р а з д е л е н и и. Но «никакая реальная связь какого бы то ни было рода,— утверждает Джемс,—не может существовать, если мы следуем логике понятий; ибо, согласно тому направлению, которое я называю интеллектуализмом, быть разделенным—значит быть неспособным к вступлению в связь» [2]). Так как понятия—несоизмеримы с реальностью и так как интеллектуальное познание есть познание преимущественно посредством понятий, то отсюда Джемс выводит, что интеллектуальное познание будет «не только не более глубоким, но наоборот—более поверхностным. Оно,—раз'ясняет Джемс,—не только не является е д и н с т в е н н ы м адэкватными познанием, но—наоборот—г р у б о н е а д э к в а т н о, и его единственное преимущество имеет практический характер и заключается в том, что оно дает нам возможность делать как бы разрезы опыта и этим сберегать время» [3]).

Бессилие интеллекта и его орудий-понятий с особенной силой сказывается, по Джемсу, там, где понятия направлены на познание ж и з н и в ее основе—в движении и изменении. В этом пункте Джемс на мгновение вплотную подходит к проблемам д и а л е к т и к и. Однако исконный идеалистический скептицизм и релятивизм закрыли Джемсу всякий доступ не только к правильному решению, но даже к правильной постановке диалектической проблемы.

Джемсу удалось верно подметить существенные недостатки отвлеченно-рассудочного, метафизического метода мышления. К несчастью, в этой—в целом правильной—критике Джемс руководился единственно желанием—во что бы то ни стало дискредитировать интеллект: при том не низшую-рассудочную ступень интеллектуального познания, но в е с ь и н т е л л е к т в ц е л о м, в его высших, наиболее дифференцированных и адэкватных бытию формах.

Масштабом этой критики служит у Джемса понятие ж и з н и, взятой в ее существеннейшем проявлении — в д в и ж е н и и. Чрезвычайно характерно для Джемса, что движение и изменение возможны в его глазах только как н е п р е р ы в н о е движение.

---

[1]) См. «Под Знам. Маркс.» 1926 г. № 3, ст. «Бергсон и его критика интеллектуализма».

[2]) У. Д ж е м с, Вселенная и т. д., лекция VI, стр. 135.

[3]) Там же.

непрерывное изменение. В теории движения Джемс не подымается ни на один миллиметр выше обычного уровня метафизики эволюционного позитивизма: «Сущность жизни, — утверждает Джемс,—заключается в непрерывности изменения» [1]... Провозгласив необходимым признаком движения непрерывность, Джемс закрыл себе доступ к пониманию диалектического характера действительности. С другой стороны, интеллект подвергается у Джемса анализу не во всем многообразии своих форм и функций, но лишь в об'еме отвлеченных функций рассудка. Сузив таким образом понятие интеллекта, Джемс естественно должен был прийти к заключению, что интеллект несоизмерим с непрерывной текучестью бытия и неспособен в адэкватному постижению непрерывной природы всякого изменения. Все наши понятия,—утверждает Джемс,—фиксированы и прерывны, и единственным способом привести их в соответствие с жизнью является произвольное предположение остановок в самой жизни. С этими остановками и можно заставить сообразоваться наши понятия. Но эти понятия не суть ни части действительности, ни ее реальные положения; скорее они являются предположениями, нашими же заметками, и нам так же трудно исчерпать ими субстанцию реальности, как трудно вычерпать воду сетью, как бы ни были мелки ее петли» [2]. Наша интеллектуальная логика вращается, по Джемсу, в пределах неизменного, тождественного и раздельного. В наших понятиях действительность всегда мыслится под этими категориями. Но с точки зрения конкретного живого опыта категории эти недостаточны. «Для логики понятий,—говорит Джемс,—тожественное есть только тожественное и все тожественное чему-либо третьему тожественно между собою. Не так в конкретном опыте. Две точки на поверхности нашей кожи, каждая из которых чувствует то же, что и третья точка, если она будет затронута одновременно с ней, ощущаются, однако, как различающиеся друг от друга... Весь процесс жизни основан на постоянном нарушении жизнью наших логических аксиом» [3].

Приведенные цитаты не лишены известного трагикомического пафоса: правильно почувствовав недостаточность формальной логики, Джемс ищет выхода из тесных пределов, ограниченных ее законами. Подобно слепому, который идет наощупь вдоль стены, но не зная, где выход, натыкается все на ту же стену, так и Джемс, искренно стремясь преодолеть узость и односторонность формальной логики, не в силах найти путь к этому преодолению, ибо для Джемса интеллектуальный мир исчерпывается миром формально-логических связей, и Джемс даже не подозревает, что за пределами этого действительно узкого круга есть целый мир высших — диалектических форм, связей и законов. Логическая слепота Джемса—игнорирование диалектической ступени познания—вредно сказывается даже в критике формальной логики. Отсутствие диалектической перспективы приводит Джемса к недооценке того положительного значения, на какое формальная логика имеет все права, если только

[1] Там же, стр. 139.
[2] У. Джемс, Вселенная и т. д. лекция VI, стр. 139.
[3] Там же, стр. 141; курсив мой. *В. А.*

в ней видят не логику бытия, но лишь гарантию связи и последовательности мышления.

Но если отсутствие диалектики дурно отражается на характеристике формальной логики, ибо оно лишает Джемса возможности правильно определить границы ее компетенции, то еще худшие результаты получаются там, где Джемс от оценки формальной логики переходит к оценке интеллекта. Беда в том, что все отрицательные результаты своей критики формальной логики Джемс безоговорочно переносит и распространяет на весь интеллект вообще. Под руками Джемса недостаточность и односторонность формальной логики превращается в «первородный грех», отравляющий все порождения и формы интеллекта. И не удивительно: отождествив интеллектуализм с узкой сферой рассудочных методов познания, Джемс, естественно, должен был отвергнуть весь интеллектуализм в целом. Поразительна эта необоснованность, я бы даже сказал—легкомыслие джемсовской критики. Спору нет—аксиомы и правила формальной логики совершенно недостаточны для познания конкретного. Формальная логика должна быть дополнена и расширена логикой диалектической. Но отсюда ни в какой мере не следует, будто интеллект, как таковой, должен быть отвергнут. Еще Гегель подробно и блистательно показал недостатки формальной логики, но он и не подумал обратить стрелы своей критики против интеллектуализма. Напротив: вся гегеловская критика формальной логики ведется с точки зрения диалектически понятого интеллектуализма, и только это и сообщает ей колоссальную положительную, созидательную силу и значение. Смысл гегелевской критики не в голом «отрицании» концептизма и формальной логики, а в том, что он указывает им их настоящее и при том—положительное место и назначение в системе интеллектуального знания. Критика Гегеля не только не колеблет основ интеллектуализма, но даже формальной логике воздает полностью все, что ей принадлежит по праву. Формальную логику Гегель критикует не во имя нигилистического принципа: отрицать, отвергать, разрушать, но во имя высших форм и методов—интеллектуального же—знания. Поэтому критика Гегеля не только не направлена против интеллектуализма, но сама возможна только на основе интеллектуализма и вместе с ним падает.

Отсюда видно, насколько далек Джемс в своей критике от Гегеля. Правда, на первый взгляд может показаться, что именно в оценке формальной логики Джемс вплотную приближается к Гегелю и даже им вдохновляется. Что Джемс был прекрасно знаком с Гегелем—в этом не приходится сомневаться. Гегелю Джемс посвятил не один специальный очерк; к Гегелю он постоянно возвращается.

Поистине Джемс мог бы сказать о самом себе, парафразируя известное место из Достоевского: «Гегель меня всю жизнь мучил». Знаменательно это тяготение совершенного агностика к диалектическому рационализму Гегеля! В Гегеле Джемс искал... союзника для борьбы против интеллекта, ratio; Джемса пленяла смелость, оригинальность и глубина гегелевской критики формальной логики. Со всем тем Джемс не понял в Гегеле главного, основного: могучий гносеологический оптимизм Гегеля, до-

непрерывное изменение. В теории движения Джемс не подымается ни на один миллиметр выше обычного уровня метафизики эволюционного позитивизма: «Сущность жизни, — утверждает Джемс,—заключается в непрерывности изменения» [1]... Провозгласив необходимым признаком движения непрерывность, Джемс закрыл себе доступ к пониманию диалектического характера действительности. С другой стороны, интеллект подвергается у Джемса анализу не во всем многообразии своих форм и функций, но лишь в об'еме отвлеченных функций рассудка. Сузив таким образом понятие интеллекта, Джемс естественно должен был прийти к заключению, что интеллект несоизмерим с непрерывной текучестью бытия и неспособен в адэкватному постижению непрерывной природы всякого изменения. Все наши понятия,—утверждает Джемс,—фиксированы и прерывны, и единственным способом привести их в соответствие с жизнью является произвольное предположение остановок в самой жизни. С этими остановками и можно заставить сообразоваться наши понятия. Но эти понятия не суть ни части действительности, ни ее реальные положения; скорее они являются предположениями, нашими же заметками, и нам так же трудно исчерпать ими субстанцию реальности, как трудно вычерпать воду сетью, как бы ни были мелки ее петли» [2]. Наша интеллектуальная логика вращается, по Джемсу, в пределах неизменного, тождественного и раздельного. В наших понятиях действительность всегда мыслится под этими категориями. Но с точки зрения конкретного живого опыта категории эти недостаточны. «Для логики понятий,—говорит Джемс,—тожественное есть только тожественное и все тожественное чему-либо третьему тожественно между собою. Не так в конкретном опыте. Две точки на поверхности нашей кожи, каждая из которых чувствует то же, что и третья точка, если она будет затронута одновременно с ней, ощущаются, однако, как различающиеся друг от друга... Весь процесс жизни основан на постоянном нарушении жизнью наших логических аксиом» [3].

Приведенные цитаты не лишены известного трагикомического пафоса: правильно почувствовав недостаточность формальной логики, Джемс ищет выхода из тесных пределов, ограниченных ее законами. Подобно слепому, который идет наощупь вдоль стены, но не зная, где выход, натыкается все на ту же стену, так и Джемс, искренно стремясь преодолеть узость и односторонность формальной логики, не в силах найти путь к этому преодолению, ибо для Джемса интеллектуальный мир исчерпывается миром формально-логических связей, и Джемс даже не подозревает, что за пределами этого действительно узкого круга есть целый мир высших — диалектических форм, связей и законов. Логическая слепота Джемса—игнорирование диалектической ступени познания—вредно сказывается даже в критике формальной логики. Отсутствие диалектической перспективы приводит Джемса к недооценке того положительного значения, на какое формальная логика имеет все права, если только

[1] Там же, стр. 139.
[2] У. Джемс, Вселенная и т. д. лекция VI, стр. 139.
[3] Там же, стр. 141; курсив мой. *В. А.*

в ней видят не логику бытия, но лишь гарантию связи и последовательности мышления.

Но если отсутствие диалектики дурно отражается на характеристике формальной логики, ибо оно лишает Джемса возможности правильно определить границы ее компетенции, то еще худшие результаты получаются там, где Джемс от оценки формальной логики переходит к оценке и н т е л л е к т а. Беда в том, что все отрицательные результаты своей критики формальной логики Джемс безоговорочно переносит и распространяет на весь интеллект вообще. Под руками Джемса недостаточность и односторонность формальной логики превращается в «первородный грех», отравляющий все порождения и формы интеллекта. И не удивительно: отождествив интеллектуализм с узкой сферой рассудочных методов познания, Джемс, естественно, должен был отвергнуть весь интеллектуализм в целом. Поразительна эта необоснованность, я бы даже сказал—легкомыслие джемсовской критики. Спору нет—аксиомы и правила формальной логики совершенно недостаточны для познания конкретного. Ф о р м а л ь н а я логика должна быть дополнена и расширена логикой д и а л е к т и ч е с к о й. Но отсюда ни в какой мере не следует, будто интеллект, как таковой, должен быть отвергнут. Еще Гегель подробно и блистательно показал недостатки формальной логики, но он и не подумал обратить стрелы своей критики против интеллектуализма. Напротив: вся гегеловская критика формальной логики ведется с точки зрения диалектически понятого интеллектуализма, и только это и сообщает ей колоссальную п о л о ж и т е л ь н у ю, с о з и д а т е л ь н у ю силу и значение. Смысл гегелевской критики не в голом «отрицании» концептизма и формальной логики, а в том, что он указывает им их настоящее и при том—положительное место и назначение в системе интеллектуального знания. Критика Гегеля не только не колеблет основ интеллектуализма, но даже формальной логике воздает полностью все, что ей принадлежит по праву. Формальную логику Гегель критикует не во имя нигилистического принципа: отрицать, отвергать, разрушать, но во имя в ы с ш и х форм и методов—интеллектуального же—знания. Поэтому критика Гегеля не только не направлена против интеллектуализма, но сама возможна только на основе интеллектуализма и вместе с ним падает.

Отсюда видно, насколько далек Джемс в своей критике от Гегеля. Правда, на первый взгляд может показаться, что именно в оценке формальной логики Джемс вплотную приближается к Гегелю и даже им вдохновляется. Что Джемс был прекрасно знаком с Гегелем—в этом не приходится сомневаться. Гегелю Джемс посвятил не один специальный очерк; к Гегелю он постоянно возвращается.

Поистине Джемс мог бы сказать о самом себе, парафразируя известное место из Достоевского: «Гегель меня всю жизнь мучил». Знаменательно это тяготение совершенного агностика к диалектическому рационализму Гегеля! В Гегеле Джемс искал... союзника для борьбы против интеллекта, ratio; Джемса пленяла смелость, оригинальность и глубина гегелевской критики формальной логики. Со всем тем Джемс не понял в Гегеле главного, основного: могучий гносеологический оптимизм Гегеля, до-

верие к силе и многообразию интеллектуального знания, не ограничивающегося тесными рамками рассудочных операций и схемами формальной логики, поиски иных—высших интеллектуальных форм, их гениальное описание и изложение в диалектике Гегеля—все это осталось для Джемса книгой за семью печатями. Контакт Джемса с Гегелем не идет дальше чисто-внешних, формальных совпадений и заимствований.

Отношение Джемса к Гегелю крайне двусмысленно и противоречиво. С одной стороны, Джемс признает, что диалектика Гегеля ведет к истине предмета, что «действительно, вещам свойственно диалектическое движение..., создаваемое общей структурой конкретной жизни»[1]). «Взятая в целом,—говорит Джемс,—его «диалектическая» картина является отличным изображением значительной части мира»[2]). Это звучит парадоксально,—оправдывается Джемс,—но, действительно, как только вы станете на точку зрения какого-нибудь более высокого синтеза, вы ясно увидите, как этот синтез воспринимает в себя противоположности[3]).

В системе Гегеля Джемсу особенно импонирует критика формальной логики, т.-е. логики тождества. В то время как ортодоксальное мнение утверждает, что «единственно логический путь в области понятия—это переход от тождественного к тождественному»[4]), «Гегель,—по словам Джемса,—глубоко почувствовал бесплодность этого закона отвлеченного мышления; он понял, что отрицание тоже в известном смысле выражает отношение вещей; и ему пришла в голову блестящая мысль выйти из границ обычной логики и рассматривать переход от различного к различному тоже как необходимый процесс мышления»[5]). И Джемс с полным сочувствием цитирует знаменитое место из 1-го тома гегелевской энциклопедии, в котором Гегель критикует закон торжества.

Однако близость между Джемсом и Гегелем не идет дальше критики формальной логики. Но уже в основаниях этой критики оба совершенно расходятся. В то время, как у Гегеля критика формальной логики есть только необходимая часть **положительного** учения о **рациональном** познании конкретной истины—в глазах Джемса эта критика—всего лишь орудие для нигилистического антиинтеллектуализма, для решительного отрицания логики и рационального познания. Именно в этом пункте отношения Джемса к Гегелю представляются особенно противоречивыми. С одной стороны, гегелевская критика понятий обычной логики кажется Джемсу еще недостаточно радикальной. Гегель для Джемса еще слишком рационалист. По мнению Джемса, Гегель не довел до конца удачно начатое дело. По сути,—утверждает Джемс,—Гегель был чистый эмпирик. «Его действительным орудием были его собственные эмпирические восприятия, которые выходили из границ и переливали через край его тощих логических категорий каждый раз как он пытался применить

1) У. Джемс, Гегель и его метод (Вселенная и т. д., лекция III, стр. 50.

2) Там же, стр. 55.

3) Там же, стр. 55—56.

4) Там же, стр. 52.

5) Там же, стр. 52.

эти последние» [1]). Гегелевская критика формальной логики должна была, по Джемсу, сокрушить в корне здание интеллектуализма. Однако Гегель остановился на полпути. Свое отрицание интеллектуализма он облек в формы интеллектуалистической же аргументации. Гегелю не хватило мужества, чтобы вместе с сутью интеллектуализма выбросить за борт философии и форму интеллектуалистического познания, со всеми его логическими категориями и видами. Коренная ошибка Гегеля состоит, по Джемсу, в несоответствии между алогической сущностью его системы и сугубо-логической формой ее изложения. По Джемсу, алогизм Гегеля настолько очевиден, что приходится только пожалеть о слепоте самого Гегеля, упорно не желавшего открыто порвать с логикой. Джемс прямо высказывает сожаление о том, что Гегель назвал свой метод логическим! «Печально,—говорит Джемс,—что Гегель, который исходил из созерцания реального живого мира и отказывался удовлетвориться тем его изображением, которое смастерили интеллектуалисты, усвоил, однако, то самое слово, которое интеллектуалисты уже сделали своим достоянием» [2]). По Джемсу, в Гегеле слишком еще сильно было старое рационалистическое презрение к непосредственно нам данному, чувственному миру и ко всем его пошлым особенностям; Гегель «не допускал мысли о том, что может существовать философская система, опирающаяся на одни эмпирические данные» [3]). Поэтому «Гегель делал вид, что он пользуется априорным методом и работает жалким аппаратом старых логических терминов, как положение, отрицание, отражение, общий, частный, индивидуальный и т. п.» [4]).

С другой стороны, Джемс категорически отказывается признать те логические основы, на которых построен диалектический метод Гегеля. Соглашаясь с гегелевской критикой формальной логики, Джемс в корне отрицает гегелевскую диалектику. Но всего поразительнее то, что диалектику Гегеля Джемс отрицает во имя и с точки зрения логики формальной, абстрактной, метафизической! Джемс великолепно понимает, что «принцип противоречивости тождества и тождества противоречий является сущностью гегелевской системы» [5]). Но в то же время Джемс категорически отрицает реальность диалектического противоречия. «Такое противоречие,—говорит он,—даже случайно не может встретиться в реальной природе, в реальном бытии. Оно может существовать только между ложным представлением о бытии и истинной идеей этого бытия после действительного ознакомления с ним. Первое заняло место, на которое оно не имело ни малейшего права, и должно было подвергнуться изгнанию. Но в «rerum natura»,—поучает Джемс,— вещи не занимают чужие логические места» [6])... «наши утверждения и отрицания,—уверяет Джемс,—вовсе не стоят на одной доске: они все, что угодно, только не единосущны. Утверждение вы-

---

[1]) Там же, стр. 52.
[2]) Там же, стр. 51.
[3]) Там же, стр. 51—52; курсив мой. *В. А.*
[4]) Там же, стр. 52.
[5]) Там же.
[6]) У. Джемс, О некоторых гегелизмах (Зависимость веры от воли, стр. 331—332).

сказывает нечто о некотором об'ективном существовании. Отрицание высказывает нечто об утверждении, а именно, что оно ложно. В природе нет отрицательных или ложных предикатов. Бытие не делает ложных гипотез, которые должны быть опровергнуты. Единственное отрицание, которое оно до известной степени может произвести—это отрицание наших ошибок. Раз отрицаемое—всегда фикция, это ясно доказывает, что отрицание постоянно должно относиться к чему-нибудь мыслимому»[1]). Джемс постоянно возвращается к вопросу о реальности противоречия и разрешает его неизменно в отрицательном смысле. «В природе вещей,—поучает он,—части остаются частями. Можете ли вы представить себе, —спрашивает Джемс,—чтобы одно положение в пространстве старалось стать на место другого положения и чтобы второе должно было отрицать первое? Можете ли вы представить себе, чтобы ваша идея о каком-нибудь об'екте старалась лишить реальный об'ект его бытия и в силу этого отрицалась бы данным об'ектом? Великий, священный закон причастности, бесшумное течение непрерывности,—все это нечто такое, чего Гегель, повидимому, не может понять»[2]). В статье «О некоторых гегелизмах» Джемс изложил в кратких тезисах основные пункты своего расхождения с Гегелем. На первом плане среди этих пунктов стоит отрицание реального значения противоречий: «единственное реальное противоречие, могущее существовать между мыслями—это, когда одна мысль истинна, а другая ложна; в случае такого противоречия одна из мыслей должна исчезнуть навсегда и не существует никакого «высшего синтеза», в котором обе могут ожить вполне» [3]).

Таким образом вся джемсовская критика гегелевской диалектики покоится на признании незыблемого значения формально-логического закона противоречия. Бессмертный Дюринг воскресает, как феникс из пепла восстает в знаменитом американском психологе с тем, чтобы еще раз поднять против диалектики заржавленные, из'еденные временем и могучей критикой Энгельса доспехи формальной логики.

Любопытно, что формальную логику Джемс отстаивает во всем об'еме ее основоположений. Больше всего уделяет Джемс внимания закону противоречия. Джемс прекрасно понимает, что закон этот есть главная твердыня формальной логики. Но и закон тождества и закон исключенного третьего находят в Джемсе ревностного адепта. Особенно интересна защита закона исключенного третьего. «Реальное,—утверждает Джемс, — предлагает нам все... возможности в форме исключающих друг друга альтернатив, из которых только одна может быть истинной в каждый данный момент: мы должны выбирать между ними и в силу этого отказываться от одной из них. Разделение должно быть абсолютным: или одно, или другое!»[4]). И несколько ниже: «Переход от одного состояния к другому внезапен, абсолютен, действительно подобен неожиданному выстрелу из пистолета, ибо из многих званых возможностей те немногие, которые оказываются

---

1) Там же, стр. 333—334.
2) Там же, стр. 331—332.
3) Там же, стр. 336—337
4) Там же, стр. 308.

избранными, избираются во всей своей непосредственной полноте» [1]).

Все это рассуждение—сплошной клубок теоретической путаницы. Вопрос о прерывности переходов спутан с диалектической проблемой альтернативы, а внутри этой последней проблемы спутаны теоретический ее аспект с аспектом практическим. В практике жизни и борьбы, особенно в критические ее моменты, когда—как это бывает, скажем, во время социальной революции—в течение сравнительно короткого периода в корне перестраивается система производственных отношений и в зависимости от успешного или неудачного хода революций на продолжительный период предопределяется новый уклад производственных отношений, внутри которых долго впредь будут развиваться производительные силы общества, в такие моменты практика борьбы постоянно выдвигает задачи, которые действительно могут быть разрешены только в форме альтернативы: или-или. В такие моменты диалектика требует, чтобы участники борьбы действовали по формуле закона исключенного третьего. Там, где происходит действие и кипит борьба, где мы должны поступить, осуществить воздействие, принять решение—нужна полная ясность, отчетливость, раздельность. Если предо мной две двери, я не могу войти сразу в обе, здесь я должен выбирать и возможности выбора строго ограничены. Вот почему Ленин в известной статье, посвященной анализу движущих сил революции 1905 года, при решении вопроса о путях, по каким пойдет революция, со всей резкостью, какая только возможна, заостряет альтернативу: или-или. Или об'ективное соотношение борющихся сил таково, что революция идет на убыль—тогда необходимо отказаться от немедленного восстания, не играть в восстание, легализировать партию, итти в парламент и т. д. Или соотношение сил гарантирует новый под'ем движения—тогда ликвидаторство—преступление, тогда надо поднимать, вооружать и организовывать массы, тогда надо бойкотировать представительные учреждения и т. д., и т. д. (Не цитирую это место, ибо предполагаю, что оно хорошо известно).

Вот образец рассуждения формально-логического по форме, глубоко диалектического по сути и в целом. Диалектика и такие случаи предусматривает, когда для успеха познания или действия мы вынуждены—на время—ограничивать самих себя узким горизонтом формально-логических правил и рассуждений, становиться на точку зрения формальной логики. Следует ли отсюда, что закон исключенного третьего во всех случаях сохраняет значение абсолютно-истинного, непоколебимого устоя мышления и познания? Ни в малейшей степени. Его компетенция, как и компетенция прочих законов формальной логики, ограничивается теми случаями, когда—с точки зрения нашей конкретной, реальной практики—мы можем временно закрывать глаза на диалектическую природу явления, сосредоточивая свое внимание на имеющих огромное практическое значение разделительных положениях и возможностях. Более того. Только диалектика в состоянии указать, когда, при каких усло-

---

[1]) Там же, стр. 309.

виях и в какой мере мы обязаны переходить на точку зрения формальной логики. Многочисленные примеры, с помощью которых Джемс пытается доказать универсальное и неограниченное, абсолютное значение закона исключенного третьего, поразительно наивны [1]), изобличают прямо невероятную теоретическую слабость и беспомощность.

Не лучше обстоит дело и с законом тождества. В глазах Джемса каждая вещь есть то, что она есть—во всей обособленности от других, какая только вообще может быть мыслима. Мировоззрение Джемса вполне метафизично—в том смысле слова, который ему придал Энгельс, обозначивший метафизикой воззрение, неспособное уразуметь диалектическое сопряжение, диалектическую связь и взаимодействие отдельных фактов и явлений. «Ничто не смягчает того изумления,—говорит Джемс,—которое испытывает наш ум, переходя от одного качества бытия к другому. Свет—не тепло, а тепло—не свет: овладев первым, никто не может овладеть вторым, пока оно не будет дано ему; помимо этого, реальное бытие произвольно входит в любую мысль и исходит из нее, не спрашивая позволения у мыслящего» [2]). А в другом месте, формулируя свои возражения против гегелевской диалектики, Джемс не менее выразительно утверждает, что «характерной чертой качеств является то, что все они—отдельные факты» и что «каждое из них по отношению к другому—бытие абсолютно отдельное и случайное» [3]). Джемс даже склоняется к мысли, что «моральные (sic!) соображения могут привести нас к постулату несводимости друг к другу раздельных фактов мира» [4]).

Здесь, как и в других случаях, Джемсу открывается только одна грань диалектической истины. Совершенно верно: о п р е д е л е н н о с т ь качества требует, чтобы — в познавательном аспекте—оно было отличаемо от всех прочих качеств. Деятельность р а з л и ч е н и я, разделения играет колоссальную роль в человеческой практике, а, стало быть, и в познании. Но категория раздельности мыслима лишь при условии одновременно предполагаемой и сознаваемой общности, связи, взаимодействия. В диалектическом познании аспект определенности, раздельности необходимо перекрещивается с аспектом связи и взаимодействия. Но если так, то закон тождества теряет значение непререкаемого и абсолютного принципа бытия и знания. Впрочем, Джемс весьма далек от этой мысли. Метафизический упор мысли настолько силен в нем, что те небольшие проблески диалектической наблюдательности, какие можно у него найти, не только не дали никаких результатов, но прямо стушевались, заглохли без следа.

В одном пункте Джемс вплотную подошел к диалектической характеристике бытия. Этот пункт—проблема непрерывности. Джемс правильно подметил, что структура бытия не может быть характеризована непрерывностью. Бытие и непрерывно и прерывисто в одно и то же время. Постулат непрерывности требует, чтобы каждый так называемый «отдельный» факт был понят в его связи с другими и с бытием в целом. Познание факта ведет

---

1) Там же, стр. 308—309.
2) Там же, стр. 313.
3) Там же, стр. 337.
4) Там же, стр. 337.

к познанию вселенной. В факте заключена in nuce вся вселенная. Непрерывная цепь переходов ведет нас от факта к другим фактам, от качества—к другим качествам, в пределе—к единству вселенной в ее целом. С другой стороны, определенность каждого факта, каждого качества требует, чтобы его рассматривали во всей его особенности, отдельности от всего прочего. А так как такого рассмотрения требует к а ж д ы й факт, то в итоге вселенная оказывается громадным вместилищем ничем между собою не связанных фактов, между которыми нет никакой непрерывности, никаких переходов.

Итак, бытие диалектично. Одна и та же необходимость заставляет нас мыслить качества бытия и в непрерывной градации и в прерывистой внеположности. «Если вы скажете, — говорит Джемс,—что один факт есть и остальная вселенная, это будет столь же ложно и односторонне, как если вы признаете, что он просто то, что он есть. Факт этот и то и другое, и в то же время ни то, ни другое; единственное условие, дающее нам право утверждать, что он есть то-то—это признание, что он в то же время и не то... Вселенная оказывается и единством и множественностью...» [1]).

Казалось бы, подобные заявления обязывают ко многому. От них прямой путь к уразумению диалектической природы бытия, а в гносеологии и в логике—к признанию диалектического метода. Но не тут-то было! Джемс только заигрывает с диалектикой. Словно испугавшись, как бы его не поймали на слове и не вынудили к дальнейшим диалектическим выводам, Джемс спешит сам отмежеваться от диалектики и от ее гениального представителя—Гегеля.

В философских разрывах—как и в разрывах политических сношений—следует строго различать ф о р м а л ь н ы й повод и истинное, р е а л ь н о е основание. В полемике с гегельянством Джемс в качестве ф о р м а л ь н о г о повода для разрыва выдвигает полную якобы неспособность Гегеля к отчетливым логическим различениям... «Есть одно обстоятельство,—говорит Джемс,—препятствующее тому, чтобы мы с Гегелем когда-либо подали друг другу руку, несмотря на эту кажущуюся формулу братства. Мы различаем, или, по крайней мере, стараемся различать, в каких отношениях мир един и в каких он множествен, тогда как Гегель прямо не терпит таких твердых разграничений» [2]). Так выглядит дело ф о р м а л ь н о. Существо же дела в том, что Джемсу вовсе не нужна никакая диалектика. Открытое Джемсом противоречие между непрерывной градацией качеств и прерывистостью при переходе от одного к другому нужно ему ровно постольку, поскольку это открытие может быть полезно в борьбе против логики и против интеллекта. Диалектика Джемса весьма «прагматична». Она есть просто один из способов уязвления ненавистного Джемсу интеллекта. В своем увлечении борьбой против интеллекта Джемс—незаметно для самого себя—впал в забавное—уже вовсе не диалектическое—противоречие. Соглашаясь с Гегелем в отрицательной части его критики формальной логики, Джемс ставит Гегелю в вину н е д о с т а т о ч н о с т ь этой кри-

---

[1]) Там же, стр. 321.
[2]) Там же, стр. 321.

тики. Система Гегеля в глазах Джемса слишком еще рационалистична. С другой стороны, Джемс упорно отвергает диалектику Гегеля, т.-е. тот логический метод, который единственно может дать перспективу и основание для критики формальной логики. Рассмотрев аргументы Джемса, мы убедились, что диалектику Джемс критикует с точки зрения формальной логики, опираясь на законы противоречия, тождества и исключенного третьего. При этом Джемс трактует логические законы метафизически, т.-е. как абсолютно значимые, непререкаемые аксиомы бытия и мышления. Для Джемса формальная логика осталась последней инстанцией истины.

Как бы ни распространялся Джемс о плюрализме, о многообразии мира, о противоречиях бытия—в основе всех его воззрений лежит предпосылка доброго старого английского эмпиризма—предпосылка непрерывности жизни и эволюции. В честь непрерывности Джемс слагает целые дифирамбы, перед которыми, как воск перед лицом огня, тают все диалектические призраки. Идея непрерывности—устой джемсовской философии. Во всей выразительности и категоричности Джемс излагает ее в своем учении о пространстве.

Рассмотрите,—призывает Джемс,—пространство. «Оно—нечто единое, никакая сила не может разбить его, ранить, разорвать. В нем нет таких связок, в которые вы могли бы просунуть свой хирургический нож, ибо оно проникает сквозь нож и тем не менее не распадается. Попробуйте образовать дыру в пространстве. Для того, чтобы образовать дыру, нужно просверлить ее чем-нибудь. Но разве можете вы ввести что-нибудь в пространство, что само не будет протяженным?» [1]).

Правда, Джемс соглашается признать, что пространство в своих частях содержит бесконечное разнообразие, но это разнообразие, по его мнению, не дает нам никаких оснований думать, будто в нем содержится диалектическое противоречие. «Правда,—признается Джемс,—что пространство, лежащее между двумя пунктами, одновременно и об'единяет и раз'единяет их, подобно тому, как перекладина в гирях и соединяет и раз'единяет оба шара,—но это об'единение и разделение происходит не secundum idem [2]): оно разделяет данные пункты, выключая их из промежуточного пространства, оно об'единяет их, выключая из пространства, лежащего за их пределами; таким образом, его двойная функция не является противоречивой» [3]). По Джемсу, противоречие между бесконечностью пространства и тем фактом, что оно существует как нечто ограниченное и данное нам,—«кажущееся» и «может быть разрешено различными способами» [4]). По откровенному признанию Джемса, из всех этих способов—наилучший тот, который предлагает идеализм: «Наиболее простой способ,—говорит Джемс,—дает идеализм, различая актуальное и потенциальное пространство» [5]).

---

[1]) Там же, стр. 303.

[2]) Т.-е. не в одном и том же отношении. *В. А.*

[3]) У. Джемс, О некоторых гегелизмах (Зависимость веры от воли, стр. 304).

[4]) Там же, стр. 301.

[5]) Там же, стр. 301.

Идеалистическая концепция непрерывных пространства и времени счастливо помогает Джемсу выйти из затруднений, в которые его завлекло заигрывание с диалектикой. Концепция эта разрешает столь смущающее Джемса противоречие между абсолютной связностью и абсолютной бессвязностью всех вещей. «Почему,—восклицает Джемс,—мир не может быть некоторым подобием такого республиканского банкета, где все качества бытия признают свою взаимную неприкосновенность, но помещаются за общим столом—пространством и временем? Я считаю,—заявляет Джемс,—что такой взгляд глубоко вероятен» [1]).

IV.

Мы уже имеем достаточно данных, чтобы оценить качества джемсовской диалектики. Она оказалась совершенно мнимой. Диалектическая проблема разрешилась смехотворным, поистине, ресторанным образом, в котором противоречивые свойства бытия мирно уживаются за общим столом непрерывных пространства и времени. Отныне Джемс может быть спокоен. Честь формальной логики спасена. Но и капитал приобретен не малый: диалектические шуточки, невинные диалектические упражнения придают новую силу аргументам против интеллектуализма. Хождение по мукам диалектики внушает Джемсу смелость, подсказывая еще более решительные выводы.

Отныне выступление против логики ведется в открытую. Критика логики превращается в критику интеллектуализма, а достигнутые результаты об'являются решающими: «с принципиальной точки зрения,—говорит Джемс,—острие интеллектуализма надломлено; он может лишь приблизиться к действительности и логика его неприложима к нашей внутренней жизни, которая презирает ее запреты и смеется над ее невозможностями» [2]). «Логика, будучи лишь неподвижной несовершенной абстракцией, ниже действительности; поэтому логика должна уступить действительности, а не действительность логике. Наш ум не может заживо замуровать себя, как личинка в куколке» [3]).

Алогизм медленно вырастал в философии Джемса. Знакомство с идеями Бергсона ускорило темп его развития, а также усилило радикальность окончательных приговоров и оценок. В лекции «Соединение элементов сознания» Джемс сообщает, что он «сочтет себя в конце концов вынужденным о т к а з а т ь с я о т л о г и к и, отказаться от нее открыто, честно и р а з н а в с е г д а. В человеческой жизни,—оговаривается Джемс,—логика имеет вечное применение, но это применение не дает нам т е о р е т и ч е с к о г о знакомства с тем, что составляет существенную природу действительности... Действительность, жизнь, опыт, конкретность, непосредственная данность, употребляйте какое угодно выражение,—все это выходит из границ нашей логики, переливает через ее края и окружает ее со всех сторон» [4]).

---

[1]) Там же, стр. 310.

[2]) У. Д ж е м с, Непрерывность непосредственного опыта. (Вселенная и т. д., стр. 159).

[3]) У. Д ж е м с, Соединение элементов сознания (Вселенная и т. д., стр. 114).

[4]) Там же, стр. 117—118; курсив мой. *В. А.*

Джемс сам постарался раз'яснить, что, критикуя логику низшую, он критикует ее вовсе не во имя логики высшей. Критика Джемса есть критика логизма вообще, без всяких ограничений и оговорок. «Если вы, как большинство людей,—говорит Джемс,—любите употреблять слова в их хвалебном значении и таким образом поощрять путаницу понятий, то вы можете сказать, что действительность подчиняется высшей логике или что она обладает высшей рациональностью. Но я думаю, что даже хвалебные слова следовало бы употреблять для того, чтобы различать понятия, а не для того, чтобы их смешивать; поэтому я открыто предпочитаю называть действительность, если и не иррациональной, то, по крайней мере, нерациональной в своей структуре, при чем под действительностью я тут разумею действительность, в которой происходят явления, т.-е. всю временную действительность без исключения» [1]).

Мы уже в достаточной степени ознакомились с джемсовской критикой логизма. Чисто-отрицательный, нигилистический характер этой критики, ее связь—если не генетическая, то принципиальная—с учениями новейшего упадочного идеализма—совершенно несомненна. Мы видели, что учение Джемса представляет значительный шаг назад в сравнении даже с декадентским интуитивизмом Бергсона. Сейчас мы представим новые доказательства.

Было бы странно, если бы такой «прагматист», как Джемс, ограничился бы чисто-теоретической, отвлеченной критикой логизма. Даже a priori можно было бы предсказать, что, затрачивая огромную энергию на развенчание логизма, Джемс имел в виду не только чисто-отрицательные результаты этой критики. Пафос джемсовского антилогизма должен иметь практические корни, истоки и задачи. Тому, кто долго и упорно уверял нас в неосуществимости чисто-теоретических вопросов, мы в праве не верить, когда он сам вздумает выдавать проделанную им работу за работу чисто-теоретическую.

Наше a priori полностью подтверждается фактами. Вместе с тем здесь пред нами открывается новая—любопытнейшая—страница в истории новейшей буржуазной философии.

Противопоставление знания интуитивного знанию рациональному не один раз уже было использовано идеологами буржуазии в целях критики науки и логического знания. Шопенгауер, начавший первым великое шествие философских декадентов, противопоставлял отвлеченному знанию знание непосредственное, получаемое путем гениальной художественной интуиции. Бергсон интеллектуальному познанию положительной науки противопоставляет философскую интуицию, вводящую-де нас в глубины «жизненного порыва», творческой эволюции жизни. Но ни тот, ни другой не делали еще из этого противопоставления прямых положительных выводов в пользу религиозного, мистического «познания». Шопенгауер был совершенно далек от фидеизма и от мистики. Философия Бергсона, правда, чрезвычайно благоприятна для развития религиозного умонастроения. В настоящее время никто не посмеет оспаривать крепкую связь между интуитивизмом Бергсона и современным неокатолическим движением во

---

[1]) Там же, стр. 117—118; курсив мой. *В. А.*

Франции. И все же сам Бергсон нигде не сделал попытки использовать данные своей философии для обоснования религиозного миросозерцания. Скорее такая попытка стояла бы в противоречии со всем, что мы знаем о темпераменте этого философа. Но то, чего не могли сделать Шопенгауер и Бергсон, сделал Джемс. У Джемса критика интеллектуализма и логики связываются с обоснованием религиозного опыта и мистического познания. В философствовании Джемса упадочная сущность новейшего антирационализма выступает с полной ясностью. Этой ясности во многом содействовала исключительная, до наивности доходящая, откровенность и непосредственность Джемса. Критике интеллектуализма Джемс предался со всем пылом неофита. Одним из результатов этой критики было разочарование не только в методах интеллектуального познания, но и в средствах его выражения. На первом месте в числе этих средств—язык. По Джемсу, язык всегда есть грубо-неточное орудие для выражения адэкватной истины. Если истинное, т.-е., по Джемсу, чисто созерцательное познание возможно, то оно не станет пользоваться языком для своего выражения. Язык всегда в плену у интеллекта и его несовершенной логики. Истинное познание лежит далеко вне всех обычных средств выражения. Оно не может вообще быть высказано. Оно может быть лишь безмолвным указанием на существо предстоящего, данного. Истинное познание мыслит в терминах, несоизмеримых с понятиями. «Пока мы продолжаем говорить,—утверждает Джемс,—интеллектуализм остается непререкаемым господином положения. Возвращение к жизни достигается не путем разговоров; для этого требуется действие; для того, чтобы заставить вас вернуться к жизни, я должен показать вам пример; я должен сделать вас глухим к словам или к значительности слов, показав, как это делает Бергсон, что понятия, которыми мы пользуемся в нашей речи, образованы для практических целей, а не для целей познания. Или же я должен указать, указать прямо: вот жизнь, а вы с помощью внутренней симпатии должны наполнить ее соответственным вам «что именно» [1]). Итак, единственным ответом на вопросы интеллектуализма может быть только отказ от какого бы то ни было ответа, глухота к самим вопросам и безмолвие. На место интеллектуального познания Джемс ставит молчание! Не гениальная интуиция Шопенгауера, не интеллектуальная симпатия Бергсона,—нет, молчание,—вот истинная философия и истинное познание! С помощью Бергсона Джемс «убедился в том, что продолжать пользоваться методами интеллектуализма само по себе ошибочно» [2]). Он понял, «что философия двигалась по ложному пути со времен Сократа и Платона, что интеллектуалистические затруднения никогда не будут разрешены интеллектуальным путем, и что действительный выход из этих затруднений состоит не в том, чтобы открыть такое решение, а просто в том, чтобы заткнуть уши, когда этот вопрос ставится. Когда концептуализм требует от жизни самооправдания в терминах, выражающих понятия, то это требование становится подобно вызову на дуэль, адресованному на иностранном языке человеку, который

---

[1]) У. Джемс, Непрерывность непосредственного опыта (Вселенная и т. д., стр. 160; курсив Джемса. *В. А.*).

[2]) Там же, стр. 161.

поглощен своими делами; такой вызов не имеет для него никакого значения и он может оставить его без внимания»[1]).

Эту перемену в строе мыслей Джемс считает настолько значительной, что даже называет ее «внутренней катастрофой»: «я буквально исчерпал,—говорит он,—весь свой запас понятий; в интеллектуалистическом отношении я оказался банкротом и принужден был начать дело с начала»[2]).

Таким образом, критика интеллектуализма завершается у Джемса возвращением к исходной tabula rasa. Но на этой tabula rasa Джемс воздвигает обоснование религиозного опыта и мистического гносиса (познания). Здесь перед нами неожиданно обнаруживается истинный практический смысл джемсовского антиинтеллектуализма. Критика логизма переливается в апологию веры, в оправдание мистического гносиса. Нельзя достаточно подчеркнуть, насколько знаменателен тот факт, что критика интеллектуализма тесно соединяется у Джемса с теоретическим обоснованием веры. Ни в одном из сочинений Джемса эта связь не выступает так прозрачно, как в «Многообразии религиозного опыта». «По враждебной мистицизму теории,—читаем мы здесь,—которую в философии иногда называют рационализмом, все наши верования в последнем счете должны быть основаны на ясно выраженных положениях, которые можно подразделить на четыре категории: 1) определенные теоретические обоснования; 2) определенные факты чувственного порядка; 3) определенные гипотезы, построенные на этих фактах, и 4) определенные логические выводы.

И все же,—утверждает Джемс,—если рассматривать духовную деятельность человека в ее целом, если принять во внимание и ту сторону ее, которая независима от области знания и мышления, и которой люди внутренне втайне подчиняются, то мы принуждены будем признать, что рационализм знает лишь об относительно поверхностной стороне духовной жизни человека. По об'яснению Джемса, «эта сторона пользуется общим признанием потому, что ей служат все средства языка, она может засыпать вас доказательствами, разоружить логикой, разбить словами. Но это все бессильно поколебать вашу уверенность в тех случаях, когда ваша неукладывающаяся в слова интуиция идет в разрез с умозаключениями рассудка. Источник этих интуиций лежит в нашей природе гораздо глубже той шумно проявляющейся в словах поверхности, на которой живет рационализм»[3])... И несколько ниже: «в области метафизики и религии логические доводы обязательны для нас лишь тогда, когда признания их требует наша неопределенная интуиция реальности... «Подлинную основу истины всегда составляет наша импульсивная вера, а наша выраженная в словах философия—это лишь ряд формул, в какие вера облекается»[4]).

Джемс ставит на голову отношение между знанием и верой. По Джемсу, не знание руководит верой, но вера знанием. То,

---

[1]) Там же, стр. 161. Здесь Джемс подает руку Метерлинку с его проповедью молчания.

[2]) Там же, стр. 161.

[3]) У. Джемс, Многообразие религиозного опыта, стр. 65.

[4]) Там же, стр. 66; курсив мой. *В. А.*

что мы называем знанием, есть, по Джемсу, лишь поверхностная оболочка нашей веры. Верованиями определяется направление, об'ем и содержание знания. «Непосредственное, интуитивное убеждение таится в глубине нашего духа, а логические аргументы являются только поверхностным проявлением его. Инстинкт повелевает и ведет,—разум покорно следует за ним. Если кто-нибудь ощущает бытие живого бога..., то никакие критические рассуждения, как бы они ни были основательны, не будут в состоянии поколебать его веры» [1]).

По Джемсу, бессилие рационализма, сказывающееся в его неспособности быть фундаментом для верований, обнаруживается с одинаковой ясностью, защищает ли он религию или нападает на нее. Напротив, действительное знание порождается верой, и коренится оно в непосредственной интуиции, в движениях инстинктивного убеждения, невыразимых в слове. Но именно таково, по Джемсу, мистическое познание. Это познание Джемс ставит превыше всех достижений интеллекта.

Основной признак мистических состояний сознания Джемс усматривает в их неизреченности, в их недоступности для рационального выражения в слове: «Самый лучший критерий для распознавания мистических состояний сознания—невозможность со стороны пережившего их найти слова для их описания, вернее сказать, отсутствие слов, способных в полной мере выразить сущность этого рода переживаний» [2]). «Чтобы знать о них,—говорит Джемс,—надо испытать их на личном непосредственном опыте; пережить по чужим сообщениям их нельзя. Отсюда видно, что мистические состояния скорее принадлежат к эмоциональной сфере, чем к интеллектуальной» [3]). Тем не менее, эта мистическая эмоция, не выразимая для слова и не вмещающаяся в грани рассудка и его логики, есть, по мнению Джемса, особый познавательный акт; она образует особый—и притом высший и наиболее достоверный вид знания—знания интуитивного: «Хотя мистические состояния и относятся к сфере чувств, однако,—утверждает Джемс,—для переживающего их они являются особой формой познавания. При помощи их человек проникает в глубины истины, закрытые для трезвого рассудка» [4]).

Мы ознакомились с развитием идей алогизма в философии Джемса. Развитие это далеко выходит из рамок индивидуальной биографии одного философа. Философия Джемса—факт не только индивидуального, но прежде всего—классового характера. Судьба Джемса—судьба современной буржуазной философии. Здесь нет места случаю, но все перипетии развития строго детерминированы, необходимо обусловлены идеологическим состоянием класса в данный момент его существования.

От Шопенгауэра к Джемсу развитие алогизма шло crescendo, переходя последовательно все этапы: от критики интеллектуализма—к прямому алогизму, к замене рационального познания эмоциональным — мистическим —«опытом». Конечный ре-

[1]) Там же, стр. 66; курсив мой. *В. А.*
[2]) Там же, стр. 368—369.
[3]) Там же, стр. 368—369.
[4]) Там же, стр. 369.

зультат этого развития — концепция радикального алогизма. Джемс представляет последнее звено в этом развитии. Знанию логическому или дискурсивному он противопоставляет—в качестве высшей формы—знание алогическое или мистическое. При этом Джемс совершенно не замечает, в какое он впадает противоречие. В разрез с уже известной нам критикой мысли, будто отрицание логики есть признание иной—высшей—логики, Джемс, в последний—мистический—период своей эволюции, открывает в мистицизме познавательное содержание.

С одной стороны, Джемс упорно подчеркивает различие логического и мистического видов знания, их несводимость друг к другу. Это различие он находит в том, что логическое или «дискурсивное» знание принципиально связано с логикой понятий и со словом, с языком, как рациональным способом выражения; напротив, мистическое знание—принципиально алогично и неизреченно. С другой стороны, несмотря па эту тщательно подчеркиваемую противоположность и даже несоизмеримость, Джемс считает возможным об'единить «дискурсию» и «мистическую интуицию» в едином понятии знания. Это об'единение совершается у Джемса под знаком подчинения интеллекта—инстинкту, логического познания—интуитивному. Так было создано исполненное логического противоречия понятие «эмоционального познания», «мистического познавательного опыта».

В лице Джемса буржуазная философская мысль подготовляла теоретические основы для фидеизма, который в XX веке вновь становится интеллектуальной потребностью буржуазии. Философия вторично превращается в служанку веры. Когда в конце XIX и в начале XX века мистицизм стал широко распространяться среди буржуазной интеллигенции, его пророки могли уже смело опираться в своей работе на поддержку философии. К их услугам была уже вполне сложившаяся, самой философией изготовленная, услужливо предлагаемая концепция алогизма, из которой можно было полной горстью черпать все нужные аргументы. К началу XX века деградация буржуазной философии зашла так далеко, что даже опередила мистику. Антирационалистическое движение, руководимое Бергсоном и углубленное Джемсом, приняло настолько уродливые упадочные формы, что даже некоторые официальные вожди мистицизма сочли необходимым от него отмежеваться. Положительно философия перещеголяла самих мистиков в борьбе против научного знания и логики! По крайней мере, некоторые мистики не решались столь прямо и столь резко ополчиться против логики и науки. В сравнении с алогизмом Джемса кажется скромным и умеренным даже тот антирационализм, который развивает в своих многочисленных сочинениях знаменитый вождь современного мистицизма—Рудольф Штейнер.

Такова судьба буржуазной философии. В средние века философия также была служанкой веры. Но это соотношение, необходимо вытекавшее из уклада производственных отношений феодального периода,—имело тенденцию изменяться в пользу науки—за счет веры. Поэтому характерный для средневековья переход философии на службу к вере был не только признаком упадка философии, но также выражением известной ее силы. Переход этот означал не только подчинение философии религиозной догматике, но также уверен-

ность философии в том, что теоретический разум достаточно могуществен, чтобы доказать, обосновать и об'яснить даже высочайшие таинства веры. Поэтому средневековье высоко ценило логику, почитало доказательства, уважало логическую форму понятия.

Напротив, характерный для Джемса алогизм, пренебрежение к доказательству, стремление «развенчать» его ценность, умалить значение понятия, подорвать авторитет разума—прекрасно оттеняют глубину упадка буржуазной философской мысли. Джемс неустанно глумится над рационализмом, независимо от того, опровергает ли рационализм или доказывает существование бога. Он не жалеет насмешек по адресу тех средневековых схоластов, которые упорно стремились построить рациональное доказательство существования бога. Но как это ни странно может показаться, в этих стремлениях средневековых схоластов было гораздо больше здоровых интеллектуальных начал, нежели в антирационалистическом агностицизме Джемса! Интеллектуальные факты далекого прошлого следует оценивать диалектически. На той ступени развития, какую представляла феодальная философия, напряженное внимание, проявленное схоластами к онтологическому аргументу, показывает, что они гораздо лучше, чем Джемс, оценивали значение доказательства. В непрекращающихся усилиях средневековой философии найти «доказательство» бытия бога, несомненно, сказывается правильное понимание того первостепенного значения, какое имеет, в науке доказательство. В могучей мыслительной работе какого-нибудь Ансельма Кэнтерберийского с его онтологическим аргументом гораздо больше здорового научного духа, нежели в «принципиальном» алогизме какого-нибудь современного Бергсона или Джемса. Пусть эти усилия средневековых философов были направлены на ложный об'ект и потому безумны, несостоятельны в своих результатах, однако наличие подобных усилий ясно говорит о высоком для той эпохи уровне логического развития и о верной оценке роли и значения самой логики. «Если бытие бога есть истина,—рассуждали средневековые философы,—то эта истина может и должна быть доказана. И обратно: если нельзя доказать, что бог существует, то вера в его существование не может быть названа знанием». И с этим нельзя не согласиться! Не следует забывать, что все классики XVII века: Декарт, Спиноза, Мальбранш, Лейбниц—продолжали традицию ансельмовского доказательства. Обычно в этом факте видят неизжитое влияние теологии. Но нельзя также забывать, что именно этим мыслителям во многом обязана современная научная методология! Нам думается, что онтологическое доказательство привлекало их потому, что оно имело в их глазах прежде всего не теологическое, но методологическое значение. Какими бы путями мы ни пришли к знанию: путем ли догадки или индукции или «интуиции»—только тогда знание становится действительным достоянием науки, когда оно доказано, оправдано, обосновано и притом выражено, изложено в форме слова. Всякое подлинное знание: во-первых, необходимо есть знание доказательное; во-вторых, всегда стоит в полном согласии с законами логики (диалектической и, как частный случай, формальной); и, в-третьих, всегда—по крайней мере,

в принципе—допускает выражение в форме слова. Вот эту-то характеристику знания, думается, и имели в виду классики XVII века, когда, продолжая традицию средневековья, они развивали онтологическое доказательство. «Бог», бытие которого они доказывали, был для них предельным, наиболее трудным об'ектом. Успешное применение онтологического аргумента имело для них значение не религиозного дела, но — прежде всего — знаменовало торжество новой научной методологии! Что предложенное мною об'яснение правильно, об этом ясно говорят онтологические доказательства Спинозы, в которых понятие «бог» без всякого ущерба для дела отождествляется с понятием «природы». Онтологическая сущность спинозовских доказательств сохранится после этой подстановки во всей своей силе [1]).

Всего этого не понять упадочному антирационалисту Джемсу. Философия Джемса на долгие времена останется печальным памятником заката буржуазной теоретической мысли. Есть что-то жалкое, недостойное в том наивном и веселом благодушии, с которым Джемс—на глазах всего культурного мира—гасит светильник разума и логоса в темных пучинах мистического «опыта». Но исторические процессы непреложны и неотвратимы. Перед лицом истории Джемс—только эхо, возвещающее теоретическое падение класса.

---

[1]) Развитые здесь соображения, думается могут пролить свет на историю онтологического доказательства, особенно в новейшее время, после Канта. Нельзя не признать, что Кант до-нельзя затемнил методологический смысл онтологического аргумента. Кант рассмотрел онтологическое доказательство не в его общей логической форме, но только в частном—и при том мнимом, ложном—случае: в форме доказательства бытия бога. Отсюда произошло не мало бед. Громкий успех кантовского опровержения заставил многих думать, будто Кант раз навсегда покончил с онтологическим доказательством. Даже иные марксисты, введенные в заблуждение практическим результатом кантовской критики, охотно ссылаются на опровержение Канта, не дав себе труда вникнуть в его теоретические основы. А между тем не трудно показать, что кантовская критика онтологического аргумента неразрывно связана с дуалистическими предпосылками кантовского идеализма. Кант исходил не из анализа методологического смысла аргумента, но из заранее предвзятого убеждения, что, как «вещь в себе», бог не познаваем. Ударение здесь не на «боге», но именно на «вещи в себе». Вся тщательность кантовского опровержения в конечном счете имеет целью лишний раз подчеркнуть основной для Канта дуализм «вещей в себе» и «явлений». Не отрицание бытия бога имел в виду Кант, разрушая в «Критике Чистого Разума» рациональные доказательства существования бога. Напротив, для Канта бытие бога было непререкаемой и незыблемой истиной. Своей критикой Кант хотел сказать лишь то, что бытие непознаваемой вещи в себе не может быть доказано на основании одной только идеи о такой вещи. Все опровержение Канта построено на скрытой дуалистической предпосылке, будто существуют «вещи к себе» и явления, будто первые—непознаваемы и будто бог «вещь в себе». Но стоит только отвергнуть эти предпосылки—и вместе с ними падает все кантово опровержение. На этот пункт впервые обратил внимание Гегель. В «Науке Логики» Гегель подвергнул опровержение Канта глубокой и основательной критике. Гениальный методологический такт говорил Гегелю, что Кантом не понята ценная методологическая сущность онтологического аргумента. Гегель переоценил критику Канта не как верующий, восставший против Канта на защиту бога, но как методолог.

„Капитал“ Маркса [1]).

(Первое изложение «Капитала» для рабочих).

Ф. Энгельс.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Печатаемый ниже отзыв о первом томе «Капитала» появился в издававшемся Вильгельмом Либкнехтом «Демократическом Еженедельнике» («Demokratisches Wochenblatt»), двумя частями—в номерах от 21 и 28 марта 1868 г. (№№ 12 и 13, стр. 94/95 и 100/101).

Обе статьи не подписаны. Что их автором является Энгельс, видно из писем последнего к Марксу. Тотчас после появления в печати первого тома «Капитала», в начале сентября 1867 г., Маркс и Энгельс вместе с несколькими друзьями начали энергичную кампанию против той «conspiration de silence», при помощи которой буржуазная пресса систематически замалчивала прежние сочинения Маркса, в особенности вышедшую в 1859 г. книгу «К критике политической экономии», предвестницу «Капитала» [2]). Энгельс написал с этой целью не меньше десяти рецензий, и его немецким друзьям удалось протащить их, если не в крупные органы буржуазной печати, то в разные более мелкие, провинциальные, демократические и либеральные органы. Конечно, при этом не только пришлось утаить имя Энгельса, но было также необходимо самые рецензии писать с таким расчетом, чтобы по возможности не задеть классовое чувство буржуазных читателей. Поэтому теория стоимости и теория накопления затрагиваются в них очень бегло или совсем не затрагиваются, а вместо этого выдвигается на первый план социально-политическое и историко-экономическое содержание «Капитала», и выводы книги изображаются как «суб'ективный» взгляд автора, вовсе не обязательный для инакомыслящих. От этих, в известном смысле приспособленных для буржуазного понимания, рецензий [3]) публикуемые нами статьи отличаются самым существенным образом.

В противоположность буржуазной печати, немногие рабочие органы, как и все передовые умы, все руководящие деятели социалистического рабочего движения, встретили творение Маркса с настоящим восторгом. Впереди всех шел в этом отношении

---

[1]) Das Kapital, Kritik der politischer Oekonomie, von Karl Marx. Erster Band. Der Productionsprozess des Kapitals. Hamburg, O. Meissner, 1867.

[2]) См. об этом в 1-ом выпуске «Летописей марксизма» 1926 г., стр. 45, введение Д. Рязанова к одной статье Энгельса, написанной им для «Fortnightly Review».

[3]) Некоторые из них будут напечатаны в русском переводе в 4-м выпуске «Летописей марксизма», который выйдет в этом году.

женевский ежемесячник «Предвестник» («Der Vorbote»), «центральный орган немецкой секции международного об'единения рабочих», на страницах которого Иоганн Филипп Беккер прославлял книгу Маркса, из номера в номер, в ряде восхищенных заметок. В одной из этих небольших заметок он писал: «Мы заканчиваем теперь обзор первого тома и обнажаем голову. Перед нами—часть гигантского творения, целый арсенал оружия для освободительной борьбы, рудник чистейшего золота науки. Мы будем по мере сил способствовать тому, чтобы добытые здесь сокровища сделались общим достоянием всех угнетенных и неимущих» («Der Vorbote», ноябрь 1896 г., стр. 175). Но не легкая была эта задача—изложить основное содержание «Капитала» в популярной форме, доступной для широких кругов рабочих. Старый Беккер даже и не попытался это сделать. В центральном органе лассальянского «Всеобщего германского союза рабочих»—«Социал-Демократе», издававшемся И. Б. Швейцером и И. Б. Гофштеттеном в Берлине, Швейцер, бывший резким политическим противником Маркса, начал 10 января 1868 г. печатать извлечение из «Капитала», шедшее на протяжении десяти номеров. Эту серию статей нельзя назвать обзором основных мыслей «Капитала». Швейцер не выделил самое существенное из всего тома, а стал излагать содержание книги по порядку, при чем в своей последней (десятой) статье он дошел только до начала третьего отдела. Как правильно замечает Меринг, «статьи постепенно сошли нанет» [1]).

Первым законченным изложением «Капитала» для рабочих можно потому по всей справедливости считать те две статьи, которые Энгельс написал для издававшегося Либкнехтом «Демократического Еженедельника» и которые мы печатаем ниже.

«Демократический Еженедельник» был официальным органом «саксонской народной партии», основанной в августе 1866 г. в Хемнице при участии Либкнехта и Бебеля. Подобно самой партии и ее еженедельник был прежде всего органом саксонских рабочих союзов, т.-е. рабочим органом. Он боролся за создание пролетарской рабочей партии, за образование большой немецкой республики, в национальном вопросе выступал против гегемонии Пруссии, в международной политике—против русского царизма. Еженедельник вел ожесточенную борьбу с лассальянцами. Во всех этих основных вопросах он стоял на точке зрения Маркса и Энгельса. После того, как весною 1865 г. Маркс и Энгельс порвали с органом лассальянцев, «Демократический Еженедельник» остался единственной немецкой газетой, в которой они продолжали сотрудничать, хотя во многих отдельных вопросах они были недовольны редакторским руководством Либкнехта.

«Демократический Еженедельник», начавший выходить 1 января 1868 г., дал в первых же двух номерах предисловие Маркса к «Капиталу». Отзыва о книге Либкнехт ждал от Энгельса. Последний писал Марксу 1 марта 1868 г.: «Для нашего милого Вильгельма (Wilhelmchen) я кое-что напишу, дословных выдержек, вероятно, не дам, но постараюсь выяснить для его публики некоторые основные пункты». А 13 марта он сообщает: «Отослал

---

[1]) Politische Aufsätze und Reden von I. B. Schweitzer, изданы Фр. Мерингом, Берлин 1912 г., стр. 255.

также Вильгельму две статьи о твоей книге, написанные совсем популярно для рабочих, так что даже наш милый Вильгельм поймет их» (Теория не была, как известно, сильной стороной Либкнехта).

Несколько лет спустя Либкнехт перепечатал рецензию Энгельса в издававшемся им органе «социал-демократической рабочей партии» (т. наз. «эйзенахцев») «Народное Государство» («Volksstaat») №№ 28—29 от 5 и 8 апр. 1871 г.,—выпустив те вступительные строчки, в которых подчеркивается, что Маркс был немцем. После победы над Францией и основания Германской империи, эти строчки могли бы быть, пожалуй, поняты, как дань уважения делу Бисмарка..

Из «Народного Государства» рецензия была перепечатана во французском переводе в брюссельском органе «Свобода» («La Liberté»), где она появилась 6 и 7 июня 1871 г. (год издания пятый, №№ 47 и 50). Дальнейших перепечаток, насколько нам известно, не было.

Э. Ц.

I.

С тех пор, как существуют на свете капиталисты и рабочие, не появлялось книги, столь важной для рабочих, как предлагаемая. Отношение капитала и труда, этот стержень, вокруг которого вращается вся наша нынешняя общественная система, здесь впервые научно вскрыто, и вскрыто с такой основательностью и отчетливостью, как это был способен сделать только немец. Велика и непреходяща ценность писаний Оуэна, Сен-Симона, Фурье,—но только немцу было дано подняться на высоту, с которой ясно и четко открывается вся область современных социальных отношений, как расположенный внизу горный ландшафт открывается взору зрителя, стоящего на самой вершине.

Прежняя политическая экономия учит нас, что труд есть источник всякого богатства и мера всех стоимостей, так что два предмета, изготовление которых потребовало одинакового времени, обладают и одинаковой стоимостью, и так как в среднем обмениваемы друг на друга только равные стоимости, то два такие предмета должны обмениваться друг на друга. Но вместе с тем она учит, что существует своего рода накопленный труд, который она называет капиталом, и что этот капитал, благодаря содержащимся в нем вспомогательным средствам, повышает производительность живого труда в сотни и тысячи раз и за это имеет право на известное вознаграждение, которое называют прибылью или доходом. Как мы все знаем, в действительности это происходит так, что прибыль от накопленного, мертвого труда становится все больше, капиталы капиталистов—все огромней, между тем как оплата живого труда делается все меньше, а масса рабочих, живущих только на заработную плату, все много-

численнее и беднее. Как разрешить это противоречие? Как может оставаться капиталисту прибыль, если рабочий получает возмещение за полную стоимость труда, вложенную им в свой продукт? А ведь именно так должно бы было быть, раз только равные стоимости обмениваются друг на друга. С другой стороны, как может рабочий получать полную стоимость своего продукта, если, как то признается многими экономистами, этот продукт делится между ним и капиталистом? Прежняя политическая экономия беспомощна перед этим противоречием и смущенно лепечет ничего не говорящие фразы. Даже прежние социалистические критики политической экономии не сумели пойти дальше указания на имеющееся противоречие; разрешить его не мог никто, пока, наконец, Маркс не проследил процесс возникновения капитала до самого его зарождения и не раз'яснил таким образом все.

При раскрытии сущности капитала Маркс исходит из того простого, общеизвестного факта, что капиталисты извлекают пользу из своего капитала посредством обмена: они покупают на свои деньги товар и затем продают его дороже, чем он им стоил. Капиталист покупает, напр., хлопка на 1.000 талеров и перепродает его за 1.100 т., «зарабатывая» на этом 100 т. Этот избыток в 100 т. над первоначальным капиталом Маркс называет прибавочной стоимостью. Откуда берется эта прибавочная стоимость? По предположению экономистов, обмениваются только равные стоимости, и в области абстрактной теории это совершенно верно. Стало быть, покупка хлопка и его перепродажа точно так же не могут создать прибавочной стоимости, как не может создать ее обмен серебряного талера на тридцать серебряных грошей и обратный обмен этих последних на серебряный талер,—обмен, от которого не станешь ни богаче, ни беднее. Но прибавочная стоимость не может возникнуть и оттого, что продавцы продают товары дороже, или покупатели покупают их дешевле их стоимости, потому что каждый является по очереди то покупателем, то продавцом, так что в конце концов это бы выравнялось. Не может она произойти и оттого, что покупатели и продавцы обсчитывают друг друга, потому что это не создавало бы никакой новой или прибавочной стоимости, а привело бы только к перераспределению между капиталистами наличного капитала. Но хотя капиталист покупает товары по их стоимости и по их стоимости же продает их, он все-таки извлекает из них больше стоимости, чем им было вложено. Как это происходит?

При настоящих общественных условиях капиталист находит на товарном рынке товар, отличающийся тем своеобразным свойством, что его потребление является источником

новой стоимости, создает новую стоимость, и этот товар—рабочая сила.

Какова стоимость рабочей силы? Стоимость всякого товара измеряется трудом, потребным для его производства. Рабочая сила существует в форме живого рабочего, который для своего существования, а также для прокормления своей семьи, обеспечивающей сохранение рабочей силы и после его смерти, нуждается в определенной сумме жизненных средств. Потребное для производства этих жизненных средств рабочее время и представляет собою, стало быть, стоимость рабочей силы. Капиталист платит ему еженедельно и покупает таким образом потребление недельного труда рабочего. До сих пор господа экономисты будут приблизительно согласны с нами по вопросу о стоимости рабочей силы.

Но вот капиталист ставит своего рабочего на работу. За определенное время рабочим будет выполнено такое количество работы, какое представлено его недельной заработной платой. Положим, что недельная заработная плата рабочего представляет три рабочих дня,—тогда рабочий, начавший работать в понедельник, возместит капиталисту в среду вечером полную стоимость выплаченной ему заработной платы. Но перестанет ли он после этого работать? Нисколько. Капиталист купил его недельный труд, и рабочий должен работать и три последние дня недели. Этот прибавочный труд рабочего сверх времени, потребного для возмещения полученной им платы, является источником прибавочной стоимости, прибыли, все возрастающего разбухания капитала.

Пусть не возражают, что здесь произвольно предположено, будто рабочий в течение трех дней отрабатывает свою заработную плату, а остальные три дня работает на капиталиста. Нужны ли ему три дня для возмещения полученной платы, или два, или четыре, это здесь совершенно безразлично, да это и меняется в зависимости от обстоятельств; но суть дела в том, что капиталист, на ряду с оплачиваемой им работой, получает еще такую, которую он не оплачивает,—и это не произвольное предположение, ибо в тот день, когда капиталист стал бы регулярно получать от рабочего лишь такое количество труда, какое он ему оплатил в форме заработной платы, в тот день он закрыл бы свою фабрику, потому что вся его прибыль пошла бы прахом.

Тут мы находим разрешение всех отмеченных выше противоречий. Происхождение прибавочной стоимости (значительную часть которой составляет прибыль капиталиста) становится теперь совершенно ясным и естественным. Стоимость рабочей силы оплачивается, но эта стоимость гораздо ниже той, которую капиталист умеет извлечь из рабочей силы, и эта разность, этот не-

оплаченный труд, и составляет долю капиталиста или, точнее говоря, класса капиталистов. Ибо даже та прибыль, которую в приведенном выше примере торговец хлопком выручил из своего хлопка, должна состоять, если цена на хлопок не повысилась, из неоплаченного труда. Торговец должен был продать свой хлопок бумагопрядильному фабриканту, который сверх переплаченных 100 талеров может извлечь из своего фабриката еще доход для себя и который, следовательно, делит с торговцем свою выручку от неоплаченного труда. Этот-то неоплаченный труд и поддерживает вообще существование всех нетрудящихся членов общества. Из него уплачиваются государственные и коммунальные налоги, поскольку они падают на класс капиталистов, земельная рента землевладельцев и т. д. На нем покоится весь существующий общественный строй.

С другой стороны, было бы несообразно предположить, что неоплаченный труд появился только при настоящих условиях, когда производство ведется капиталистами, с одной стороны, и наемными рабочими, с другой. Наоборот. Угнетенный класс во все времена должен был выполнять неоплаченную работу. В течение долгих веков, когда рабство было господствующей формой организации труда, рабы должны были работать гораздо больше, чем сколько им возмещалось в форме жизненных средств. То же самое имело место при господстве крепостного права и до отмены барщинного труда крестьян; здесь даже наглядно обнаруживается различие между временем, которое крестьянин работает для поддержания собственной жизни, и его прибавочной работой на помещика, потому что эта последняя работа производится отдельно от первой. Форма теперь изменилась, но по существу осталось все то же, и пока «часть общества владеет монополией на средства производства, рабочий, свободен ли он или нет, должен сверх рабочего времени, потребного для его самосохранения, работать еще избыточное время, чтобы производить жизненные средства для собственников орудий производства» (Маркс, стр. 202).

II.

В предыдущей статье мы видели, что каждый рабочий, работающий у капиталиста, выполняет двоякую работу. В течение одной части рабочего времени он возмещает плату, выданную ему вперед капиталистом,—эту часть труда Маркс называет необходимым трудом. Но затем он должен работать еще, и за это время он производит для капиталиста прибавочную стоимость, значительную долю которой составляет прибыль. Эта часть труда называется прибавочным трудом.

Мы принимаем, что три дня в неделю рабочий работает для возмещения своей заработной платы и три дня для производства прибавочной стоимости в пользу капиталиста. Иначе это можно выразить так, что при двенадцатичасовой работе в день он шесть часов работает ежедневно за свою заработную плату и шесть часов для производства прибавочной стоимости. Из недели можно выколотить только шесть дней, если привлечь и воскресенье— только семь, но из каждого отдельного дня можно выколотить шесть, восемь, десять, двенадцать, пятнадцать и даже больше рабочих часов. Рабочий продал капиталисту за поденную плату один рабочий день. Но что такое рабочий день? Восемь часов или двенадцать?

Капиталист заинтересован в том, чтобы рабочий день был как можно длиннее. Чем он длиннее, тем больше создает он прибавочной стоимости. Рабочий правильно чувствует, что каждый час труда, который он работает сверх возмещения своей заработной платы, неправомерно отнимается у него; он убеждается на собственной шкуре, что означает чрезмерно длинный рабочий день. Капиталист борется за свою прибыль, рабочий—за свое здоровье, за два—три часа ежедневного отдыха, за то, чтобы не только работать, спать и есть, но иметь возможность проявлять себя и в других областях человеческой деятельности. Заметим мимоходом, что участие или неучастие в этой борьбе совершенно не зависит от доброй воли отдельных капиталистов, потому что даже филантропичнейшего из них конкуренция заставляет примкнуть к своим коллегам и ввести у себя такой же длинный рабочий день, какой принят у них.

Борьба за установление рабочего дня тянется с первого момента появления свободных рабочих до настоящего времени. В различных отраслях промышленного труда существуют различные традиционные нормы рабочего дня, но в действительности они редко соблюдаются. Лишь там, где закон устанавливает рабочий день и следит за его соблюдением, лишь там можно действительно сказать, что существует нормальный рабочий день. А до сих пор это имеет место почти исключительно в фабричных округах Англии. Здесь установлен десятичасовой рабочий день ($10\frac{1}{2}$ часов в первые пять дней, $7\frac{1}{2}$—в субботу) для всех женщин и для мальчиков от 13 до 18 лет, а так как мужчины не могут работать без них, то и они подпадают под десятичасовую норму. Этот закон английские фабричные рабочие завоевали путем долголетней выдержки, путем самой настойчивой и упорной борьбы с фабрикантами, путем свободы печати и права союзов и собраний, а также путем искусного использования расколов в самом господствующем классе. Он сделался палладиумом английских рабочих, постепенно он был распространен на все крупные отрасли

промышленности, а в прошлом году почти на все отрасли промышленного труда, во всяком случае на все, в которых заняты женщины и дети. О ходе этого законодательного урегулирования рабочего дня в Англии предлагаемая книга содержит чрезвычайно подробный материал. Ближайшая сессия «северогерманского рейхстага» должна будет, между прочим, обсудить вопрос о промышленном уставе, а следовательно, и об урегулировании фабричного труда. Мы ожидаем, что ни один из депутатов, проведенных немецкими рабочими, не приступит к обсуждению этого закона, не ознакомившись предварительно в совершенстве с книгой Маркса. Здесь можно добиться многого. Расколы в господствующем классе благоприятнее для рабочих, чем то когдалибо было в Англии, потому что всеобщее избирательное право вынуждает господствующие классы искать расположения рабочих. При таких условиях четыре или пять представителей пролетариата представляют собою силу, если они умеют использовать свое положение и, прежде всего, если они знают, в чем суть дела,—чего буржуа не знают. А для этого книга Маркса дает им весь необходимый материал в готовом виде.

Мы опускаем ряд дальнейших превосходных исследований, имеющих более теоретический интерес, и коснемся лишь заключительной главы, в которой говорится об аккумуляции или накоплении капитала. Здесь сначала показывается, что капиталистический, т.-е. осуществляемый капиталистами, с одной стороны, и наемными рабочими, с другой, способ производства не только все время заново производит капиталисту его капитал, но что он вместе с тем все время заново производит бедность рабочих; таким образом обеспечивается существование на одной стороне капиталистов, которые являются собственниками всех жизненных средств, всего сырья и всех орудий труда, а на другой стороне— огромной массы рабочих, которая вынуждена продавать этим капиталистам свою рабочую силу за некоторое количество жизненных средств, в лучшем случае достаточное для поддержания ее в работоспособном состоянии и для воспитания нового поколения работоспособных пролетариев. Но капитал не только воспроизводит себя, он все время умножается и увеличивается, а тем самым и его власть над неимущим классом рабочих. И как он сам воспроизводится во все большем масштабе, так современный капиталистический способ производства воспроизводит во все большем масштабе, во все возрастающем количестве и класс неимущих рабочих. «Накопление капитала воспроизводит капиталистические отношения на расширенной скале: больше капиталистов или более крупные капиталисты на одном полюсе, больше наемных рабочих—на другом. Накопление капитала означает,

таким образом, рост пролетариата» (стр. 600). Но так как, благодаря усовершенствованию машин, улучшению земледелия и т. д., требуется все меньшее число рабочих для изготовления одинакового количества продуктов и так как это усовершенствование, т. е. перевод рабочих в разряд излишних, растет даже быстрее, чем возрастающий капитал, то куда же девается это все прибывающее число рабочих? Они образуют промышленную резервную армию, которая в плохие или средние для промышленности периоды оплачивается ниже стоимости ее труда и не имеет регулярных занятий, или же переходит в ведение общественного попечения о бедных, но которая в периоды промышленных под'емов необходима для класса капиталистов, как это особенно ясно в Англии, и которая при всех обстоятельствах служит для уничтожения сопротивляемости регулярно занятых рабочих и для поддержания на низком уровне их заработной платы. «Чем больше общественное богатство... тем больше относительный избыток населения или промышленная резервная армия. Но чем больше эта резервная армия по сравнению с действующей (регулярно занятой) армией рабочих, тем многочисленней консолидированный (постоянный) избыток населения или те рабочие слои, отчаянное положение которых находится в обратном отношении к их мукам труда. Чем больше, наконец, нищенские слои рабочего класса, тем больше официально признанный пауперизм. Таков абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления» (стр. 631).

Таковы, в строго научном изложении (и официальные экономисты не решаются выступить хотя бы с попыткой опровержения), некоторые основные законы современной—капиталистической—общественной системы. Но все ли этим сказано? Отнюдь нет. Насколько резко Маркс выдвигает дурные стороны капиталистического производства, настолько же ясно показывает он, что эта общественная форма была необходима для поднятия производительных сил общества на такую ступень, на которой станет возможно одинаковое, достойное человека развитие для всех членов общества. Все прежние общественные формы были для этого слишком бедны. Только капиталистическое производство создает потребные для этого богатства и производительные силы, но в то же время оно создает, в лице угнетенной массы рабочих, общественный класс, который все в большей мере вынуждается требовать употребления этих богатств и производительных сил в пользу всего общества, вместо их нынешнего употребления в пользу одного монопольного класса.

«Demokratisches Wochenblatt» № 12, 21 марта 1868 г.

„Капитал“ Маркса в свете современных экономических проблем.

С. Бессонов.

Значение «Капитала» для проблем социалистического строительства.

Всем работавшим над «Капиталом» Маркса знакомо своеобразное чувство. Всякий раз кажется, что читаешь «Капитал» впервые. В этой огромной работе, насчитывающей свыше 2.000 страниц, на каждой странице тесно словам, просторно мыслям. Страницы читаются заново. Идеи и мысли, ускользавшие ранее, овладевают теперь вашим вниманием. Ранее прочитанное кажется наполненным новым содержанием. С каждым разом грандиозное исследование раскрывает новые стороны своего многогранного содержания. Чем дальше идет изучение, тем ясней вырисовывается невозможность исчерпать до конца это огромное идейное богатство, остающееся свежим и значительным через ряд людских поколений.

В изумительной широте и многогранности «Капитала» кроется разгадка того факта, что каждое рабочее поколение, помимо общей революционной теории, неизменно находит в «Капитале» ответы на специфические, волнующие именно это поколение, вопросы.

Маркс посвятил свою работу исследованию капиталистического общества. Казалось бы поэтому, что трудно искать в «Капитале» ответа на волнующие нас вопросы социалистического строительства. И, однако, Маркс изучал капитализм не в его статике. Задача «Капитала» состояла в том, чтобы открыть «движущий закон современного общества», показать «куда растет» капитализм. Поэтому там и тут, скорей часто, чем редко, Маркс останавливается на характеристике того общественного строя, который вызревает в недрах капитализма и идет к нему на смену.

Этот общественный строй, вырастающий из капитализма и на его обломках (ex suis ossibus—«из его костей», как выразился бы Маркс) неоднократно охарактеризован в «Капитале» главным образом под углом проблемы распределения.

Однако, независимо от этих прямых указаний, мы можем чрезвычайно много извлечь из «Капитала», если вспомним об одной особенности Марксовой теории капиталистического общества.

Капитализм есть определенная, исторически обусловленная форма материального производства. Люди не перестают трудиться, одеваться, пить, есть,—словом, жить и при капитализме. Способ отправления людьми их материальной жизни остается и при капитализме движущей основой общественного развития.

Поэтому, характеризуя капиталистическое общество, анализируя его противоречия, Маркс неизменно вскрывает и ту материальную основу, которая лежит в основе развития в целом. Эта материальная основа, производительные силы, развитые капитализмом, целиком переходят к новому общественному строю, сменяющему капитализм. Закономерности, установленные Марксом по отношению к этой материальной основе, самой по себе, остаются в силе и для переходного к социализму периода.

Возьмем для иллюстрации хотя бы узкую проблему ускорения оборота производительного капитала, под которой бьется теперь наша социалистическая промышленность.

Не выходя из пределов II и III томов «Капитала», мы можем отыскать классически ясную постановку этой проблемы, и под'итожить методы ее решения, сохраняющие силу до настоящего времени.

Все замечания Маркса во II томе о времени производства, рабочем периоде и времени труда в их отношении к скорости оборота производительного капитала, вся глава о товарном запасе и в особенности о производительной его части—все это и сейчас может быть положено в основу практической политики любого директора социалистического предприятия.

Равным образом жизненно свежи замечания Маркса, касающиеся организации производственного процесса, как такового. 11, 12 и 13 главы первого тома «Капитала» и 5 глава III тома, исследующие проблемы кооперации, разделения труда, экономии постоянного капитала, машин и крупной промышленности, могут служить настольной книгой для любого работника нашей промышленности. Нужно только научиться отделять в этих замечаниях постоянную материальную основу производственного процесса от ее исчезнувшего капиталистического преломления и оформления.

По отношению к любой области социалистического строительства, внимательное изучение «Капитала», под этим углом зрения, может колоссально оплодотворить нашу практическую работу.

Задача настоящей статьи заключается, однако, не в том, чтобы перечислить все жизненное в «Капитале» с точки зрения практики социалистического строительства.

Попробуем остановиться на тех мыслях «Капитала», которые могут быть использованы для теории социалистического общества и переходного к нему периода.

Социальная структура нового общества.

Маркс в «Капитале» дает два общих определения общества (I, 614; III, 2, 348). Однако эти абстрактные определения не дают нам никакого представления о тех специфических особенностях, которые присущи тому или иному общественному строю.

Когда Маркс говорит: «Совокупность отношений, в которых носители производства находятся к природе и друг к другу, отношений, при которых они производят, эта совокупность как раз и есть общество, рассматриваемое с точки зрения его экономической структуры» (III, 2, 348), то мы еще ничего не узнаем об особенностях данного конкретного общества.

Положение становится более ясным, если мы обратимся к тому, что Маркс называл «тайной» общественного строя.

«Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям... вот в чем мы всегда раскрываем *самую глубокую тайну, сокровенную основу всего общественного строя*, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости. короче всякой данной специфической формы государства» (III, 2, 320).

Это положение дает ключ к пониманию любого общественного строя, в том числе и нашего. Сокровенная тайна общественного строя СССР заключается в том, что непосредственные производители—рабочие и крестьяне—являются в то же время и собственниками средств производства. Они непосредственно совпадают. Тем самым устраняется основное и важнейшее противоречие капиталистического строя—антагонизм между производителем и собственником средств производства: капиталистом и помещиком.

Но важен не только факт этого совпадения. «Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства производства остаются его факторами. Для того, чтобы вообще производить, они должны соединиться. *Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной структуры*» («Капитал», т. II, стр. 11—13).

Характер и способ соединения рабочих и средств производства неодинаков в СССР. Рабочие государственных фабрик и заводов работают на средствах производства, принадлежащих не им лично, а *им, как классу «ассоциированных производителей»*. Мы имеем перед собой не индивидуальную, а общественную собственность на средства производства, самый размер которых предполагает и требует общественной организации производственного процесса.

В понимании Маркса это—чисто *социалистическое* отношение. Не даром Ленин называл государственные предприятия СССР «предприятиями последовательно социалистического типа».

Только при наличии подобных предприятий, с их высоко развитыми средствами труда, возможно развитие «все в более широком масштабе кооперативной формы процесса труда, сознательное техническое применение науки, планомерная эксплоатация земли, выработка таких средств труда, которые допускают лишь совместное применение, экономизация всех средств производства, путем применения их, как средств производства комбинированного общественного труда» (I, 756).

Напротив, крестьяне советских республик трудятся на средства производства, принадлежащие им *лично*, либо на правах частной собственности, либо на правах долгосрочного пользования. «Этот способ производства предполагает раздробление земли (факт национализации земли в СССР ослабил эту тенденцию. *С. Б.*) и остальных средств производства. Он исключает как концентрацию этих последних, так и кооперацию, разделение труда внутри одного и того же производственного процесса, общественное господство над природой и общественное регули-

рование ее, свободное развитие общественных производительных сил. Он совместим лишь с узкими традиционными границами производства и общества» (I, 755).

Таким образом, в пределах СССР мы сталкиваемся с двумя по сути дела различными «эпохами социальной структуры», с двумя различными способами сочетания производителей со средствами труда.

Ни одна из этих структур не антагонистична. Но каждая глубоко отлична от другой. Их отношение друг к другу соответствует отношению синтеза к тезису в гегелевской триаде.

Отношения суверенитета и зависимости, т.-е. «данной специфической формы государства», определяются наличием и отношением этих двух социальных структур. Мы имеем в СССР, несмотря на преобладание крестьянства, рабочее государство, потому что общественные производительные силы, составляющие материальную основу, вещественный костяк общества, находятся в руках ассоциированных рабочих. Совершенно так же, как буржуазное государство—буржуазно не в силу численного преобладания буржуазии, а в силу наличия в ее руках общественных средств труда.

Индивидуальная частная собственность на средства производства, существующая в СССР рядом с коллективной, «совместима, по мнению Маркса, лишь с узкими традиционными рамками производства и общества».

Неизбежность ее исчезновения, при наличии более развитой формы, представляет одну из наиболее глубоких мыслей «Капитала».

Способ исчезновения может быть, однако, различен. Либо исчезновение происходит физически, идет по линии разложения индивидуальной собственности, при чем это разложение ускоряется соответствующей политикой господствующего государственного хозяйства. Такой путь выдвинут, как известно, тов. Преображенским («Новая экономика»). Либо это исчезновение есть результат трансформации, перехода индивидуальной частной собственности в непосредственно общественную, при помощи и при поддержке государственного хозяйства. Этот путь выдвинут т. Лениным и осуществляется нашей партией.

Собственно в пределах «Капитала» мы не найдем указаний насчет выбора того или иного пути. В рамках указанных выше положений видна лишь неизбежность руководящей роли пролетариата в переходной экономике, вытекающая из особого материального характера средств труда в государственном хозяйстве.

Но стоит обратиться к другим работам основоположников научного социализма (напр., «Крестьянский вопрос» Энгельса, новые отрывки из «18 Брюмера» и др.), чтобы тотчас же увидеть, что линия т. Преображенского ничего общего с марксизмом не имеет. Не отношения господства и подчинения, а отношения союза под руководством пролетариата—вот что рисовалось взорам Маркса и Энгельса, когда они касались вопроса взаимоотношений пролетариата и крестьянства на другой день победоносной революции.

Плановое хозяйство.

Новое общество, пришедшее на смену капитализму, имеет своей задачей прежде всего—уничтожение анархии общественного производства, свойственной капитализму.

Маркс неоднократно касается проблем планового хозяйства. Он затрагивает их в главе о товарном фетишизме, в главе о техническом и общественном разделении труда, он касается этих проблем во II и III томах.

Вспомним, например, определения робинзоновского труда, повторяющиеся, по мнению Маркса, и в социалистическом обществе, только в общественном, а не в индивидуальном масштабе.

«Несмотря на разнообразие своих производительных функций, он (Робинзон) знает, что все они суть лишь различные формы деятельности одного и того же Робинзона, следовательно, лишь различные виды человеческого труда. Под давлением необходимости он должен точно распределять свое рабочее время между различными функциями. Больше или меньше места займет в его совокупной деятельности та или другая функция, зависит от того, больше или меньше трудностей придется ему преодолеть для достижения данного полезного эффекта. Его инвентарь содержит перечисление предметов потребления, которыми он обладает, различных операций, необходимых для их производства, наконец, рабочих часов, которых ему в среднем стоит изготовление этих различных продуктов. Все отношения между Робинзоном и вещами, составляющими его самодельное богатство, настолько просты и прозрачны, что даже г. Макс Вирт сумел бы уразуметь их без особого напряжения ума. И все же в них уже замечаются все существенные о п р е д е л е н и я с т о и м о с т и» (I, 44).

Маркс еще раз возвращается к вопросу о важности о п р е д е л е н и й с т о и м о с т и для социалистического общества в III томе. «По уничтожении капиталистического способа производства, но при сохранении общественного производства о п р е д е л е н и е с т о и м о с т и попрежнему продолжает господствовать в том смысле, что регулирование рабочего времени и распределение общественного труда между различными отраслями производства, наконец, охватывающая все это бухгалтерия, становятся важнее, чем когда бы то ни было» (III, 2, 381).

Тайна стоимости заключается в ее «определениях». Закон стоимости регулирует в капитализме распределение общественного труда между различными отраслями производства. В пределах товарно-капиталистического общества это регулирование или, говоря иначе, эти «определения» стоимости выявляются совершенно стихийно. В рамках общественно-организованного производства они выступают в виде продуманного общественного п л а н а производства.

В связи с этим исключительный интерес представляют замечания Маркса о границах планового воздействия в рамках технического и общественного разделения труда.

«В мануфактуре железный закон строго определенных пропорций и отношений распределяет рабочие массы между различными функциями,—наоборот, прихотливая игра случая и произвола определяет собою распределение товаро-производителей и средств их производства между различными отраслями обще-

ственного труда... Норма, применяемая при распределении труда внутри мастерской с самого начала и планомерно, при разделении труда внутри общества, действует лишь впоследствии, как внутренняя слепая сила природы, которая подчиняет себе беспорядочный произвол товаропроизводителей и воспринимается только в виде барометрических колебаний рыночных цен» (I, 334).

В мануфактуре, т.-е. в рамках технического разделения труда внутри предприятия, железный закон строго определенных пропорций и отношений предполагается с самого начала. «Нормы» применяются здесь сразу и планомерно. Здесь—царство планового хозяйства, в противоположность анархии общественного хозяйства, покоющегося на разделении труда между независимыми производителями.

Чем уже область общественного разделения труда, чем больше пролетарское государство приближается к охвату всего общественного производства в рамках единого хозяйства, чем шире, следовательно, область технического разделения труда, в противоположность общественному, тем обширнее пределы и тем действительнее воздействие планового начала. Такой вывод из мыслей Маркса о плановом хозяйстве. Страницей дальше (I, 335) Маркс прямо говорит о том, что «всеобщая организация общественного труда превратила бы все общество в фабрику»—разумеется, социалистическую.

Этот идеальный предел всеобщего и полного господства планового начала еще очень далек для наших скромных попыток планового хозяйства. На ряду с обширной областью государственного хозяйства, которую можно рассматривать, как область, по сути дела технического разделения труда, где в большей или меньшей степени господствуют железные законы определенных пропорций и отношений, т.-е. элементы подлинного планирования, мы имеем громадную область общественного разделения труда между государственным хозяйством и бесчисленным множеством самостоятельных крестьянских хозяйств, и между этими последними в их отношении друг к другу.

В силу этого наш план покуда что не только «норма» или директива, но и «прогноз» в то же время. Он будет терять характер «прогноза» и все в большей степени превращаться в «директиву» и «норму», по мере роста технического разделения труда, за счет соответствующего сужения и, под конец, полного исчезновения общественного разделения труда.

Индустриализация.

Основой роста технического разделения труда является рост и развитие основного капитала страны, или, как ныне говорим мы,—ее индустриализация.

Учение Маркса об основном капитале представляет из себя одно из самых важных звеньев в общей системе исторического материализма.

«Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совер-

шается труд. Такую же важность, как строение останков костей, имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций» (I, 151).

Орудия труда и общие материальные условия производственного процесса (постройки, технические и транспортные сооружения и т. п.) представляют из себя тот материальный костяк, на котором формируются и которым определяются отношения людей к природе и друг к другу, т.-е. общественные отношения в целом. Развитие орудий труда и основного капитала в целом представляет из себя поэтому важнейшую и главнейшую основу исторического развития вообще.

«Та часть постоянного капитала, которую А. Смит называет основной, является истинным показателем развития производительных сил» (I, 595). Она определяет собою не только размеры оборотного капитала (II, 138), но и производительность труда в целом (III, 1, 180). В зависимости от ее развития складывается тот или иной тип производственных отношений.

С точки зрения Марксовой теории основного капитала, политика социалистического преобразования деревни, в основе своей должна сводиться к задаче вытеснения теперешних карликовых орудий труда в деревне, такими средствами труда, которые предполагают и требуют общественной организации производственного процесса.

Насыщение общественного производства высоко развитыми средствами труда, допускающими лишь совместное их применение—вот тот единственный путь, на котором может быть создана действительная материальная база социалистического общества. Принятый нашей партией курс на индустриализацию СССР, понимая под индустриализацией прежде всего создание собственной промышленности, производящей средства и орудия труда, представляется поэтому практическим приложением Марксовой теории основного капитала.

В деле создания основного капитала советская хозяйственная система, как это и предвидел Маркс, оказывается, благодаря плановости хозяйства, в неизмеримо лучших условиях, нежели капиталистическое общество.

Долгосрочные капитальные вложения, например, неизбежно сопровождаются при капитализме потрясениями денежного рынка, а за ним и всей системы хозяйства, вследствие отсутствия плана этих вложений (II, 331, 332, 453). Стоит только вспомнить историю крупнейшей области долгосрочных капитальных вложений, историю железнодорожного строительства и связанных с ним кризисов.

Кроме того, на известной ступени развития долгосрочные вложения капитала, т.-е. создание нового основного капитала, задерживается в капитализме, вследствие боязни обесценить старые капитальные вложения (II, 142, 143; III, 1, 228—231).

Развитие основного капитала,—материального костяка развития производительных сил вообще,—представляется поэтому на известной ступени развития несовместимым с бесплановым хозяйством, в силу с а м о й т е х н и ч е с к о й п р и р о д ы о с н о в н о г о к а п и т а л а.

Современное состояние средств труда и обусловленный им технический прогресс властно выдвигают, например, на первый план задачу предвидения, на которую совершенно неспособен капитализм.

«При капиталистическом производстве, с одной стороны, много средств расточается, а, с другой стороны, при постепенном расширении дела наблюдается много случаев нецелесообразного расширения в стороны (отчасти во вред рабочей силе). Причина заключается в том, что здесь ничто не совершается по общественному плану, но все находится в зависимости от бесконечно различных обстоятельств, средств и т. д., с которыми считается отдельный капиталист. Из этого вытекает огромное расточение производительных сил» (II, 145).

Иначе дело обстоит в плановом хозяйстве. Самое воспроизводство основного капитала протекает здесь под общественным контролем.

«Если устранить капиталистическую форму воспроизводства, то дело сведется к тому, что размеры отмирающей, а потому подлежащей возмещению in natura части основного капитала в различные последовательные годы изменяется. Этому можно было бы помочь лишь постоянным относительным перепроизводством: с одной стороны, производится основного капитала на известное количество больше, чем непосредственно необходимо: с другой стороны, и в особенности, запас сырого материала превосходит непосредственные годичные потребности. Такой вид перепроизводства равнозначущ контролю общества под вещественными средствами его воспроизводства. Но в капиталистическом обществе перепроизводство представляет элемент анархии» (II, 445).

Еще в большей степени это относится к созданию новых основных капиталов, требующих длительного отвлечения рабочих рук и средств производства, дающих производственный эффект лишь через некоторое время и потому влекущих за собой, в обстановке капитализма, неизбежное нарушение условий общественного воспроизводства, выражающихся прежде всего в катастрофах на денежном рынке.

«На основе общественного производства, приходится определять масштаб, в котром могут производиться такие операции, которые на долгое время отвлекают рабочую силу и средства производства, не доставляя за это время никакого продукта в виде полезного эффекта: приходится определять, в каком масштабе могут производиться эти операции, не причиняя вреда таким отраслям производства, которые постоянно или несколько раз в году не только отвлекают рабочую силу и средства производства, но и доставляют средства существования и средства производства» (II, 331).

Это замечание Маркса следовало бы наизусть выучить современным сторонникам «бешеного» темпа индустриализации. Масштаб и темп индустриализации, по мысли Маркса, совсем не произвольны. Они определяются общим состоянием общественного производства. То обстоятельство, что мы можем заранее определить масштаб и темп нашей индустриализации, какими бы скромными ни представлялись эти масштабы, это обстоятельство есть важнейший и серьезнейший результат пла-

шается труд. Такую же важность, как строение останков костей, имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций» (I, 151).

Орудия труда и общие материальные условия производственного процесса (постройки, технические и транспортные сооружения и т. п.) представляют из себя тот материальный костяк, на котором формируются и которым определяются отношения людей к природе и друг к другу, т.-е. общественные отношения в целом. Развитие орудий труда и основного капитала в целом представляет из себя поэтому важнейшую и главнейшую основу исторического развития вообще.

«Та часть постоянного капитала, которую А. Смит называет основной, является истинным показателем развития производительных сил» (I, 595). Она определяет собою не только размеры оборотного капитала (II, 138), но и производительность труда в целом (III, 1, 180). В зависимости от ее развития складывается тот или иной тип производственных отношений.

С точки зрения Марксовой теории основного капитала, политика социалистического преобразования деревни, в основе своей должна сводиться к задаче вытеснения теперешних карликовых орудий труда в деревне, такими средствами труда, которые предполагают и требуют общественной организации производственного процесса.

Насыщение общественного производства высоко развитыми средствами труда, допускающими лишь совместное их применение—вот тот единственный путь, на котором может быть создана действительная материальная база социалистического общества. Принятый нашей партией курс на индустриализацию СССР, понимая под индустриализацией прежде всего создание собственной промышленности, производящей средства и орудия труда, представляется поэтому практическим приложением Марксовой теории основного капитала.

В деле создания основного капитала советская хозяйственная система, как это и предвидел Маркс, оказывается, благодаря плановости хозяйства, в неизмеримо лучших условиях, нежели капиталистическое общество.

Долгосрочные капитальные вложения, например, неизбежно сопровождаются при капитализме потрясениями денежного рынка, а за ним и всей системы хозяйства, вследствие отсутствия плана этих вложений (II, 331, 332, 453). Стоит только вспомнить историю крупнейшей области долгосрочных капитальных вложений, историю железнодорожного строительства и связанных с ним кризисов.

Кроме того, на известной ступени развития долгосрочные вложения капитала, т.-е. создание нового основного капитала, задерживается в капитализме, вследствие боязни обесценить старые капитальные вложения (II, 142, 143; III, 1, 228—231).

Развитие основного капитала,—материального костяка развития производительных сил вообще,—представляется поэтому на известной ступени развития несовместимым с бесплановым хозяйством, в силу самой технической природы основного капитала.

Современное состояние средств труда и обусловленный им технический прогресс властно выдвигают, например, на первый план задачу предвидения, на которую совершенно неспособен капитализм.

«При капиталистическом производстве, с одной стороны, много средств расточается, а, с другой стороны, при постепенном расширении дела наблюдается много случаев нецелесообразного расширения в стороны (отчасти во вред рабочей силе). Причина заключается в том, что здесь ничто не совершается по общественному плану, но все находится в зависимости от бесконечно различных обстоятельств, средств и т. д., с которыми считается отдельный капиталист. Из этого вытекает огромное расточение производительных сил» (II, 145).

Иначе дело обстоит в плановом хозяйстве. Самое воспроизводство основного капитала протекает здесь под общественным контролем.

«Если устранить капиталистическую форму воспроизводства, то дело сведется к тому, что размеры отмирающей, а потому подлежащей возмещению in natura части основного капитала в различные последовательные годы изменяется. Этому можно было бы помочь лишь постоянным относительным перепроизводством: с одной стороны, производится основного капитала на известное количество больше, чем непосредственно необходимо: с другой стороны, и в особенности, запас сырого материала превосходит непосредственные годичные потребности. Такой вид перепроизводства равнозначущ контролю общества под вещественными средствами его воспроизводства. Но в капиталистическом обществе перепроизводство представляет элемент анархии» (II, 445).

Еще в большей степени это относится к созданию новых основных капиталов, требующих длительного отвлечения рабочих рук и средств производства, дающих производственный эффект лишь через некоторое время и потому влекущих за собой, в обстановке капитализма, неизбежное нарушение условий общественного воспроизводства, выражающихся прежде всего в катастрофах на денежном рынке.

«На основе общественного производства, приходится определять масштаб, в котром могут производиться такие операции, которые на долгое время отвлекают рабочую силу и средства производства, не доставляя за это время никакого продукта в виде полезного эффекта: приходится определять, в каком масштабе могут производиться эти операции, не причиняя вреда таким отраслям производства, которые постоянно или несколько раз в году не только отвлекают рабочую силу и средства производства, но и доставляют средства существования и средства производства» (II, 331).

Это замечание Маркса следовало бы наизусть выучить современным сторонникам «бешеного» темпа индустриализации. Масштаб и темп индустриализации, по мысли Маркса, совсем не произвольны. Они определяются общим состоянием общественного производства. То обстоятельство, что мы можем заранее определить масштаб и темп нашей индустриализации, какими бы скромными ни представлялись эти масштабы, это обстоятельство есть важнейший и серьезнейший результат пла-

новости нашего хозяйства, определяющего размер новых капитальных вложений в соответствии с общими ресурсами советского хозяйства. Напротив, лозунг «индустриализации во что бы то ни стало», выдвигаемый современной оппозицией, при всей его внешней революционности, представляет из себя, по сути дела, лозунг возврата от общественного контроля над производством к анархии капиталистической системы производства, которая спорадически охватывалась и охватывается горячкой «индустриализации во что бы то ни стало».

Только сообразуя новые капитальные вложения с общественными ресурсами, трезво контролируя воспроизводство материальных условий общественного производства, советская система хозяйства окажется в состоянии действительно серьезно подвинуть вперед дело количественного расширения основного капитала, влекущее за собой качественное изменение всей социальной структуры Советского Союза, превращение его в первое социалистическое государство мира.

Рационализация.

Проблему индустриализации можно рассматривать, как проблему рационализации общественного хозяйства в целом. Мы уже видели, что «Капитал» Маркса может дать очень многое для теоретического обоснования важнейших направлений экономической политики СССР. Не меньшее значение имеет изучение «Капитала» под углом интересующих нас сейчас проблем в рационализации отдельных предприятий, входящих звеньями в социалистическую систему хозяйства.

Величайшей заслугой «Капитала» было то, что «Капитал» разрушил легенду о неразрывной связи технического прогресса с капиталистической формой производства.

Напротив. Неизменно подчеркивая колоссальную роль капитализма в развитии производительных сил, Маркс беззалостно и до конца вскрывал капиталистические противоречия в этой области.

Капиталистическому производству имманентно присуща тенденция развивать технику (I, 296). Но пределы реализации этой тенденции ограничены узкими рамками капиталистических отношений. Капиталист вводит машины, например, лишь при том условии, что их стоимость ниже стоимости вытесненной машиной рабочей силы (I, 371, 372). Препятствуя тем самым развитию производительности труда, капитализм «снова доказывает, что он все более дряхлеет и все более переживает себя» (III, 1, 244). «Капиталистический способ производства по самому своему существу за известной границей исключает всякое рациональное улучшение» (I, 463).

Попробуем вскрыть те причины, которые делают развитие производительных сил «имманентной» тенденцией капитализма.

«Капиталу, писал Маркс, присуща двоякая тенденция: с одной стороны, тенденция при непосредственном применении живого труда сводить его к труду необходимому и постоянно сокращать труд, необходимый для изготовления продукта, эксплоатируя для этой цели общественные производительные силы труда, следовательно, возможно более экономизиро-

вать непосредственно применяемый живой труд, с другой стороны, тенденция—этот сведенный к необходимым размерам, труд, применять при возможно более экономных условиях, т.-е. сводить стоимость применяемого к делу постоянного капитала и возможному минимуму» (III, 1, 61).

Эти прогрессивные тенденции капитализма, данные здесь в наиболее общей формулировке, по мнению буржуазных экономистов, своей первопричиной имеют погоню капиталиста за прибылью. Однако нет ничего более ошибочного, чем это сведение технического прогресса в капитализме к жажде прибавочного труда. Погоня за прибылью, как внешний определяющий мотив, действительно влечет за собой при известных условиях изменения в технике. Но в этом отношении она ничем не отличается от любого другого определяющего мотива, например, от сознательно поставленной перед директором социалистической фабрики задачи рационализации производства. Дело не в мотиве, а в материальных предпосылках прогрессивной реализации его.

Капитализм не потому прогрессивен, что капиталист гонится за прибылью. Громадная роль капитализма в развитии производительных сил об'ясняется тем, что капитализм есть первая историческая форма, при которой общественная организация производственного процесса становится правилом и жизненной необходимостью.

Общественная комбинация производственного процесса, независимо от того, имеем ли мы дело с развивающейся взаимозависимостью отдельных отраслей производства или с растущими размерами комбинированного общественного труда в пределах отдельного предприятия—вызывает к жизни новый дополнительный фактор технического прогресса, производительную силу общественного труда. Этот фактор, играющий решающую роль в техническом прогрессе (как для появления новых орудий труда, так и для совершенствования старых и для экономики всех материальных условий производственного процесса) кажется поверхностному взгляду присущим капитализму, как таковому, в то время, как в действительности он представляет из себя лишь естественный и неизбежный результат крупного производства и кооперации (см. 5 гл. III тома, 11 и 13 гл. I тома).

«Крупная промышленность разорвала завесу, которая скрывала от людей их собственный общественный процесс производства и превращала различные стихийно обособившиеся отрасли производства в загадки одна по отношению к другой и даже для посвященного в каждую отрасль. Принцип крупной промышленности: всякий процесс производства, взятый сам по себе, и прежде всего безотносительно к руке человека, разлагать на его составные элементы, создал всю современную науку технологии. Пестрые, лишенные, повидимому, внутренней связности и застывшие формы общественного производства разложились на сознательно планомерные, систематически расчлененные, в зависимости от желательного полезного эффекта, применения естествознания» (I, 467).

Вся современная техника, вся современная наука, техническая рационализация производственного процесса и так называемая «научная организация труда» рождены не капитализмом, как

таковым, а крупным производством, тем, что при капитализме труд начал впервые применяться, как правило, лишь в общественном сочетании.

Присваивая результаты общественной производительной силы труда, возникающий с силой естественного закона из факта крупного производства и общественной комбинации производственных элементов, капитализм укрепляет иллюзию, что эта новая производительная сила присуща ему, как таковому (III, 1, 58, 59).

Эта иллюзия отпадает с переходом к общественному контролю над производством. Те стимулы технического прогресса, которые казались прирожденным свойством капитала, выступают теперь, как прямое следствие общественного характера трудового процесса, организации его в крупном масштабе.

Освобожденное от специфических ограничений и пут капиталистической системы, развитие производительных сил в системе планового хозяйства развертывает безграничные по сути дела перспективы.

Все факторы развития производительности труда: 1) средняя степень искусства рабочего, 2) уровень развития науки и ее технических применений, 3) общественная организация производственного процесса, 4) размеры и дееспособность средств производства и 5), наконец, природные условия (I, 6) оказываются в наиболее благоприятном положении именно в системе планового хозяйства пролетариата.

Растет прежде всего средняя степень искусства рабочего и его общее развитие под действием мощно развитой системы рабочего и профессионального образования и под влиянием сокращения рабочего дня.

Растет число деятелей науки и научных учреждений, связанных с производством. Освобожденная от обязанности прислуживать капиталу, наука свободно развивает скрытые в ней могучие потенции.

Общественная организация производственного процесса достигает гигантских масштабов, охватывая собою всю громадную область государственного хозяйства.

Прогрессивно растут размеры и дееспособность применяемых в производстве орудий труда, при чем этот процесс ускоряется сознательной политикой индустриализации, проводимой пролетариатом.

Сами природные условия, освобожденные от узких рамок частной собственности на землю, становятся неразрывной составной частью общественной системы хозяйства, беспрепятственно развертывая заложенные в них возможности в соответствии с общим планом производства.

Наконец, поднятие производительной силы труда, сознательно ставится важнейшей задачей всей системы социалистической промышленности. Все это, по совокупности, обеспечивает мощное развитие материальных условий общественного воспроизводства.

Рабочий и социалистическая фабрика.

Важнейшим препятствием для развития общественных производительных сил при капитализме является безразличное и

прямо враждебное отношение рабочего к развитию производительности труда.

Причины этого совершенно ясны. «Капиталистическое производство, если мы будем рассматривать его обособленно, отвлекаясь от процесса обращения и опустошений конкуренции, обращается крайне бережно с трудом, уже осуществленным, воплощенным в товарах. Напротив, оно в несравненно большей степени, чем всякий другой способ производства, является расточителем людей. живого труда, расточителем не только тела и крови, но и нервов и мозга. И в самом деле только благодаря колоссальному расточению индивидуального развития обеспечивается и осуществляется развитие человечества в эту историческую эпоху. непосредственно предшествующую сознательному переустройству человеческого общества» (III, 1, 63).

Величайшее средство господства над природой—машина становится при капитализме средством господства над рабочим и рабочий превращается в простой живой придаток частичной машины.

Общественно производительные силы труда, это величайшее следствие общественной комбинации производственного процесса, кажется при капитализме силой, возникающей за спиной рабочего, присущей капиталу, враждебной рабочему.

Духовные потенции производства, научное осознание производственного процесса обособляются от рабочего, противостоят ему в виде капиталистической науки, как враждебная и чуждая ему сила.

Функции управления, неизбежные при общественном производстве, превращаются в руках капиталиста в функции эксплоатации рабочего.

Все силы, скрытые в общественном труде, обращаются при капитализме против рабочего, становятся силами его эксплоатации.

Устранение капиталистического способа производства радикально меняет картину, а вместе с ней и отношение рабочего к социалистической фабрике.

Машина перестает быть средством удлинения рабочего дня и подавления индивидуальности рабочего. В условиях контролируемого общественного производства, покоящегося на применении машин, сбывается мечта Маркса о системе воспитания будущего, «которая для всех детей с известного возраста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, при чем это будет не только методом повышения общественного производства, но и единственным методом создания всесторонне развитых людей» (I, 465). Наши фабзавучи представляют из себя реализацию этой мечты. Сокращение рабочего дня, материальной основой которого является машинное производство, открывает взрослому рабочему возможность гармоничного развития своей личности. «При данной интенсивности и производительной силе труда часть общественного рабочего дня, необходимая для материального производства, тем короче,—следовательно, время, остающееся для свободной умственной и общественной деятельности индивидума, тем больше, чем равномернее распределен труд между всеми дееспособными членами общества, чем меньше возможности для одного общественного слоя сбросить с себя

и возложить на другой общественный слой естественную необходимость труда» (I, 511). Разветвленная система школьного и внешкольного образования приходит рабочему на помощь. Наконец, воспитательная роль машины, сводящаяся к тому, что машина «стирает индивидуальные границы и развивает родовые потенции» (I, 306), в силу растущих размеров общественного производства, прогрессивно увеличивающегося применения машин и укрепления рабочих организаций, возникающих на базе машинного производства—выступает более ярко, чем когда бы то ни было, постепенно меняя психический облик рабочего.

Из средства порабощения рабочего, машина возвращается к своей внутренней роли—быть средством господства освобожденного человечества над природой.

Общественно производительная сила труда, освобожденная от связи с личностью капиталиста, развивает мощные потенции, в ней заложенные. Коллективная собственность рабочих на средства производства, роднит рабочего с техническим прогрессом, возникающим из факта кооперации. Громадное развитие, какое получили в наши дни производственные совещания рабочих,—находят для общественно производительной силы труда адэкватное общественное выражение. Свободный коллектив рабочих, сознательно развивающий производительную силу, вытекающую из факта коллективного производства—таково то чисто социалистистическое отношение, которое приходит теперь на смену прежней отчужденности рабочего от результатов производительной силы общественного труда.

Эти возможности производства не противостоят более рабочему, как враждебная сила. Рабочее государство, как верховное выражение коллектива ассоциированных производителей, свободно ассимилирует весь аппарат науки, спуская его с абстрактных высот на службу общественному производству—естественному полю приложения научного мышления. Эту тенденцию дополняет другая. Десятки и сотни тысяч рабочих, через систему специальных школ, поднимаются до уровня действительно научного образования и довершают дело демократизации науки.

Наконец, функция управления общественным производственным процессом совершенно освобождается от чуждых ей элементов эксплоатации. Коллектив рабочих через способнейших своих членов сам управляет своим производственным процессом.

В связи с этим встает целый ряд вопросов, недостаточно уясненных до настоящего времени и все же ясных для Маркса.

Прежде всего вопрос о праве рабочего, в условиях новой системы, на полный продукт его труда. Основой этого лозунга является теоретическая ошибка Рикардо, считавшего, что рабочий продает свой труд, а не рабочую силу. Практическим приложением этой неверной теории был лозунг «права рабочего на полный продукт его труда», выдвинутый Готской программой. И против теоретической ошибки и против предложений Готской программы Маркс в свое время выступил с резкой критикой. В «Капитале» Маркс также останавливается неоднократно на необходимости добавочного труда в любом обществе, в том числе и социалистическом. Создание страхового фонда, фонда накопления и фонда содержания нетрудоспособных членов общества—

вот что определяет границы этого неизбежного добавочного труда (III, 2, 348,349, 376, 377).

Но в характере образования этих фондов при социализме—громадная разница с капитализмом.

«Сведем заработную плату к ее общей основе, т.-е. к той части продукта собственного труда, которая входит в личное потребление рабочего, освободим эту долю от капиталистических ограничений и расширим размеры потребления до тех пределов, которые, с одной стороны, допускаются наличной производительной силой общества (т.-е. общественно производительной силой собственного труда, как действительно общественного), которых, с другой стороны, требует развитие индивидуальности; сведем далее прибавочный труд и прибавочный продукт к тем размерам, которые при данных общественно производственных условиях необходимы, с одной сторны, для образования страхового и резервного фонда, с другой стороны, для непрерывного расширения воспроизводства сообразно общественной потребности; присоединим, наконец, к необходимому и прибавочному труду то количество труда, которое работоспособные члены общества должны затратить в пользу еще или уже неработоспособных его членов. Произведя эти операции, мы действительно устраним все специфически капиталистические черты как в заработной плате, так и в прибавочной стоимости, как в необходимом, так и в прибавочном труде и перед нами окажутся уже не эти формы, но лишь их основы, общие всем общественным способам производства». (III, 2,246).

Следовательно, даже при сохранении внешних форм заработной платы необходимого и прибавочного труда, их внутреннее существо будет при социализме принципиально отличным, выражая лишь отношения естественной необходимости, присущие общественному способу производства, как таковому.

Однако, Маркс идет дальше. Он устраняет самое понятие прибавочного труда для социалистического общества и переходного к нему периода. «Абсолютная минимальная граница рабочего дня определяется вообще его необходимой хотя и сократимой составной частью. Если бы к этой последней свелся весь рабочий день, то исчез бы прибавочный труд, что невозможно при режиме капитала. Устранение капиталистического способа производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом. При этом, однако, при прочих равных условиях, необходимый труд должен расширить свои рамки. С одной стороны, условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны вырасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного запасного фонда и фонда накопления» (1,510).

Итак весь труд рабочего, при устранении капиталистического способа производства оказывается необходимым. Тем самым устраняется самое представление об эксплоатации.

Остается лишь вопрос о границах этого необходимого труда. И здесь Маркс раскрывает перед новым обществом необ'ятные перспективы.

«Царство свободы,—пишет он,—начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону собственно материального производства. Как дикарь, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный и он должен делать это во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С его развитием расширяется это царство естественной необходимости, потому что его потребности расширяются, но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что социализированный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы напротив, он, как слепая сила, господствовал над ними, в том, что они совершают его с наименьшей затратой силы и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы. Но тем не менее, это все остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческой силы, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвесть лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня—основное условие» (III, 2,249).

* * *

Мы затронули лишь часть идей «Капитала», относящихся к прогнозам нового общества. В нашу задачу не входил подробный анализ всего того, что в этом отношении дает «Капитал». Но и из сказанного с очевидностью вытекает, что гениальная работа Маркса дает бесконечно много не только для практики социалистического строительства, но и для понимания его важнейших и существеннейших особенностей.

Таким образом дело в этой практически наиболее далекой для Маркса области социалистических отношений, «Капитал» был и останется неисчерпаемым источником и возбудителем теоретической и практической мысли.

Теория революции австрийской „левой" социал.-демократии.

Н. Рубинштейн.

Предпосылки социалистической революции.

Левые австро-марксисты в своем анализе проблемы социалистической революции стремились провести грань между собой и правыми. Судя по декларативным заявлениям левых, взгляды их принципиально отличались от взглядов правых в главнейших вопросах—в вопросе о степени зрелости капиталистического общества для перестройки его в общество социалистическое, о путях этой перестройки—теории врастания у правых и теории социалистической революции у левых, т.-е. вопросах, которые непосредственно упираются в проблему демократии и диктатуры.

Эти основные вопросы и должны подлежать нашему рассмотрению. Анализ взглядов левых должен выяснить, существуют ли принципиальные расхождения между левой и правой социал-демократией в постановке и разрешении проблемы социалистической революции. Выдвигая проблему социалистической революции, «левые» австро-марксисты как будто бы не сомневались в том, что преобразование капиталистического общества в социалистическое стоит в порядке дня.

«Разве мы ниспровергли всемогущество императора для того, чтобы остаться подчиненными всемогуществу капитализма? Разве мы сбросили господство бюрократов, феодалов, чтобы остаться слугами директоров банков, трестовиков и рыцарей биржи? Так спрашивают рабочие массы»,—писал в 1919 г. Отто Бауэр. Ответ идеолога австрийской социал-демократии, казалось бы, не допускал сомнений. Отмечая, что на обедневшее население послевоенной Средней Европы тяжелым гнетом лягут налоги, и что трудящиеся массы не смогут возложить на себя дополнительное бремя содержания капиталистов, Бауэр заявлял: «Из нашей хозяйственной нужды возможен только один выход—социализм» [1]).

Если других выходов из того тупика, в который завела человечество война, Бауэр не видел, то, очевидно, этим самым молча предполагалось наличие соответствующих экономических и социально-политических предпосылок для социализма. Действительно, другой «левый» австро-марксист, Гильфердинг, безоговорочно подтверждал по отношению к Германии зрелость экономического базиса. «...Экономические условия в Германии,—говорил Гильфердинг, ссылаясь на выводы, которые были им сделаны в «Финансовом капитале»,—созрели для социализма, это понимание

---

[1]) Otto Bauer, Der Weg zum Sozialismus, Wien 1919, S. 2, 3.

со всей решительностью непрерывно представлено мной и моими товарищами. Это я хочу еще раз твердо установить также и против некоторых смягчающих мнений, которые кое-когда представлял Каутский» [1]).

Но заявления Бауэра и Гильфердинга, более или менее категорические по форме, далеко не были столь решительными по существу. И когда речь заходила не о возможности социалистической революции, а о ее неизбежности, то оказывалось, что «левые» австро-марксисты несколько своеобразно трактовали об'ективные предпосылки революции.

Социалистическая революция не представлялась Бауэру и Гильфердингу закономерным следствием империализма и империалистической войны. Да иного понимания и не могло быть у людей, которые видели в империализме не последний этап капитализма, открывающий эпоху империалистических войн и социалистических революций, а лишь политику финансового капитала (Гильфердинг), преобразование анархического капитализма в капитализм «организованный», «коллективистический» (Бауэр) [2]).

«Левый» Ледерер об'яснял войну не противоречиями империализма, а вмешательством «феодальных антикапиталистических сил» [3]). Наконец, Бауэр, который в 1919 г. уклонялся от четкого ответа на вопрос о характере войны, в 1923 г. смело заявил, что «победа западных держав над центральными была победой буржуазной демократии над олигархическими военными монархиями. В мировой истории это была величайшая самая кровавая буржуазная революция» [4]).

Анализ империализма и империалистической войны 1914—1918 гг. заменялся декламацией на тему о социалистической революции, декламацией, которая ловко избегала упоминаний о зрелости капитализма и необходимости революционного разрыва производственных отношений. Бауэр писал о том, что «половинчатая революция пробуждает волю к целой революции» [5]).

Гильфердинг переносил вопрос о возможности новой эпохи процветания капитализма в плоскость выгодности или невыгодности периода процветания для пролетариата. «...Новая эпоха процветания,—говорит Гильфердинг,—в некотором отношении была бы выгодна для пролетариата и для проведения социализма, но она означала бы предварительное восстановление капитализма. Мы все знаем, что такое восстановление капитализма повлияло бы на психическую конституцию пролетариата не в революционном, а в реформистском смысле. Поэтому мы придерживаемся того мнения, что кризис капитализма, тяжелое экономическое расстройство должно быть использовано пролетариатом, потому что социально-психологи-

---

[1]) Protokoll der Verhandlungen des ausserordentlichen Parteitages in Halle, Berlin 1920, S. 182.

[2]) Der lebendige Marxismus, Jena 1924: O. Bauer, Das Weltbild des Kapitalismus.

[3]) «Der Kampf» 1919, H. 24: Lederer, Internationalismus und Bolschevismus.

[4]) Бауэр, Австрийская революция, стр. 107, Гиз, 1925.

[5]) Bauer, Der Weg zum Sozialismus, S. 2.

ческие условия во время этого кризиса более благоприятны» [1]).

«Воля к социалистической революции», использование «социально-психологической ситуации—все эти суб'ективные факторы, выдвинутые на первый план, открывали возможность расправиться с об'ективными предпосылками социалистической революции.

Любое ослабление «волевого импульса» к революции или ухудшение социально-психологической обстановки предоставляло бы левым возможность снять вопрос о революции с порядка дня.

Таким образом, заявления Гильфердинга и Бауэра о зрелости капитализма оказываются при ближайшем рассмотрении бессодержательными декларациями. Если в этом вопросе и есть какое-либо расхождение между «левыми» и правыми с.-д., то оно заключается только в том, что левые уклонялись от прямого ответа и топили об'ективную неизбежность революции в рассуждениях о ее желательности.

Но как представляли себе «левые» переход от капиталистического общества к социалистическому. Бауэр горячо высказывался против «иллюзий тупоголового вчерашнего или позавчерашнего ревизионизма или реформизма, который думал, что общество может мирно «врасти» в социализм без того, чтобы вообще для этого нужна была насильственная революция. Это было заблуждением, потому что социальная революция предполагает завоевание политической власти пролетариатом, а пролетариат не мог и не может завоевать государственную власть иначе, как революционными средствами [2]).

Но и в данном случае социалистическая революция, так решительно провозглашенная Бауэром, ставится под большое сомнение специальной теорией австрийского изобретения, так называемой «теорией непрерывности».

«Пролетарская революция,—утверждал тот же Бауэр,—должна прежде всего обеспечить непрерывность общественного производства и процесса обращения и избежать всякого перерыва в общественном обмене материалами» [3]).

Стоило лишь принять этот тезис, чтобы согласиться и с теми логическими выводами из теории непрерывности, которые делались «левыми».

Одним из первых таких следствий является важнейшее ограничительное условие, которое левые ставят социалистической революции. «Пролетарская революция,—утверждает Бауэр,—прежде всего не должна разрывать интернациональные хозяйственные отношения» [4]). Это условие, по мнению Бауэра, в несколько меньшей степени относится к аграрным странам, для которых импорт средств потребления не имеет большого значения, но зато обязательно в применении к странам индустриальным.

Необходимость сохранить в неприкосновенности международные экономические отношения предполагает обязательную равномерность капиталистического развития, а следовательно, и одно-

[1]) Протоколы партейтага в Галле, S. 182.
[2]) Bauer, Der Weg zum Sozialismus, S. 5.
[3]) Bauer, Bolschevismus oder Sozialdemokratie, Wien 1924, S. 84.
[4]) Ibid., S. 81.

временность социалистической революции во всех странах. Поэтому победа социализма в одной стране немыслима с точки зрения «левых» с.-д.

«Социализм,—писал Бауэр,—может победить только одновременно во всей Средней Европе; он не может победить в отдельных средне-европейских мелких государствах» [1]).

Эту же мысль еще детальнее развил Эмиль Ледерер, утверждавший, что—«Война не только разрушила интернациональное действие, но также условия, при которых национальное действие может принять интернациональные размеры... В самом деле, социализация посреди капиталистического мира—это политическая проблема, и не только проблема внутренней классовой политики, но, в еще большей мере,—внешней политики, потому что социализм на национальном базисе в капиталистическом мире появляется не как зрелый плод экономического развития, но как произвольная цель класса, который постулирует общество».

Отсюда Ледерер, ополчавшийся против большевизма, который, по его мнению, «в своем существе есть устранение непрерывности хозяйственной жизни», делал тот вывод, что «социализм, который подобным образом приходит к жизни, должен опираться на насилие» [2]).

Точно так же против возможности осуществления социализма, применительно к Австрии, высказывался Макс Адлер, доказывая, что «освобождение пролетариата может быть только интернациональным, т.-е. только как мировая революция может политическая революция стать социальной» [3]).

Это утверждение Адлера не является повторением марксистского положения о подготовке социализма в мировом масштабе. Нет, оно, по мысли Адлера, опирается на невозможность осуществить социализм в стране, которая целиком зависит от ввоза извне.

Но война не только разорвала интернациональные экономические связи; она нарушила процесс производства внутри хозяйственного организма отдельной страны. Бауэр откровенно заявлял, что необходимой предпосылкой социалистической революции должно быть улучшение послевоенной экономической кон'юнктуры. Необходимо предварительно установить мир, затем вернуться к свободному ввозу продуктов потребления и сырья; следует пустить в ход машины, начать работать, с тем, чтобы не быть зависимыми от милости победителя и строить свои общественные отношения, согласно собственной воле. Это, в свою очередь, предполагает возврат рабочих к производству—задача чрезвычайно трудная в послевоенных условиях.

«Война,—писал Бауэр,—отучила широкие массы от работы. В окопах и на этапах они разучились трудиться. Теперь они смогли бы лишь постепенно привыкнуть к вечной монотонности фабрики, лишь постепенно вновь укрепить душевную силу для продолжительной интенсивной работы. Война потрясла также

[1]) «Der Kampf» 1920 H. tt. S. 253, 254.
[2]) «Der Kampf» 1919, № 24, S. 598.
[3]) «Der Kampf» 1919, № 33, S. 746.

дисциплину масс, их доверие к организации. А ведь дело идет не только о возврате масс к работе, но о повышении производительности труда. В 1902 г. Каутский предполагал для этой цели концентрацию производства в технически усовершенствованных предприятиях при закрытии мало усовершенствованных. Но этот метод сейчас не применим. Он предполагает быстрое обновление строений и машин технически усовершенствованных предприятий и постройку новых жилищ для концентрируемых в этих предприятиях рабочих масс. К сожалению, все это вследствие недостатка угля сейчас невозможно».

Вывод для Бауэра ясен: «...нынешнее время особенно неблагоприятно для социализации» [1]).

Защитники «теории непрерывности дополняли свои положения доводами от социально-психологической обстановки, т.-е. апеллировали к тем суб'ективным факторам, которые при выяснении вопроса о зрелости» оказывались в понимании левых основными предпосылками социалистической революции.

«Трагедия в том,—писал Макс Адлер,—что социализм призывается к власти разгромом капиталистических держав в тот момент, когда он не может правильно осуществить своих идеальных задач» [2]).

Пролетарии надеялись на то, что социализм придет как строй обогащающий, приносящий счастье народу. В этом заключался весь смысл раз'яснительной работы социал-демократов. Но теперь, если социалистическая революция придет сразу после войны, пролетариат постигнет жестокое разочарование. Социализм будет осуществлять «не разделение богатства, а разделение нужды». В этом же духе высказывался и «герой» австрийской социал-демократии, Фридрих Адлер. «Мы всегда отрицали «военный социализм» хлебной карточки, как попытку неуклюжего (plumpen) обмана, заявлял он. Потому что настоящий социализм гарантирует минимум существования и обеспечивает его под'ем. И гораздо хуже, чем с военным социализмом должно в том отношении обстоят дело с социализмом поражения» [3]).

Нетрудно заметить, что исходным пунктом рассуждений Макса Адлера, Фридриха Адлера и Бауэра является укрепление капитализма. В самом деле. Ведь только в том случае, если капитализм оправляется от потрясений, возможно восстановление международных экономических связей на прежней, капиталистической основе, восстановление производственной дисциплины на капиталистических предприятиях, восстановление доверия рабочих масс к капиталистической организации, т.-е. тех факторов, об отсутствии которых сетовал Бауэр.

Больше того, утопические мечтания о независимости слабого государства от сильного предполагают не только относительно «здоровое» состояние капиталистического общества, но и иную формацию капитализма—тот «организованный» и «коллективистический» капитализм, который рисовался «левому» Бауэру и который так сходен с ультра-империализмом «центриста» Каутского.

---

[1]) Bauer, Der Weg zum Sozialismus, S. 30. См. также «Der Kampf» 1919, H. 28, S. 664, 665.

[2]) «Der Kampf» 1919, H. 5, S. 253.

[3]) «Der Kampf» 1919, H. 5, S. 243.

И, наоборот, симптомом разложения капитализма является империалистическая война, порабощение слабых государств сильными—и как фактор «надстроечного» порядка—падение производственной дисциплины и «доверия» рабочих к капиталистической организации. Таким образом, по мнению австрийских с.-д., непременным условием социалистической революции является налаженность капиталистического хозяйства. Или—социалистическая революция предполагает... отсутствие предпосылок социалистической революции—предпосылок об'ективных (распада капиталистического хозяйства) и суб'ективных (напр., подрыв «доверия» рабочих к капиталистам). Все построение Бауэра и К°, торжественно заявлявших о том, что из нужды нет иного выхода кроме социализма, оказывается nonsens'ом. Принятие теории «непрерывности» хозяйственного процесса, единовременности революции и ее обусловленности укреплением капиталистического хозяйства—все это означает хитроумно прикрытый отказ от социалистической революции.

Не требуется большого труда, чтобы разгадать в теории непрерывности исправленное издание теории врастания. В самом деле непрерывность экономического процесса при переходе от капиталистического строя к социалистическому мыслима лишь тогда, когда пришествие социализма отождествляют, по словам Ленина, с приходом поезда на станцию. Кондуктор открывает дверцы вагонов и кричит «Alle aussteigen!». Но если под социалистической революцией понимать разрыв про[illegible]венных отношений, а так определяли ее Маркс и Энге[illegible] для теории непрерывности не остается места.

Но чтобы обеспечить теории непрерывност[illegible] уст[illegible]чивость, «левые» вынуждены были изобрести [illegible] нение явления, которое, очевидно, противор[illegible] теория непрерывности,—«левые» должны были об'яснить действительную революцию, которая возникла, вопреки построениям Бауэра и Адлера, в результате войны 1914—1917 гг., в результате кризиса капитализма и развивалась, несмотря на разрыв интернациональных экономических связей и наличие неблагоприятной экономической кон'юнктуры во всем мире.

Между теорией непрерывности и трактовкой революции 1917—1918 гг. как социалистической революции нужно было выбирать. Принять теорию непрерывности—значило отрицать социалистический характер Октябрьской революции 1917 г. в России, революции 1918 г.—в Германии и Австро-Венгрии.

В 1919 г. Бауэр, набрасывая картину послевоенных отношений, указывал на «чудовищный рост силы обоих англо-саксонских государств»—Британской империи и Соединенных Штатов Северной Америки, как на «самый исключительный факт нового мирового порядка, который является результатом войны. Мир, по мнению Бауэра, разделен на две части. На одной стороне находятся побежденные в мировой войне страны,—напр., Россия, Австрия, Германия и те государства, для которых, как для Франции и Италии, победа, в силу дезорганизации их хозяйственного организма, оказалась, в сущности говоря, пирровой победой. На другой стороне—Великобритания, освободившаяся после войны от двух опасных конкурентов—Германии и России,—и Америка, развившая свое хозяйство и ставшая из должника

Европы ее кредитором. Каковы же последствия этой новой конфигурации сил для социалистической революции? «Победа англосаксонских стран в мировой войне,—отвечает Бауэр,—будет иметь своим следствием то, что центр тяжести интернационального рабочего движения будет перенесен с европейского континента в Англию и Америку. Англия и Америка будут господствовать над мировым хозяйством; образ хозяйственной жизни, и этим самым образ общественной конституции будут решены Англией и Америкой. Не в побежденных странах, не в России, Венгрии, Германии будет иметь место классовая борьба, решающая для будущего общественного порядка, но в странах, которые впредь образуют мировое господство, мировое хозяйство,—в Великобритании и Америке» [1]).

«...Наш взгляд,—утверждает Бауэр,—не должен быть связан драматическим ходом восточных революций и прикован к одному только востоку... мы должны в гораздо большей степени, чем мы это делали в последние годы под мощным впечатлением русской революции—смотреть на запад, туда, где капитализм достиг своей высшей ступени развития, где теперь в гораздо большей степени, чем где-либо сконцентрирована хозяйственная и политическая мощь капитала и где поэтому, быть может, в менее драматических, быть может, в менее приятных для нашего воображения, быть может, в менее удовлетворяющих наше нетерпение, но от этого в не менее сильных боях будет окончательно решена участь капиталистического государства» [2]).

Поэтической картине Бауэра нельзя отказать в известной доле верности. Предвидеть в 1919 г. англо-американскую ориентацию II Интернационала 1925—1926 гг.—для этого нужно было обладать очень тонким ревизионистским чутьем. Что же касается экономики и политики, то здесь Бауэр оказался не столь хорошим пророком. Укрепление Советского Союза и китайская революция говорят о том, что Бауэр поторопился отвратить взоры от Востока. С другой стороны, английский и американский капитализм, противоречия которого так тщательно устранял Бауэр в своем живописном описании, не только не пережил «бурной индустриальной кон'юнктуры», предсказанной Бауэром, но продолжает подвергаться различным тяжелым испытаниям, вроде английской стачки.

Но нас сейчас интересует не степень об'ективной достоверности Бауэровского эскиза, а, так сказать, его целевая установка. Установка же эта состояла в том, чтобы доказать, что революция в России и в странах Западной Европы ничего общего не имеет с социалистической революцией. Хитроумно возведенный фасад капитализма, в Англии и Америке, т.-е. в единственных странах, в которых, с одной стороны, «будет окончательно решена участь капиталистического государства», а, с другой стороны,—именно потому, что война не разрушила, а увеличила их капиталы—«там отсутствуют все элементы революции русского или немецкого стиля» [3]), этот фасад должен был скрыть философию революции, как голодного солдатского бунта в стра-

---

[1]) Weltrevolution («Sozialistische Bücherei», H. 11), Wien 1919, S. 2, 4.
[2]) Там же, стр. 4.
[3]) Там же, стр 7.

нах, которые потерпели поражение в империалистической войне. «Революция в России, Германии и Австро-Венгрии,—писал Бауэр,—была следствием поражения, следствием распада и самороспущения «деморализованных поражением армий. Нетерпение солдат, желавших возвратиться на родину, их надежда на то, что революция закончит войну, привели в России к власти большевиков, в Германии и Австро-Венгрии—к крушению военных монархий. Из воли побежденных, бегущих назад армий, окончить войну, возникла революция в Восточной и Средней Европе; вероятно ли, чтобы подобная революция произошла в странах, армии которых победили и после войны могут быть демобилизованы в планомерном порядке» [1]). Итак, единственными об'ективными предпосылками социалистической революции оказывались... трудности демобилизации, голод, безработица.

Бауэр, правда, вводил в свое построение и социалистическую революцию, даже в странах-победительницах. Он отмечал, что процесс разрушения производительных сил и параллельно усиления классовых противоречий, может быть, [illegible] связи с высокой кон'юнктурой, но в далеком будущем катастрофа угрожает, напр., Англии, против которой подым[illegible] ские страны. Но все это мыслилось Бауэром лишь в отдаленной перспективе и упоминание об этой «подлинной» социалистической революции не являлось логическим следствием [illegible] Бауэра и было прибавлено, так сказать, для соблюдения революционных аппарансов.

Впрочем, и эта будущая революция, к[illegible] должна была совершиться в полном согласии с требованиями теории непрерывности, при ближайшем рассмотрении оказалась нереволюционной.

Рисуя картину грядущей социалистической революции [illegible] Австрии, Бауэр начинал с исторического экскурса. Он утверждает, что «переход от феодального к буржуазному государству в первой половине XIX века совершился в Англии не в форме драматической революции, как, например, во Франции, но он был следствием ряда быстро следующих одна за другой глубоких реформ, которые должны были провести господствующие классы под давлением больших массовых движений». О том, что этот исторический эскиз не выдерживает даже простого прикосновения критики, Бауэр, очевидно, не беспокоился. «Перебросить» английскую буржуазную революцию 1648 г., чрезвычайно драматическую по своему характеру и весьма схожую с Великой Французской революцией, в первые десятилетия XIX века, растворить ее в парламентских реформах 1830-х гг., имевших целью лишь «отделку» буржуазного общества, было делом нетрудным, а необходимость в такой манипуляции историческими фактами чувствовалась. Опираясь на фальшивую историческую параллель, Бауэр доказывал, что «...переход от буржуазного к социалистическому обществу в Англии в первой половине XX столетия должен произойти прежде всего не в кровавой гражданской войне, не в драматически революционных боях, но в шаг за шагом развивающихся под давлением рабочего движения, пре-

[1]) Weltrevolution, S. 5.

доставляемых реформах, в ходе которых частный предприниматель хотя не исчезает, но ставится под контроль демократического, управляемого пролетарским большинством, избирателей государства сверху донизу организованного пролетариата и, таким образом, превращается в простой орган общества» [1]).

Итак, начав с грозной филиппики по адресу реформизма, «левые» австро-марксисты не отошли в действительности от ревизионизма правых с.-д. Подменяя вопрос о прорыве империалистического фронта механическим пониманием «зрелости» капиталистического хозяйства в странах-победительницах, выдвигая «теорию непрерывности» и об'являя противоречащую этой теории революцию солдатским бунтом, Бауэр и К° поставили на место революции реформу, благополучно возвратившись, таким образом, к отвергнутому ими реформизму.

Если реформизм левых отчетливо обнаруживается в вопросе о предпосылках социалистической революции, то несколько более сложно обстоит дело тогда, когда мы переходим к проблеме демократии и диктатуры.

Государство (демократия и диктатура).

Если попытаться выяснить расхождение между правыми и «левыми» с.-д. в 1918—1920 гг., то мы убедимся, что разногласия имели место главным образом по вопросу о государстве, еще точнее—по вопросу об отношении к демократии и диктатуре. Бауэр в 1920 г. отмечал, что результатом войн явился кризис демократической идеологии. «Демократия,—писал он,—во имя которой Антанта вела свою войну против военных монархий Гогенцоллернов и Габсбургов, разоблачена постыдными договорами Версаля и Сен-Жермена. Демократия в Средней Европе, достигнутая вследствие поражения, должна разочаровать массы, так как она не может преодолеть нужду и нищету, последствия войны, поражения насильнического мира. Вера пролетариата в демократию, которая достигнута на Западе в продолжение столетия, а в Средней Европе—с 1848 г.—потрясена» [2]).

Анализируя проблему демократии и диктатуры левые старательно отмежевывались от примера диктатуры пролетариата в Советской России. Чтобы «абстрагироваться» от единственного существующего не только в теории, но и в действительности опыта пролетарской диктатуры, с.-д. пришлось изобрести оригинальную оценку Октябрьской революции, оценку, которая является в настоящее время каноном для всей социал-демократии.

К изображению «левыми» Октября и диктатуры пролетариата в России мы и обратимся, прежде чем перейти к непосредственному разбору проблемы диктатуры и демократии, как она поставлена левыми.

Октябрьская революция оказала колоссальное влияние на рабочий класс Австрии. В положении России и Австро-Венгрии было много сходных черт. После развала Российской империи на очереди стояла Австро-Венгерская. Пролетарская революция в России указывала австрийским рабочим, каким образом проле-

---

[1]) Weltrevolution, S. 8.
[2]) Bauer, Bolschevismus oder Sozialdemokratie, S. 4.

тариат может добиться мира, каким путем можно освободиться от буржуазии. Позднее, когда Антанта организовала интервенцию против Советской России и когда вспыхнула революция в Австро-Венгрии, симпатия западно-европейских и, в частности, австрийских рабочих к Октябрьской революции и к большевикам возросли еще сильней. Противостоять этим симпатиям значило уронить свой авторитет в глазах рабочих—слишком уж очевидна была борьба международной буржуазии против пролетарской республики. Но, с другой стороны, приятие Октября означало приятие большевизма, переход на позицию III Коммунистического Интернационала со всеми отсюда вытекающими последствиями. «Левые» с.-д. не могли стать ни на первый, ни на последний путь. Этим и определилась их задача. Если большевизм нельзя было ни отрицать, ни принимать, то оставался лишь один выход—локализовать коммунистическую теорию и практику, доказать, что большевизм — это явление возможное лишь в специфических условиях России, что зап.-европейский пролетариат [illegible] путями русских большевиков. Такая стратегия [illegible] удобной, что она позволяла «левым» заяв[illegible] защитниками Советской России.

«Есть ли большевизм единственно возмо[illegible], непосредственно достигающий цели, метод каждой пролетар[illegible] революции, или он является методом пролетарской освободительной борьбы, подходящим только к особым русским условиям и неприменимым в других странах»,—спрашивал Бауэр и отвечал: «Из выяснения основного отличия в условиях борьбы мы поймем, что также должны быть различны и методы борьбы, хотя мы там, как и здесь, боремся за одно и то же дело, за дело пролетариата, и стремимся к одной и той же цели—к социализму»[1].

Вначале, непосредственно перед Октябрьской революцией, Бауэр видел основное различие между Россией и [illegible] ной в специфическом характере аграрного вопроса в [illegible]. Анализируя предпосылки об'единенного фронта русских рабочих и крестьян против буржуазии, он приходил к выводу, что крестьянство в России не противостоит пролетариату, так как между этими двумя классами нет борьбы за пошлины на хлеб, которая имеет большое значение в странах, импортирующих хлеб, напр., в Германии, Австрии; вследствие редкого употребления наемного труда в сельском хозяйстве, вопрос о заработной плате не раскалывает рабочих и крестьян. Поэтому в России «крестьяне и рабочие могут добрую часть дороги идти вместе». Но рабоче-крестьянский союз—лишь временный этап развития русской революции. «Рабочие и крестьяне останутся союзниками до тех пор, пока революционны крестьяне. А крестьяне останутся революционными до тех пор, пока еще не разрешен аграрный вопрос... Только, когда учредительное собрание закончит великий аграрный переворот, крестьяне будут освобождены. Только тогда крестьяне станут консервативны и в России, также как они стали консервативными после буржуазной революции во Франции, в Германии и Австрии. Только тогда станут видимыми и в России классовые противоречия между крестьянами и рабочими, кре-

---

[1]) Там же, стр. 4, 5.

стьяне там также об'единится с буржуазией против рабочих»[1]). Послереволюционная Россия рисовалась Бауэру, как буржуазная республика, в которой буржуазия, предоставляя относительно большие права рабочему классу, опирается на демократическое крестьянство.

Цитированная нами брошюра была написана Бауэром 10 октября 1917 г., а меньше, чем через месяц совершилась Октябрьская революция, опровергнувшая положение Вебера-Бауэра о невозможности установления в России пролетарской диктатуры. Вождю австрийской «левой» пришлось внести некоторые изменения в свою теорию русской революции. Впрочем, основной тезис этой теории—утверждение, что в России развивается буржуазная революция, руководимая в пределах некоторого промежутка времени пролетариатом и крестьянством—было заимствовано из доктябрьс[illegible] рассуждений Вебера. Но тезис этот Бауэр допол[illegible] своеобразн[illegible] истолкованием истории и экономики России.

[illegible] доказательством невозможности социалистической [illegible] России [illegible] Бауэр считал недостаточное количество про[illegible] [illegible] желанием устранить все, что противоре[illegible]бы представлению об абсолютной «незрелости» России для [illegible]циалистической [illegible]люции, Бауэр искажал характер русской экономики. Его ис[illegible]-экономические экскурсы ставили своей задачей «феодализировать» Россию, насколько это возможно. Так, напр., «крестьянская реформа 1861 г. пером «левого» австромарксиста теряла экономический raison d'être и превращалась в изменение одних лишь правовых форм феодальной эксплоатации. Отработки—эту половинчатую, полукапиталистическую, полукр[illegible]ческую форму эксплоатации крестьянства—он считал ск[illegible]рмой барщины. Словом, игнорируя капиталистическ[illegible] развитие русского сельского хозяйства, столыпинщину, [illegible]его развития, Бауэр покрывал все земельные [illegible] общей характеристикой—феодализма. Вообще капиталистическое производство в России Бауэр об'являл «частным фактом» [2]). Что в России уже десятки лет господствует современный капитализм, что Россия вовлечена в орбиту мирового империализма, что русское рабочее движение в силу целого ряда условий достигло колоссальной силы—все это не принималось в расчет. Да иначе и быть не могло. С признанием относительно высокой степени капиталистического развития России, наличия русского империализма и т. д., неминуемо должен был рухнуть тезис Бауэра о том, что в России происходит буржуазная революция по типу революций 1789 и 1848 гг.

Бауэр отмечал, что борьба крестьянина за помещичью землю обусловила победу Октябрьской революции. Что неразрешенность аграрного вопроса в России была главнейшей причиной союза пролетариата и крестьянства в Октябре—это не подлежит никакому сомнению—и ограничься Бауэр такой формулировкой—последняя не вызвала бы возражений. Но Бауэр свел всю Октябрьскую революцию к революции крестьянской. Пролетариат-гегемон оказался, в изображении Бауэра, лишь верхушкой крестьянского восстания. «Русский пролетариат, — писал

[1]) Heinrich Weber, Russische Revolution und das europäische Proletariat, Wien 1917, S. 26, 27.

[2]) «Der Kampf» 1918, № 3: Weber, Bolschewiki und wir, S. 146.

Бауэр,—мог установить свое господство над Россией потому, что русский крестьянин... только из его рук мог получить землю помещика. Пролетарская революция могла и должна была победить в России, потому что она здесь могла провести то, что уже провела в Западной и Средней Европе буржуазная революция: разрушение феодальной сельско-хозяйственной системы, установление буржуазного порядка собственности в деревне» [1].

Такая же буржуазная революция, по мнению Бауэра, имеет место и в России. «Но эта, по своей сущности, буржуазная революция отношений собственности на землю проводится в России не так, как в Западной и Средней Европе в ходе буржуазной революции, но революцией пролетариата. И именно поэтому истощается сила пролетарской революции. Потому что, если крестьянство получило землю из рук конституирующегося как класс пролетариата, то его (крестьянства. *Н. Р.*) судьба связана с судьбой пролетарского господства» [2].

Крестьянство,—утверждал Бауэр,—боится помещичьей контрреволюции,—поэтому оно не восстает против большевиков. Курс на середняка Бауэр трактовал как отказ от пролетарского наступления, против крестьянства. Когда рабочий класс перестал вмешиваться в жизнь крестьянства, последнее вновь впало в состояние «политического небытия». Советская конституция—формальное закрепление такого положения крестьянства.

Бауэр заявлял, что советская власть была действительно диктатурой пролетариата лишь до середины 1918 г. С этого времени она превращается в диктатуру коммунистической партии маленькой частички русского пролетариата. Но диктатура партии есть диктатура не живого русского пролетариата, а пролетарской идеи» [3],—писал Бауэр, обнаруживая полнейшее непонимание взаимоотношений партии и класса.

Все же Бауэр не решался совершенно устранить упоминание о социалистических элементах русской революции. Противореча своим же утверждениям, он признавал, что возникающее в России общество есть общество социалистическое, но социализм большевиков—деспотичен.

Чтобы обезопасить австрийских рабочих от подражания большевикам, Бауэр об'являл, что деспотический социализм большевиков не приличествует просвещенному Западу. «Деспотический социализм,—писал он,—это необходимый продукт развития, которое вызвало социальную революцию на такой ступени развития, на которой русский крестьянин еще не созрел для политической, а русский рабочий—для индустриальной демократии» [4].

В конечном счете «деспотический социализм» должен был, по Бауэру, уступить место буржуазной демократии или цезаризму. «В России,—писал Бауэр,—где пролетариат представляет только небольшое меньшинство нации, он может только временно утвердить свое господство; он должен вновь его потерять, как скоро крестьянская масса становится достаточно зрелой в культурном отношении, чтобы перенять господство» [5].

---

[1] Bauer, Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 30.
[2] Там же, стр. 35.
[3] Там же, стр. 62.
[4] Там же, стр. 64.
[5] Там же, стр. 70.

В новой экономической политике Бауэр увидел подтверждение своих предсказаний. Декрет о продналоге он характеризовал, как «капитуляцию советского правительства перед крестьянством, города перед деревней, пролетариата перед крестьянской частной собственностью» [1]).

Эта капитуляция, по мнению Бауэра, была в то же время и капитуляцией перед частным капиталом. Диктатура коммунистической партии, утверждал Бауэр, подобно диктатуре санкюлотов во Франции, войск Кромвеля в Англии, ставила себе утопические цели, выходящие за пределы буржуазной революции. В действительности—диктатура лишь расчищает почву для построения буржуазного общества.

Введение продовольственного налога означает, что между деревней и городом стал капиталистический посредник, прорывающий «подпольными» путями монополию внешней торговли; промышленные предприятия сдаются арендаторам или концессионерам. Вслед за этим, по Бауэру, должно было последовать приспособление политики к экономике, т.-е. устранение пролетарской диктатуры. Коммунистическую идеологию Бауэр причислил к разряду тех энтузиастических иллюзорных утопических идеологий, в которых всегда приходит в упадок буржуазная революция в своей плебейски-диктаторской фазе» [2]).

[illegible] е события показали, что Бауэр поторопился с [illegible]. Укрепление Советского Союза, рост национализи[illegible] промышленности и государственной торговли—все это заставляет левых перенести центр тяжести на полемику против большевистской формы диктатуры пролетариата и на поиски доказательств того, что в России господствует не диктатура пролетариата, а диктатура над пролетариатом. Макс Адлер, который не смог примирить существование Советской республики с ревизионистски интерпретированной теорией Маркса о «зрелости», вынужден был прибегнуть к ссылке на «исключительную русскую ситуацию, создавшуюся на основе неслыханной исторической случайности» [3]).

Наконец, в последнее время Бауэр принужден был дать новую оценку диктатуры пролетариата в Советском Союзе. Принужден потому, что укрепление Советского Союза, рост национализированной промышленности и торговли, повышение благосостояния рабочих убеждали западно-европейских и, в частности, австрийских рабочих в неверности социал-демократических взглядов в «русском вопросе».

В 1925 г. Бауэр не решается отрицать успехов, достигнутых большевиками. Несмотря на ряд оговорок об опасности «переоценки», он все же должен признать, что «одно из значительнейших событий этого последнего (1925. *Н. Р.*) года—это, несомненно, значительный прогресс, который сделали в России хозяйственная жизнь и жизненный уровень рабочего класса».

Но Бауэр, отступая перед фактами и нажимом рабочих масс, остается верен себе. Причину под'ема народного хозяйства Советского Союза он видит не в политике коммунистической партии. Не диктатура пролетариата определила кривую под'ема. «Когда

[1]) Otto Bauer, Der «neue Kurs» in Sowjetrussland, Wien 1921, S. 1[illegible].
[2]) Там же, стр. 31.
[3]) Max Adler, Die Staatsauffassung des Marxismus, Wien 1922, S. 116.

желают понять это (т.-е. успехи Советского Союза. *Н. Р.*), то нужно исходить от сельского хозяйства,—тянет Бауэр старую песню,—потому что Россия—крестьянская страна. Русские города и индустриальные поселения—только островки в чудовищном море крестьянских хозяйств; судьба русского сельского хозяйства—решающая для русской индустрии» [1]).

Большевикам Бауэр отводит чрезвычайно скромную роль. Он считает, что развал сельского хозяйства был преодолен «в ходе времени» (durch den Ablauf den Z[illegible] так. например, и в Австрии большевики лишь ускорили процесс [illegible] становления. Восстановление индустрии об'ясняется Бауэром не акти[illegible] олитикой советской власти, а лишь пассивным ее сопротивлением заграничному рынку—монополией внешней торговли.

Но Бауэр вынужден ответить на вопрос о т е н д е н ц и я х развития Советского Союза. «Важнейшее для нас, как для социал-демократов,—говорит он, [illegible]ключается в том, что теперь возникает надежда на то, что [illegible] т и б е з к а п и т а л и с т о в—это, правда, еще не доказано, [illegible] быть доказано в п[illegible]ру лет. Вы понимаете, если [illegible] вал ка[illegible] [illegible]зать, какое это должно означать усилени[illegible] ва. Когд[illegible] [illegible]. Сегодня мы еще не зашли так да[illegible] ства, по[illegible] [illegible]чи—это еще [illegible] социализм, но также [illegible] пролетар[illegible] ния». [illegible] на в переходном с[illegible] [illegible]ии, ее хозяйство сод[illegible] ложе[illegible] [illegible]де про[illegible] [illegible]италистических элементов, но также много и со[illegible]тия. Ад[illegible] [illegible]еских... тенденции развития таковы, что, если русских ос[illegible] [illegible]кое, они дадут экспериментальное доказательство того, что [illegible] без капиталистов» [2]).

Всего лишь несколько лет тому назад Бауэр и Адлеры квалифицировали большевизм, как политику государственного банкротства в побежденной стране. Лишь недавно создавалась и излагалась для всеобщего употребления теория о том, что Октябрьская революция расчищает почву для капитализма.

Сейчас все это прячется в карман, и Бауэры говорят о переходном строе от капитализма к социализму. Мы не будем останавливаться на том, что Бауэр ни одним словом не обмолвился по поводу своих прежних о ш и б о ч н ы х оценок русской революции. Нас интересует другой вопрос. «Левые» австро-марксисты,—об этом говорилось выше,—отказывались рассматривать, привлекать опыт советской власти в качестве конкретного примера при обсуждении вопроса о демократии и диктатуре. Главным аргументом «левых» был не социалистический, а буржуазный, не пролетарский, а крестьянский характер русской революции.

Но с новейшим заключением Бауэра о том, что Россия идет по пути к социализму, рушится не покинутая Бауэром до сих пор теория «окрестьянивания» русской революции. В самом деле, если пролетариат в России—только верхушка крестьянства, если промышленность не имеет большого значения и тонет в море крестьянских хозяйств, то о каких же социалистических элементах и о хозяйствовании без капиталистов хотя бы через «пару лет» может итти речь. И, наоборот, если строй в Советском Союзе—переходный к социализму, то центр тяжести переносится

---

[1]) «Arbeiter-Zeitung» 1922, № 351, 22/XII, Wien: «Die Sozialdemokratie und Sowjetrussland», Rede von Otto Bauer.

[2]) «Arbeiter-Zeitung» 1925, № 351, 22/XII.

от выяснения специфических особенностей России к выяснению мирового значения первого опыта диктатуры пролетариата.

Бауэр не считается с этими логическими следствиями, которые неизбежно вытекают из его положений. Он попрежнему говорит о неприемлемости для Запада русского пути, ссылаясь на различную роль крестьянства, большую зависимость стран Средней Европы от стран-победительниц, на географически-стратегические условия и т. п. Но эти ссылки не могут скрыть того факта, что признание Бауэром успехов социалистического строительства в СССР [illegible] перед рабочими массами вопрос о всемирно-историческом значении диктатуры пролетариата в России и о [illegible]нимости большевистских методов для Западной Европы.

Борясь с большевистскими методами пролетарской диктатуры, «левые» с.-д. все же отвергали демократию как самоцель и признавали диктатуру пролетариата, как неизбежный этап при переходе от капиталистического общества к социалистическому. Проблема демократии и диктатуры [illegible] но разработана австрийскими с.-д., главным образом, в [illegible] листич[illegible] годы. Провозвестником нового учения о государстве [illegible] зиастичес[illegible] Макс Адлер. Интересно, как Адлер мотивирует [illegible] тогда при[illegible] сожалением [illegible] необходимости [illegible] диктатор[illegible] шении демократии [illegible] диктатуре, о ценности [illegible] вали, [illegible] республики и [illegible] объясняется тем, что «иные [illegible] левые [illegible] виду пропаганды большевизма каж[illegible] как будто [illegible] монополией»... «в действительности, являются [illegible] ческого социализма и только получили неправильн[illegible] ние в политической практике большевизма»... «Должно быть, наконец, изжито то положение, при котором известные учения и понятия уже потому только отвергаются социал-демократами, что они являются предметами коммунистической агитации... На место этого тупого поведения должно прийти полное силы сознание того, что большая часть большевистских теорий придерживается основных истин марксизма, которые признаем и мы; только мы представляем себя их не как простые революционные лозунги, но стараемся раз'яснить пролетариату их экономическую и социальную обусловленность» [1]).

Так же, как и Бауэр, Адлер отмечает скептическое, даже недоверчивое отношение пролетариата к демократии после того, как война, в которой участвовала демократия, принесла народам неисчислимые бедствия, демократия же после войны не сумела смягчить этих бедствий. Вместе с тем и революционная социал-демократия «стала, главным образом, в Германии пылкой мечтательницей и энтузиастской демократии, как таковой, и с.-д. забыли, что Маркс в «Коммунистическом манифесте» ставил очередной целью классовой борьбы установление диктатуры пролетариата. Социал-демократы недооценивают заслугу большевизма в постановке проблемы демократии и диктатуры в центре марксистской теории. «К великим деяниям Ленина,—пишет Адлер,—принадлежит то, что с его книгой «Государство и революция» началось духовное движение, которое идет параллельно насильственному дви-

[1]) Max Adler, Politische oder soziale Demokratie, Berlin 1926, S. 9, 10.

жению масс в России и исторические результаты которого еще созреют» [1]).

Вместе с тем, проблему демократии и диктатуры своевременно выдвинуть еще и потому, что о диктатуре начала подумывать буржуазия, для которой «парламентаризм потерял свое очарование». «Таким образом, мы переживаем трагикомическое зрелище,—говорит Адлер, напоминая о победах Хорти и Муссолини,—господствующие классы вполне примирились с понятием диктатуры, в то время как большая часть пролетариата открещивается уже от простого слова» [2]).

Нетрудно разгадать, зачем понадобились Максу Адлеру поклоны перед Лениным и напоминания о Муссолини. Новая волна под'ема рабочего движения на Западе, проявляющаяся в повышении симпатии к Советскому Союзу, а с другой стороны, в стремлении поставить преграду надвигающейся опасности фашистских переворотов заставляет «левых» несколько смягчить тон по отношению к большевизму и возвысить его по отношению к буржуазии. В этом и то[illegible] в этом заключается» «der langen Rede kurzer Sinn».

Но последуем за А[illegible]тия «демократии» Адлер начинает с утверж[illegible]ия, что это понятие имеет два значения: демократия может мыслиться, как буржуазная демократия, т.-е. исторически данная конституция классового общества и как демократия пролетарская, возможная при экономической и политической свободе пролетариата, т.-е. в бесклассовом обществе. Но эти определения Адлер выставляет только для того, чтобы сейчас же отказаться от них. Он предлагает назвать демократию, которая мыслима в классовом обществе—политической, а демократию в бесклассовом обществе—социальной.

Ошибочно было бы думать, что эти новые определения Адлер изобретает только из-за склонности к оригинальной терминологии. Адлер раз'ясняет, что понятие буржуазной демократии чересчур узко, в то время как понятие политической демократии охватывает... также и такую форму демократии в классовом государстве, в котором пролетариат завоюет демократию и с ее помощью будет управлять государством. Потому что и эта демократия всегда является демократией в классовом государстве, т.-е. она не является социальной демократией. И так как она не только является нашей ближайшей целью, но также будет означать исторически долгий период развития к социалистическому обществу, то необходимо, при различении двойного смысла слова демократия, выбрать определение одного значения демократии, формального значения, таким образом, чтобы оно охватывало и эту важную историческую форму образования формальной демократии, чтобы снова не смогли возникнуть недоразумения от смешения пролетарской и социальной демократии...» [3]).

Стоит внимательно вдуматься в эту гелертерскую тираду, чтобы понять ее действительное значение. Под сугубо об'ективным требованием точных дефиниций Адлер скрывает желание углубить различие между строем, в котором господству

[1]) Там же, стр. 22.
[2]) Там же, стр. 90.
[3]) См., напр., der «Kampf», 1919 г., № 33, ст. Max Adler, Zum 12 Novemb

пролетариат, но еще не исчезли классы, и между социалистическим бесклассовым обществом, довести это различие до пределов пропасти. И, наоборот, об'единяя буржуазную и пролетарскую демократии одним термином «политическая» демократия, Адлер смягчает, почти устраняет разницу между строем классового господства буржуазии и строем классового господства пролетариата. Такое стремление может быть оправдано только в одном случае—если не видеть качественной разницы между буржуазным и пролетарским государством. Истинная подоплека сложных построений Адлера станет еще более ясной, если мы подойдем к вопросу с тактической точки зрения. Несомненно, что революционное определение резче подчеркнет разницу между буржуазной и пролетарской демократией, нежели остановиться на незаконности пролетарской демократии. И такое определение будет не только революционным, но и об'ективно верным. Во-первых, потому, что оно исходит из классовой точки зрения: «Либералу естественно говорить о «демократии» во[illegible] Ленин,—марксист никогда не забудет поставить вопрос: для какого класса». Во-вторых, предполагает «скачок», революционный переход от буржуазной демократии к пролетарскому государству (социалистическая революция и эволюционное превращение пролетарского государства в бесклассовое, [illegible]ально, и в безгосударственное общество); кстати сказать, [illegible] как раз тогда, когда левые заявляли себя сто[illegible]циалистической революции, Адлер удовлетворялся [illegible]истским классовым термином буржуазной демо[illegible]

[illegible] пор многое изменилось. С идеей социалистической [illegible]ые, стараются распрощаться возможно незаметнее. [illegible]у Адлер отбрасывает «несовершенные» классовые [illegible] утверждает сверх'об'ективные научные дефиниции, [illegible] и свободны от классового содержания, но зато не могут подать повода каким-либо «недоразумения». Действительно, «недоразумений» быть не может. Учение Макса Адлера о «политической» и социальной демократии хоронит идею социалистической революции. Но одним определением демократии дело не может ограничиться. Перед Адлером стоит еще вопрос о диктатуре пролетариата. После операций, произведенных над определениями демократии, эта задача не представляет больших трудностей. В самом деле, проблема демократии и диктатуры, как она в действительности стоит перед рабочим движением, есть проблема буржуазной демократии и пролетарской диктатуры. Адлер разрешает проблему снятием ее.

«Диктатура,—заявляет он (мы видим, что классовый признак предусмотрительно устранен и здесь),—противоречит только социальной демократии и, наоборот, настолько мало противоречит политической демократии, что последняя даже является формой, в которой она (диктатура. *Н. Р.*) осуществляется» [2]).

Как ловкий фокусник накрывает платком монету и затем снимает платок, показывает пустое место, так Адлер устраняет понятие диктатуры, отожествляя его с демократией. В

---

[1]) Max Adler, Politische oder soziale Demokratie. S. 53, 54.
[2]) Max Adler, Politische oder soziale Demokratie, S. 91.

буржуазном обществе, продолжает Адлер, демократия охраняет господство буржуазии и, следовательно, является диктатурой господствующего класса, только «переодетой в форму политической демократии», «диктатура покоится на политической демократии, т.-е. на господстве большинства, и поэтому между формальной демократией и диктатурой нет противоречий», «диктатура пролетариата не только не есть «недемократическое», в смысле политической демократии, но означает прямое следствие демократии, наполненной властью пролетариата»[1]). Единственно, что, по мнению Адлера, отличает буржуазную диктатуру от пролетарской—это различная цель (целью пролетарской диктатуры является, употребляя терминологию Адлера, социальная демократия). Но центр тяжести Адлер переносит на общность буржуазной и пролетарской диктатуры: «обе они—проявление господства большинства, т.-е. политической демократии»[2]).

Какой вывод должен следовать из этого жонглирования «чистыми понятиями демократии и диктатуры, показывает сам Адлер. «Если, таким образом, диктатура противоречит только той демократии, которую мы не имеем (вспомним, что по Адлеру этот термин обозначает социалистическое общество. *Н. Р.*), то демократия, которую мы имеем на деле für sich allein, не составляла бы препятствия для проведения диктатуры пролетариата, если бы последняя была уже возможна и дана»[3]).

Итак, заменяя «об'ективную терминологию марксистской, мы получаем адлеровский тезис в его, так сказать, первобытном виде: буржуазная демократия не является препятствием для проведения диктатуры пролетариата. Das ist's des Pudels Kern! Против социалистической революции не сказано ни слова—кто же сможет усомниться в левизне Адлера, Макса Адлера, который чтит заслуги Ленина, как автора книги «Государство и революция», Адлера, который воодушевлен самыми лучшими намерениями утвердить истинно научную и строго об'ективную терминологию. Цель, которую преследовали логические упражнения венского профессора, достигнута: социалистическая революция из'ята из социал-демократической идеологии за ненадобностью; в лучшем случае она еще может пригодиться для праздничных митингов.

Логические выводы из бауэровско-адлеровской концепции не замедлили притти. Дефиниции Макса Адлера, быть может, хороши для научных исследователей, но они показались вождям австрийской партии неприменимыми для пропагандистской и агитационной работы. Если диктатура пролетариата и есть демократия, то стоит ли отстаивать это одиозное понятие (пролет. диктатуры) только потому, что его высказал Маркс. Если диктатура означает классовое господство, говорил Бауэр на прошлогоднем партейтаге австрийской социал-демократической партии, то лучше оперировать только с понятием классового господства. Правда, Бауэр делал некоторую оговорку—не каждую форму клас-

---

1) Там же, стр. 92, 95, 100.
2) Там же, стр. 103.
3) Там же, стр. 91. Курсив мой. *Н. Р.*

сового господства буржуазии можно, по его мнению, квалифицировать как диктатуру. Что же касается марксовых формулировок, то здесь Бауэр апеллировал к истории.

Почему, спрашивает Бауэр, Маркс в 1875 г. в письме к Браке выдвигает диктатуру пролетариата. Потому, что в 1875 г. по Европе прокатилась волна белого террора—это была эпоха репрессий против рабочего класса, годы, когда в Англии рабочих лишали избирательных прав. «Это была ситуация, в которой Маркс думал, что без гражданской войны ничего нельзя будет сделать. А гражданская война ведет с необходимостью к такой диктатуре. Но мы сегодня не сочиняем программы, в которой мы только раз'ясняли бы, что признавал Маркс в 1875 г., но мы должны, пользуясь марксистским методом, представить себе мир таким, как он есть»[1]).

Вывод у Бауэра напрашивался сам собой, так как пролетариат может взять власть демократическим путем, то нет надобности говорить о диктатуре пролетариата.

Скоропалительность и легкость исторического экскурса Бауэра лишь иллюстрирует, насколько необходимым оказалось для австрийской социал-демократии разделаться с диктатурой пролетариата. Быть может, если бы потребность эта не была такой настоятельной, Бауэр постеснялся бы в 1926 г. мотивировать отказ от диктатуры пролетариата ссылкой на то, что такого белого террора, какой имел место в 1875 г., теперь нет.

Макс Адлер, очевидно, несколько шокированный столь грубым поворотом, предлагал в противовес «иллюзиям демократизма» подчеркнуть в программе ту мысль, что политическая демократия является все же только средством для достижения социальной демократии. Но даже и это робкое предложение встретило решительный отпор. Фриц Адлер, соглашаясь с Бауэром, обрушился на Макса Адлера. Фр. Адлер также заявил себя противником иллюзий демократизма. Но, сказал он, я считаю, и хочу это высказать со всей откровенностью, опасным путем, когда Макс Адлер всегда и постоянно, во всех формах, говорит, что нет в настоящее время никакой демократии, за которую можно было бы воодушевиться.

Я думаю, что плохо и пагубно вызывать в нашей молодежи мысль, что то, что мы преодолели, не было достойно величайшей борьбы. И обиженный за демократию председатель II Интернационала отбрасывает в сторону логическую эквилибристику Макса Адлера—«дорога, которой мы можем итти в Австрии,—говорит он,—это дорога демократии без другого определения, дорога дефиниции демократии, как устранения абсолютизма».

Венскому профессору пришлось оправдываться и уверять партейтаг в своем искреннем уверении к буржуазной демократии. Он, Макс Адлер, всегда признавал заслуги демократии, сказочно изменившей облик Средней Европы. Единственно, чего он желает,—это, чтобы демократию квалифицировали не как вершину нашего развития, а как путь к социализму. Действительно, по существу вопроса, как мы это видели из разбора книги

---

[1]) «Wiener Arbeiter-Zeitung» 1926, № 302, 2/XI.

«Политическая или социальная домекратия», у Макса Адлера не было никаких разногласий с Бауэром и Фрицем Адлером. Благочестивые воздыхания профессора социологии обращались, главным образом, против неизящного, грубого вида, который приняли его идеи, общие и другим идеологам австрийской социал-демократии, когда их пришлось перелагать для широкого потребления.

Тем же методом «снятия» проблемы под предлогом более точной классификации понятий «левые» пользуются и при разрешении вопроса о терроре. Еще в 1920 г. на с'езде в Галле Криспин и Гильфердинг противопоставляли террор, как «деспотический» метод, бессмысленное разрушение вещей—насилию, которое пролетариат применяет в рамках целесообразности. Так же смотрит на террор Макс Адлер, утверждающий, что «при терроризме подавлено большинство, при диктатуре—только меньшинство».

Но, отделив террор от насилия, «левые» стараются свести роль последнего до нуля. «Насилие,—утверждает Макс Адлер,—принадлежит не к признакам понятия революции, а к ее реализации»[1]). «Возможно, что господство пролетариата может притти и без насилия».

Наконец, в последнее время «левые» все больше и больше подчеркивают, что применение насилия зависит только от силы сопротивления врага. Никто не вспоминает о словах Маркса, что насилие есть повивальная бабка каждого нового общества. Эти слова заменяются христианскими лозунгами: «Кто прибегает к насилию, тот сам становится пленником насилия», пророчествует Бауэр, возглашая лозунг: «Насилие—только как средство защиты». По мнению Бауэра, пролетариат прибегнет к насилию только в том случае, если буржуазия станет фашистской. Но ведь буржуазия стала и становится фашистской, и даже, если стать на точку зрения Бауэра, то с.-д. в своей пропаганде должны подчеркивать роль насилия, как необходимого средства. Но Бауэр, очевидно, убежден в демократичности буржуазии: он предлагает учить рабочих «отвращению перед насилием», воспитывать среди «пролетариев» духовную и нравственную готовность к власти, повышая интеллектуальный и моральный уровень пролетариата. По сравнению со статьями 1919—1920 г.г. Бауэр делает значительный шаг вправо. Теперь для него проблема насилия—«не вопрос тактической целесообразности» [2]). «Чисто дефензивная роль насилия»—это принцип, на котором должна строиться вся тактика социал-демократической партии.

Каждая попытка ревизии марксизма с неизбежной необходимостью наталкивается на учение Маркса о государстве. Ревизовать теорию социалистической революции, теорию диктатуры пролетариата, оставляя в стороне учение о государстве—нельзя. И для левых, которые пересматривают важнейшие пункты марксизма, недостаточно было ограничиться жонглированием понятиями демократии и диктатуры, отрицанием роли насилия и т. п.

---

[1]) Max Adler, Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 158.
[2]) «Wiener Arbeiter-Zeitung» № 303, 3/XI—26.

Все эти вопросы упираются в вопрос о сущности государства вообще.

Признание Марксова тезиса о том, что государство является организацией господствующего класса, выбивает почву из-под учения Бауэра-Адлера о демократии, как о форме, которая мирно, без потрясений изменяет свое классовое содержание. И, наоборот, только при отрицании тезиса Маркса ревизионизм левых превращается в более или менее стройную и, во всяком случае, последовательную систему. Почин такой ревизии принадлежит Бауэру, который выдвинул теорию «равновесия классовых сил».

Бауэр утверждает, что учение Маркса о государстве, как об организации господствующего класса, в настоящее время устарело. Оно имело свой raison d'être в тех исторических условиях, когда создавался «Коммунистический манифест». «В то время, когда социалистическая партия стремилась к тому, чтобы пробудить в рабочих массах классовое сознание, к тому, чтобы научить их классовой борьбе, в то время, когда она повела их в первые крупные классовые битвы, тогда она учила их, что государство, против которого они должны бороться, является классовым господством буржуазии, а правительство—представительным органом господствующих классов... Духовным потребностям едва только просыпающегося, едва только организующегося и вступающего в борьбу молодого пролетариата, целям его воспитания вполне соответствовало общераспространенное и популярное представление о том, что социализм не знает иного господства, чем классовое, что он рассматривает современное классовое господство буржуазии, как форму управления государством, в котором господствует капиталистическая система, и что он рассматривает будущее классовое господство пролетариата, как средство к преодолению этой системы»[1]).

Эта теория, согласно Бауэру, только одно из многих общих положений, «Lehrsatz». Когда Маркс писал «Коммунистический манифест», государственная власть в действительности вовсе не являлась исполнительным комитетом буржуазии; во Франции господствовала финансовая аристократия,—одна из фракций буржуазии, в Англии помещики властвовали в сотрудничестве с буржуазией, в Восточной Европе были абсолютные монархии. «Таким образом, тезис Маркса описывает не фактическое положение, а тенденцию развития» [2]). Впоследствии государство приблизилось к тому, чтобы стать исполнительным комитетом буржуазии, «но все же только приблизилось».

Бауэр раз'ясняет, что когда Маркс и Энгельс от общих положений, от пропаганды переходили к более «глубоким теоретическим построениям», они давали иное понятие о сущности государства, понятие, заключающееся в том, что «в процессе классовой борьбы могут временно возникать ситуации, в которых силы борющихся классов находятся в равновесии», как выразился Энгельс в своей работе: «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В этот период, когда ни один класс не в состоянии больше подавлять другие классы, го-

---

[1]) Бауэр, Австрийская революция, стр. 237, 238.

[2]) «Der Kampf» 1924, H. 2: Otto Bauer, Das Gleichgewicht der Klassenkräfte, S. 62. Впервые теория равновесия классовых сил была выдвинута Бауэром еще в 1919 г., см. «Der Kampf» 1919, № 31.

сударство перестает быть орудием господства одного класса над другим. В этот период государственная власть противостоит всем классам, она в отношении всех классов выступает, как самостоятельная сила, она подчиняет себе все классы. Таково было, по представлению Маркса и Энгельса, происхождение абсолютной монархии в XVII и XVIII веках и происхождение бонапартизма в XIX веке» [1]).

Такое равновесие классовых сил, по Бауэру, имело место в период перехода от феодального к буржуазному обществу; оно также наступает при переходе от общества буржуазного к социалистическому. «Классовому государству буржуазии следует не диктатура пролетариата, но состояние равновесия классовых сил, которое выражается в разнообразных формах» [2]). Переломным пунктом, после которого наступило равновесие классовых сил, Бауэр считает империалистическую войну. Равновесие классовых сил проявляется в различных формах, напр., при установлении коалиционного правительства или такого правительства, которое может править только при молчаливом согласии и под контролем классового противника. В этом случае обычный парламент обнаруживает неспособность функционирования.

Другой формой равновесия классовых сил может являться диктатура государственной власти над всеми классами, примером такой диктатуры Бауэр считает итальянский фашизм и русский большевизм.

Такова теория равновесия классовых сил, которая должна послужить фундаментом практической деятельности австрийской социал-демократии, в 1919—1922 гг. участвовавшей в коалиционном правительстве, а с 1922 г. вышвырнутой за борт и «молчаливо соглашающейся» с правлением патера Зейпеля. Теория Бауэра встретила интересную критику со стороны буржуазного социолога Ганса Кельсена. Кельсен считает государство надклассовой организацией, и в этом смысле между ним и Бауэром нет существенных противоречий. Но Кельсен—честный буржуа, и он протестует против того, что черное называют белым, против того, что марксизм в изложении Бауэра превращается в учение о равновесии классов. Кельсен, прежде всего, справедливо оспаривает представление Бауэра о «Коммунистическом манифесте», как о популярной «политграмоте». Он указывает на то, что «во всех своих работах Маркс и Энгельс квалифицировали государство, как классовую организацию, и никто до сих пор не сомневался в том, что они совершенно серьезно и научно трактовали эту государственную теорию» [3]).

Кельсен разоблачает также и передержки, которые позволяет себе Бауэр в своих ссылках на Маркса и Энгельса. В цитате

---

[1]) Австрийская революция 2—38.

[2]) «Der Kampf» 1924, H. 2, S. 64.

После того, как теория равновесия классовых сил вызвала некоторое неодобрение со стороны соратников Бауэра, автор поспешил дополнить ее указанием на временный характер этого равновесия и на последующее нарушение его. За эпохой равновесия должен последовать захват власти пролетариатом и постройка социалистического общества. Эта оговорка все же исключает социалистическую революцию—вспомним, что для Бауэра захват власти не означает установления диктатуры пролетариата.

[3]) «Der Kampf» 1924: Hans Kelsen, Otto Bauer's politische Theorien, H. 2, S. 50.

из «Происхождения семьи» Бауэр выпустил упоминание о том, что государство в моменты равновесия классовых сил является только «кажущимся» посредником между классами. Дальше Энгельс говорит о классовой основе государства. Кельсен отмечает расширительное толкование Бауэром упоминаний Маркса и Энгельса о равновесии классовых сил. Нигде у Маркса и Энгельса нельзя встретить утверждения, что такое равновесие длилось сотни лет, как это полагает Бауэр. Наконец, если в австрийской республике 1918 г. видеть «народную республику», покоящуюся на равновесии сил, то надо признать, что за всю вторую половину XIX века государство не было органом классового угнетения, потому что война не изменила радикальным образом сущность классового общества.

Кельсен вспоминает, что в 1917 г. Бауэр выступал против Реннера, который рассматривал развитие имманентных возможностей государства, реформы государственной конституции и управления, как путь к социализму. В перспективе у Реннера рисовалось коалиционное правительство. Тогда Бауэр вместе с Фрицем Адлером числился в «левых» и настаивал на том, что «социальная проблема не разрешается простой управленческой работой, что связать свою судьбу с защитой государства—значит компрометировать дело социализма». Но «в то время, как Отто Бауэр рассматривает государство несколько благожелательней и, быть может, также проницательнее, не глазами безусловной оппозиции, но с возвышенной точки зрения правительства, он раскрывает вместе с отрицавшимися до сих пор функциями, которые государство выполняет также и в интересах пролетариата,—единство народа, «народную общность», которая—и в этом Кельсен безусловно прав—с точки зрения марксистской классовой борьбы вообще не существует, является только буржуазным романом и может быть осуществлена лишь в безгосударственном коммунистическом обществе, в котором не будет классовых противоречий, а следовательно, и вообще жизненных конфликтов»[1]).

Классовое чутье подсказывает буржуазному социологу и—логические выводы из Бауэровской концепции. Если в промежутке между капиталистическим и социалистическим обществом государственная власть отражает состояние равновесия классовых сил, то нет никакой надобности в социалистической революции—переход к социалистическому обществу может быть совершен путем реформы. Кельсен справедливо отмечает, что Бауэр, если он будет стоять на точке зрения своей теории, вовсе не нуждается в перспективе революции.

Кельсен квалифицирует теорию Бауэра, как «завершение поворота политической идеологии социалистического движения от Маркса к Лассалю. Кельсен считает, что в настоящее время, когда пролетариат разделяет власть с буржуазией, он отходит от «анархической» теории марксизма и начинает считать государство «своим» государством. «Марксистская политическая теория становится слишком тесной для социализма»[1]). Буржуазный социолог, безупречный в своей критике Бауэра, здесь

[1]) Там же, стр. 51.

допускает неверное об'яснение. Политическая теория марксизма действительно стала тесна, но не для социализма, а для социалистов типа Бауэра, которые, и это ясно доказал Кельсен, ошибочно называются марксистами.

Теория равновесия классовых сил показалась слишком откровенной даже соратникам Бауэра. Отто Лейхтер, критикуя Бауэра, рассматривает равновесие классов только как случайный момент и не считает возможным делать из этой случайности теорию классовой борьбы.

Макс Адлер, в общем приемлет теорию равновесия классовых сил и не склонен замалчивать выводов, которые из нее следуют. Для Адлера теория равновесия важна, главным образом, потому, что она позволяет принизить значение захвата власти политического момента вообще, для пролетариата и оправдать не только коалицию 1920 г., но и макдональдовщину 1924 г... ...Рабочее правительство, которое состоит только из социал-демократов, даже, когда оно может опираться на социал-демократическое большинство, никогда не имеет возможности быть социалистическим правительством, пока пролетариат недостаточно силен, чтобы взять также и экономическую власть в государстве. Отсюда историческая трагедия каждого рабочего правительства, которое может стать необходимым в виду известной внутреннеполитической ситуации; оно может быть только управителем буржуазного государства, конечно, с очень радикальной защитой рабочих интересов» [2]).

Соглашаясь с Бауэром, Адлер пытается лишь освободить его теорию от некоторых крайностей.

Так, например, он находит неверным термин «народная республика», и считает, что Бауэр лишь в педагогическом смысле говорил о неправильности тезиса «Коммунистического манифеста». В действительности же мысль Бауэра сводится к тому, что этот тезис следует трактовать как основное ориентировочное понятие, которое потом было не устранено, а дополнено указанием на «разнообразную игру классовых сил».

Но оправдание Бауэра оказывается трудной задачей, и Адлер вынужден прибегнуть к замысловатым построениям, и к голым абстракциям. «Решающее в этой связи (т.-е. в теории Бауэра, *Н. Р.*),—пишет Адлер,—не то, борется ли государство против пролетариата, является оно или нет государством буржуазии в собственном смысле этого слова, но то, что оно вообще есть классовое государство, т.-е. организация укрепления классовых отношений, и что оно остается таким даже тогда, когда дело идет о фазе равновесия классовых сил» [3]).

Не требуется большого труда, чтобы усмотреть в этой тираде полное смешение понятий, которое показывает, что Адлер и Бауэр стоят на одной и той же позиции. В самом деле, что может означать отрыв «классового государства вообще» от «классового государства, борющегося с пролета-

---

[1]) Там же, S. 56.
[2]) Max Adler, Politische oder soziale Demokratie, S. 124, 125.
[3]) M. Adler, Politische oder soziale Demokratie, S. 122.

риатом». Только признание такого буржуазного классового государства, которое не борется против пролетариата. Но ведь в этом как раз и заключается сущность бауэровской теории. Защищая Бауэра от обвинений в ревизионизме, Адлер подчеркивает, что равновесие классовых сил, являясь временным состоянием, может вести к политике компромиссов, но само является не компромиссом, а «отношением равного напряжения сил» [1]). Единственно, с чем Адлер не соглашается, это с понятием «народной республики», которое может создать недоразумения. «Народная республика», по мнению Адлера, имела место только в эпоху, непосредственно следовавшую за переворотом 1918 г., когда пролетариат получил преобладание в государстве.

Кантианское противопоставление формы содержанию чрезвычайно ярко выражено Бауэром в его рассуждениях по поводу той роли, которую играет войско в государстве. Аппарат классового государства—армия—превращается у Бауэра в неклассовую организацию, охраняющую неприкосновенность не австрийской республики буржуазного, как это признает сам Бауэр, государства, а республиканской формы правления. «Мы не можем использовать оружие наших солдат, чтобы завоевать власть,—пишет Бауэр,—нет, власть мы должны завоевать избирательным бюллетенем. Но оружие наших солдат должно охранить нас от того, чтобы контрреволюция не вырвала из наших рук избирательный бюллетень, в тот момент, когда он сможет привести нас к власти... Мы хотим, чтобы войско осталось органом республики даже в случае восстания буржуазии против республики» [2]).

Каким образом превратить австрийскую армию в орган внеклассового парламента—остается секретом изобретателя. Ведь войско находится в полном распоряжении буржуазного правительства—именно это правительство назначает командный состав, проводит соответствующую воспитательную работу среди солдат, употребляет вооруженную силу в интересах австрийской буржуазии. И если Бауэры попробуют противопоставить этому лозунг защиты республики, то неизбежно возникнет вопрос о том, какую республику должны защищать солдаты.

Пролетарскую, но это ставит перед социал-демократией задачу революционной борьбы за войско, борьбы, которая неизбежно должна выйти за пределы конституции австрийской республики. К такой борьбе Бауэр, очевидно, не расположен. Но тогда войско будет защищать республику Зейпеля. Больше того, лозунг Бауэра «вооруженная сила повинуется приказаниям парламентского большинства, даже и тогда, когда это парламентское большинство станет пролетарским большинством» [3]), разоружает пролетариат и открывает дорогу реакции. В самом деле, защита «чистой» республиканской формы правления обязывает солдат и в том случае, если эта форма наполнится—мирным или насильственным путем—фашистским содержанием. Фашизм вовсе не предполагает монархическую оболочку; он, это доказано историей последних лет, охотно мирится и с республикой. Таким образом, теория Бауэра обеспечивает фашизму поддержку армии.

---

1) Там же, стр. 116.
2) Bauer, Der Kampf um die Macht Wien 1924, S. 27, 28.
3) Ibid, S. 30.

Окончательно рассчитавшись с учением марксизма о государство и о социалистической революции, левые рисуют картину :ереходного периода к социализму. Этот переходный период представляется им эпохой развития так называемой «хозяйственной» : «функциональной» демократии, т.-е. такого строя, в котором существляется самоуправление индустрии—участие производиелей и потребителей в производстве и распределении.

Функциональная демократия «предполагает такое изменение осударственного строя, при котором все большую роль начинают грать, помимо парламентских решений, организации заинтересованных хозяйственных кругов, главным образом, рабочих и слукащих, выполняющих внепарламентские политические функции.

Бауэр считает, что когда банки в силу своих функций лияли на государство, государственный строй представлял собой «финансовую олигархию». Когда пролетариат оказыает влияние на государство, последнее становится функциоальной демократией» [1]).

Мирную картину райского блаженства в недрах «функциоальной демократии» Адлер и Бауэр, конечно, дополняют оговоркой о том, что внутри функциональной и хозяйственной демократии идет классовая борьба, но это пристегивание классового омента совершенно не вытекает из нарисованной ими самими :артины. Больше того, Адлер рисует государство эпохи функциональной демократии, как «пеструю различность» коммун, «связанных одной целью и интересами», союз которых будет способтвовать преодолению противоречий между массой и правительтвом.

Функциональная демократия становится возможной, потому по капитализм изживает свои внутренние противоречия. «Капиалистический способ производства больше не является непреенно анархичным», пишет Адлер [2]). Очевидно, все классы благополучно солидаризируются в хозяйственной и функциональной демократии.

«Достойно значения,—пишет по этому поводу цитированный же нами Кельсен,—что марксист становится на почву такого рганического понимания общества, которое судит об отдельных оциальных группах по значению их функций для целого социального организма и которое с трудом об'единяется с такой :лассовой теорией, которая принимает в расчет исключительное осподство одной группы» [3]). Кельсен справедливо замечает, что акая постановка вопроса приведет к проблеме функций предпринимателя по отношению ко всему социальному организму. В самом деле, по теории Адлера-Бауэра, взятой напрокат у ильдейских социалистов—всякая противоположность интересов между буржуа и пролетарием, между владельцем фабрики и рабоим исчезает — оба они оказываются акционерами общества с ольшой буквы, оба они необходимы для процесса общественного роизводства. Но тогда и здесь мы вновь целиком присоеди-

---

[1]) «Der Kampf». 1924. H. 2: Bauer, Das Gleichgewicht der Klassenkräfte.
[2]) Max Abler, Politis he oder soziale Demokratie, S. 139.
[3]) «Der Kampf» 1924, H. 2: Haûs Kelsen, Otto Bauer's politische Theoen, S. 53.

няемся к Кельсену, теория функциональной и хозяйственной демократии вступает в неразрешимый конфликт со всеми понятиями классовой теории» [1]).

Проблема социализации.

К разработке вопроса о социализации «левых» толкали развертывающиеся в 1919 г. события—и прежде всего—«прямое действие» рабочих. «Массы,—пишет Бауэр,—устремились к социализации индустрии, горнозаводской промышленности, больших имений и местных угодий. Там и тут они применяли насилие, овладевали без законных полномочий отдельными предприятиями. Движением самих масс законодательство было поставлено перед проблемой социализации»[2]). Вскоре был разработан план социализации. По этому плану социализация должна была начаться с об'явления государственной собственностью тяжелой индустрии, наиболее подготовленной для обобществления. Владельцы социализируемых имений вознаграждались, для соблюдения равенства между всеми капиталистами, из сумм прогрессивного поимущественного обложения. Каждая отрасль промышленности должна была управляться правлением, в состав которого входили представители рабочих и служащих данной отрасли производства, представители государства и потребителей. Прибыль распределялась между государством, рабочими и служащими и также шла на воспроизводство. Необобществленными предприятиями управляли об'единенные органы из предпринимателей, представителей государства, рабочих, служащих и потребителей. Примерно по этому же плану должна была произойти также социализация крупных сельскохозяйственных имений, крупной торговли.

В этом идеальном плане обращают на себя внимание некоторые частности. Так, например, автор проекта Бауэр настаивал на том, что банки не должны быть социализированы вместе с промышленными предприятиями. Социализация их,—по мысли Бауэром тем, якобы, обстоятельством, что за время войны банки из них расчетов, как «увенчание здания». Почему пролетариат должен был—вопреки прямому указанию Маркса—оставить в распоряжение буржуазии денежные ценности? Это мотивировалось Бауэром тем, якобы, обстоятельством, что за время войны банки из хозяев промышленности стали органами государственного кредита.

Бауэр умалчивал о том, что именно поэтому банки за время войны еще больше овладели промышленностью и оставить их в руках владельцев означало—лишить базы обобществленные предприятия и предоставить буржуазии крупнейшие средства.

Другой автор, изучавший опыт социализации в Австрии, отмечает, что проблема финансирования социализированных предприятий имела решающее значение. Разрешить ее оказалось невозможным, именно потому, что правительство не использовало банки, несмотря на то, что закон о социализации предоставлял ему эту возможность. «До тех пор, пока политическая

---

1) Там же, стр. 53.

2) Bauer, Die Sozialisierungsaktion im ersten jahre der Republik, Wien. 1919, S. 3.

власть не была достаточной для того, чтобы с помощью § 8 закона привлечь банковский капитал, не будучи зависимым от него, разрешение финансовой проблемы для общественного хозяйства возможно было только путем организации рабочего банка» [1]).

Само собой разумеется, что социализация, опиравшаяся на рабочий банк,—или скорее за отсутствием средств,—на идею рабочего банка, должна была свестись к нулю и в лучшем случае ограничиться организацией нескольких кооперативных предприятий. Даже цитированный нами выше социал-демократический автор приходит к выводу, что «никакая обширная социализация немыслима до тех пор, пока не может быть проведена социализация банков... господствовавшее после войны представление, что социализация банков является последним камнем, завершающим дело социализации, соответствовало тогдашнему положению банков, но накопленный практический опыт... и центральное значение для хозяйства, которое с тех пор получил банковский капитал, показали, что социализация банков должна стоять в начале каждой обширной социализации, которая ведет к действительному овладению хозяйством» [2]).

Но не были социализированы не только банки, а и основные отрасли промышленности—производство угля и железа—тем самым немногие социализированные предприятия оказывались в полной зависимости от тяжелой индустрии, оставшейся в руках капиталистов. Не менее интересен и тот факт, что проект Бауэра старательно избегал огосударствления предприятий. Не огосударствление, но обобществление—таков был лозунг Бауэра, утверждавшего, что в случае передачи крупных предприятий государству, последнее чересчур усилится и будет противостоять народу. Таким образом, заранее предполагалось, что социализация будет производиться в таких условиях, когда государственная власть является чем-то отличным от «демократии», иными словами, в условиях буржуазного государства.

Совершенно ясно, что рабочим нечего было опасаться усиления правительства при диктатуре пролетариата. Иное положение создавалось при коалиционном правительстве. Кратковременное существование социализированных предприятий показало, что вопрос об управлении ими целиком упирается в политику. «Прежде всего,—пишет Кэтэ Лейхтер,—бесспорно выясняется, что «общие интересы» представителей капиталистического государства (в правлениях социализированных предприятий. *Н. Р.*) в основном все же являются политическими интересами данного правительства» [3]). Лейхтер приводит ряд случаев, когда социал-демократическая партия, как политическая организация должна была выступать против тех или иных мероприятий, исходивших от уполномоченных коалиционного правительства в правлениях социализированных предприятий. Это лишний раз подтверждает, что представители трех групп (производителей, потребителей и государства) в социализированных предприятиях представляли не просто различные функции

---

[1]) Käthe Leichter, Erfahruugen des österreichischen Sozialisierungs.
[2]) Там же, S. 245 (versuch.—Der lebendige Marxismus, Iena 1924, S. 244).
[3]) Там же, S. 205.

в капиталистическом обществе, а отражали интересы различных общественных классов.

Лейтмотивом всех проектов, планов и предложений социализации со стороны левых было требование постепенности, осторожности. Не должно быть «брутальной конфискации», «Nichtallzu radikal». «Не слишком радикально»,—твердил изо дня в день Бауэр. Выдвигался и такой лозунг: «Главное в социализме—социализация не собственности, а производства». Как можно отрывать вопрос об уничтожении частной собственности от обобществления производства, «левые» не об'ясняли.

Таким образом, главными чертами планов социализации левых, во-первых, является недооценка значения определенных политических предпосылок для социализации, предположение, что социализация может быть проведена в буржуазном обществе; во-вторых, чрезвычайная осторожность по отношению к предпринимателям.

Результаты проведения этих планов лучше всего можно проверить на опыте Австрии. Закон о социализации в Австрии был принят в марте 1919 г. Но вскоре последовали невзгоды. Неудачу социализации Бауэр об'ясняет исключительно международной обстановкой—усилением Антанты и зависимостью от иностранного капитала, но при ближайшем рассмотрении дело, оказывается, обстояло иначе. Наиболее характерным является случай с Альпино-Монтанским обществом. Это крупное горнозаводское предприятие представляло, по словам Бауэра, самые благоприятные возможности для социализации. «Оно находилось в руках немецко-австрийских «отечественных» капиталистов, кроме того, курс его акций был низок. Можно было получить предприятие задешево и вместе с тем удовлетворить акционеров. Но итальянцы скупили акции и «о социализации Альпийского Горного Общества, поскольку оно попало в итальянские руки, нечего было и думать. Столь слабая по отношению к зарубежным государствам немецкая Австрия не могла осмелиться на экспроприацию заграничных капиталистов» [1]).

Но, по существу, дело было, конечно, не в итальянцах. Конфискуй правительство это предприятие и об'яви акции аннулированными—никакие итальянские или иные капиталисты не вздумали бы их скупать. Очевидно, вина должна быть перенесена не на итальянских капиталистов или того члена правительства». Как можно было обобществить промышленность, не нанося номышленников, которые уверяли пролетариат в том, что «главное в социализации—это социализация не собственности, а производства». Как можно было обобществить промышленность, не нанося удара частной собственности, хотя бы собственности одних только отечественных капиталистов—показывает инцидент с Альпино-Монтанским обществом. Вторым препятствием, помешавшим делу социализации, Бауэр считает местный партикуляризм, противодействие отдельных областей. Нетрудно заметить, что и этот вопрос упирается не только, вернее не столько, в экономику, сколько в политику. Опыт социализации в Австрии не оставляет ни малейшего сомнения в том, что политические предпосылки социализации имеют решающее значение. И, когда Бауэры и

[1]) Бауэр, Австрийская революция, 1918 г., стр. 175.

Адлеры старательно раз'ясняли австрийским рабочим «ошибочность» большевистского учения, которое видит в социализации «не экономическую проблему, а проблему власти»—они проповедывали—в теории и пытались осуществить на практике то, что Энгельс называл «врастанием» старого свинства в «социалистическое общество».

Крестьянский вопрос.

Проблема взаимоотношения пролетариата с непролетарскими слоями населения и. в первую очередь, с крестьянством, претерпела у левых с.-д. значительную эволюцию. В годы Sturm und Drang'a «левые» решали этот вопрос точно так же, как и международный меньшевизм вообще. Бауэр доказывал, что крестьянство в своем развитии проходит две фазы. В начале угнетаемое ипотеками, ростовщическим капиталом эпохи денежного хозяйства крестьянство настроено антикапиталистически. Но в своей борьбе против капитализма крестьянство не об'единяется с пролетариатом. «Положение войны против капитализма сделало крестьян союзником не пролетариата, как надеялся Маркс, а городской мелкой буржуазии, прежде всего, подвластного капиталу ремесла, которое в эту эпоху ведет такую же борьбу против торгового и ростовщического капитала» [1]). Восстававшие ранее против феодализма крестьяне и ремесленники становятся орудием в руках феодалов и церкви, враждующих с буржуазным либерализмом. Но во второй половине XIX века в экономическом положении крестьянства происходят серьезные изменения. Повышение хлебных цен ускорило рационализацию крестьянского хозяйства, уменьшился гнет ростовщика, тяжесть ипотеки, выросла кооперация. Этот перелом привлек крестьянство на сторону капитализма. «Антикапиталистическое настроение крестьянства исчезло». Наступает фаза антипролетарской политики крестьянства. Крестьянин вместе с представителями тяжелой индустрии выступает в защиту охранительных пошлин.

Рабочий вопрос, возникший в деревне, настраивает крестьян против городского и сельского пролетария. Столкновение пролетарских и крестьянских интересов происходит и в области политики цен,—заработной платы и т. д. Такова, по мнению Бауэра, тенденция развития крестьянства. Крестьянство от 1789 г., когда оно—и то лишь на короткое время—передало руководства городской мелкой буржуазией—идет к 1848 г., когда оно обеспечило победу буржуазии над пролетариатом от добровольного подчинения диктатуре санкюлотов—к голосованию за Наполеона III.

Современное положение крестьянского вопроса—это 1848 г., и разрешение противоречий между крестьянством и пролетариатом Бауэр видел лишь в численном превосходстве рабочего класса. Пролетариат может, по его словам, господствовать лишь там, где он представляет большинство нации.

Рассуждения Бауэра страдают прежде всего исключительным схематизмом. Только при полном игнорировании противоречий, заложенных в крестьянском хозяйстве, можно было различать антикапиталистическую и антипролетарскую фазы в развитии крестьянства. Неправильно изображать крестьянство в первой

---

[1]) Bauer, Bolschewismus oder Sozialdemokratie, S. 77.

фазе решительным противником ростовщического капитала, так как ростовщиком очень часто становился сам крестьянин. Еще более неверно изображение второй, антипролетарской фазы. Если, с одной стороны, крестьянин вместе с промышленником стоит за охранительные пошлины, то, с другой стороны, крестьянин, в противовес промышленнику заинтересован в дешевых ценах, например, на сельскохозяйственные орудия. Крестьянин заодно с промышленником добивается снижения заработной платы рабочим, но он вместе с рабочим борется против повышения налогов и т. п. Переносить, как это делает Бауэр настроения французского крестьянства в 1848 г., вызванные определенной исторической ситуацией на вторую половину XIX и на начало XX века, обобщать эти настроения в закон общественного развития значило совершать историческую передержку. Но этот схематизм был необходим Бауэру для того, чтобы показать невозможность социалистической революции при наличии во всех странах значительных масс крестьянского населения. Бауэровская постановка вопроса отодвигала пролетариат от решения одной из важнейших задач революции—от борьбы за крестьянство, от привлечения его на свою сторону. Вместе с тем Бауеровский ответ переоценивал силы капиталистического лагеря и, таким образом, устранял возможность социалистической революции до того времени по крайней мере, пока большинство крестьянства не будет переварено в фабричном котле.

Если в исторической действительности не существовало антикапиталистической и антипролетарской фазы развития крестьянства, то в воззрениях австрийских «левых» с.-д. нетрудно различить антикрестьянскую и крестьянофильскую фазы. В 1924 г. тот же Бауэр выставил проблему борьбы за средние слои, как очередную задачу пролетариата. Перемена взглядов в этом вопросе об'яснялась Бауэром довольно примитивно. По его мнению, привлечение мелкобуржуазного населения, в первую очередь—крестьянства на сторону социал-демократии раньше было опасно—мелкобуржуазные влияния (до тех пор, пока пролетариат не конституировался, как класс, и не об'единился в социал-демократическую партию) могли извратить пролетарский характер социал-демократии. Сейчас этой опасности нет—рабочий класс находится в рядах социал-демократии. Трудно поверить, что пролетариат в Австрии—как раз применительно к этой стране и строит свои рассуждения Бауэр—«конституировался, как класс» только в промежутке 1918 г. и 1924 г. Мы склонны отнести этот исторический период лет за 40—50 назад. Но идеолог австрийской социал-демократии не отличается строгой принципиальностью и не всегда склонен исчерпывающе мотивировать тактическую эволюцию своей партии. В 1924 г. Бауэр только выдвинул проблему. Вскоре последовал первый шаг к ее разрешению—на партейтаге 1925 г. была принята аграрная программа.

Отвечая на вопрос о том, почему австрийская социал-демократия создает аграрную программу, Бауэр всячески постарался отодвинуть вопрос о крестьянстве, как о союзнике пролетариата. На первый план он поставил проблему повышения покупательной способности внутреннего рынка, основную экономическую задачу, которую преследует программа; затем—вопрос об улучшении по-

ложения сельскохозяйственного пролетариата и, наконец, задачу политическую—привлечение крестьянства на сторону пролетариата, создание союза, без которого невозможно утверждение власти рабочего класса. Здесь Бауэр выступает, обогащенный опытом 1918—1920 гг.«Следствием опыта, главным образом, из времен, которые следовали за переворотом, из революционных времен 1918—1920 гг.—является то понимание, что мы не можем завоевать власть для рабочего класса, и, когда случай (?! *Н. Р.*) отдает нам ее в руки, мы не в состоянии утвердить власть до тех пор, пока наше влияние в основном, ограничено городами и промышленными областями... Каждый раз, когда мы, опираясь только на города и на промышленные области имели бы в наших руках власть и начали бы эту власть употреблять в социалистическом смысле, каждая чисто аграрная область в нашей стране стала бы Вандеей, центром или открытого восстания или отпадения, в том случае, если мы не имеем также и там достаточно сильные позиции власти... Совершенно невозможно, чтобы пролетариат использовал власть, употребил бы господство в государстве для изменения общественного порядка до тех пор, пока пролетариат остается чисто индустриальным пролетариатом и пока он не об'единился с индустриальным пролетариатом той массы рабочего класса там, в деревне, которая, частью, как неимущие наемные рабочие, частью, как бобыли, мелкие крестьяне ведут пролетарскую жизнь, массы, интересы которых, как и интересы промышленного пролетариата, противоположны интересам капитала, но массы, которые еще не дошли до понимания своих классовых интересов» [1]).

Итак, австрийские с.-д. сделали значительный шаг вперед. Вместо «антипролетарской фазы» в развитии крестьянства налицо общность интересов пролетариата и крестьянства. В 1919 г. Бауэр отмечал «ошибку» Маркса в крестьянском вопросе. В 1925 г. он открывает, что «у Маркса уже во время революции 1848 г. возникла мысль о том, что пролетариат может победить только тогда, когда он поймет необходимость достигнуть руководства, гегемонии над всем трудящимся народом» [2]).

В 1919 г. Бауэр всю свою концепцию неминуемого столкновения пролетариата и крестьянства строил под углом зрения критики большевистского опыта рабоче-крестьянского союза. В 1924 г. он отмечает, что «несомненной заслугой большевизма и одной из вещей, которой у него надо учиться», является постановка проблемы гегемонии пролетариата по отношению к крестьянству.

Правда, на ряду с признанием большевистской заслуги, Бауэр не упускает случая сделать выпад против большевистских методов установления гегемонии пролетариата. Бауэр сочиняет фантазию, гласящую, что большевики, передав крестьянам земли, купили, таким образом, их «пассивное терпение». Большевики, согласно Бауэру, «не докучают крестьянству в деревне, его локальной жизни, а оно не беспокоится о том, кто и как правит городом, до тех пор, пока его оставляют в покое». «У нас,—гордо заявляет Бауэр,—дела обстоят совсем иначе. Крестьянское насе-

---

[1]) Protokoll des sozialdemokratischen Parteitages der soz.-dem. Arbeiterpartei Deutsch-Oesterreichs, Wien 1925, S. 248.

[2]) Там же, стр. 249.

ление у нас никоим образом не индифферентно политически, не бессознательно, не незаинтересовано так, как это было в России в 1917 г. ...Проблема гегемонии пролетариата по отношению к крестьянству у нас может быть разрешена только на иной дороге, нежели на то, на которой ее пытался решить большевизм» [1]).

Под прикрытием столь грозных заявлений Бауэру не стоит большого труда позаимствовать у большевиков—на этот раз без ссылки на авторскую принадлежность—теорию некапиталистической эволюции крестьянского хозяйства... «По моему мнению,—говорит Бауэр,—марксист, в настоящее время, когда мы совсем иначе понимаем тенденции развития в сельском хозяйстве, чем, например, они понимались в 90-х г.г., марксист должен рассматривать проблему иначе. Крестьянское хозяйство an sich—ни капиталистическая, ни социалистическая форма предприятия. Но как возник капитализм? Он возник не в области крестьянского хозяйства, а в области индустрии, торговли, банков, крестьянское хозяйство постепенно приспособилось к возникшему, таким образом, капиталистическому рынку. И история этого приспособления—есть большая часть истории XIX столетия. Сравните современного крестьянина с крестьянином за сто лет раньше; натурально-хозяйственного крестьянина с крестьянином, который продает свои продукты и покупает средства труда, даже средства потребления; это совсем иной крестьянин, который хотя и не стал капиталистическим предпринимателем, но должен был приспособиться к капиталистическому обществу, которое возникло вокруг него. Аналогично этому должно произойти с построением социализма—он возникнет с обобществлением крупной промышленности, крупных сельскохозяйственных поместий, крупной торговли и банков. Этим будет создано социалистическое окружение, которое включит хозяйство крестьянина в организованный процесс» [2]).

Ревизионист Бауэр не мог обойтись, конечно, без «исправлений» марксизма и «моментального изготовления» новых теорий. Проводя параллель между крестьянским хозяйством в условиях капитализма и социализма, он изолирует крестьянское хозяйство от капитализма, который, вопреки всем фактам экономической истории, возникает, оказывается, раньше всего в торговле и промышленности «вокруг» крестьянского хозяйства. Ревизионизм сказывается также и в том, что Бауэр отождествляет индустриальный пролетариат с мелким крестьянством. Вместо социально-экономического анализа крестьянства, Бауэр ограничивается одной лишь ссылкой на разную степень сознательности рабочего и крестьянина. Что у крестьянина есть «две души», «рассудок» и «предрассудок»—об этом Бауэр умалчивает.

Ревизионизм чрезвычайно ярко сказывается и в практической части программы. На первый план программа выдвигает... поднятие производительности крестьянского хозяйства, при чем утверждается, что «вопиющее» противоречие между наличными техническими возможностями сельского хозяйства и фактическим положением крестьянского хозяйства может быть в условиях капитализма, если не совсем преодолено, то, по крайней мере,

[1]) Там же, стр. 249.
[2]) Там же, стр. 309.

сужено поднятием культурного уровня крестьянского хозяйства. Программа рекомендует также развитие «общинного социализма»— (при капитализме!), которое является средством для под'ема хозяйства безземельных и малоземельных крестьян и сельских пролетариев [1]).

О том, что «общинному социализму» в капиталистических условиях противостоит процесс разложения крестьянства—программа умалчивает. Правда, авторы программы все же принуждены были оговориться, указав на то, что проведение ряда практических предложений, имеющихся в программе, невозможно без «существенного вмешательства в отношения собственности». Однако «вмешательство в отношения собственности» (социализирование лесов и крупных поместий) об'являстся «конечной целью», т.-е. такая оговорка хоронит в сущности всю программу.

Чем же об'ясняется эволюция австрийских с.-д. в крестьянском вопросе? Бауэр в своем комментарии к аграрной программе утверждал, что вопрос о взаимоотношении пролетариата и крестьянства не должно рассматривать просто с точки зрения числа голосов, однако этому авторитетному заявлению нельзя придавать серьезного значения.

Есть все основания предполагать, что смена антикрестьянской тактики ревизионизма крестьянофильской, полупоклоны в сторону большевиков и плагиаты из Ленина об'ясняются как раз погоней за голосами. Косвенно это подтверждается отсутствием теоретического анализа крестьянства и той легкостью, с которой Бауэр перевел крестьянство из противников пролетариата прямо в ряды рабочего класса.

Но мы имеем еще более прямое указание. В брошюре «Борьба за власть», Бауэр в доказательство необходимости завоевания для социал-демократии крестьянских масс, ссылается на данные о выборах в австрийский парламент. Австрийские социал-демократы могут добиться большинства в парламенте—стоит лишь только обратить внимание на крестьян избирателей. И тогда,— мечтает Бауэр,—«тогда мы завоюем власть мирными средствами, которые дает нам демократия, оружием избирательного бюллетеня» [2]).

Само собой разумеется, что для привлечения крестьянских голосов нет нужды в специальной разработке вопроса о гегемонии пролетариата. У австрийских с.-д. не избирательная тактика исходит из понятия гегемонии пролетариата, а фразы о гегемонии вводятся для теоретической отделки избирательной тактики. Немудрено поэтому, что Бауэр и К° с легким сердцем стирают грань между крестьянством и пролетариатом, что они, напр., об'являют религию частным делом, только бы привлечь крестьянские голоса. Что же касается марксизма—то разве нельзя оставить его в стороне—если дело идет об избирательном бюллетене?

Там, где избирательные урны и статистика парламентских выборов оказывается не у места—вопрос о союзниках пролетариата для левых с.-д. не существует. Так, например, обстоит дело с проблемой национальной и колониальной революций. «Любопытно,—говорил в 1920 г. Гильфердинг,—есть ли у азиатского

---

[1]) Там же, стр. 266—270.

[2]) Bauer, Der Kampf um die Macht, Wien 1924, стр. 26.

движения, которое имеет свое большое всемирно-историческое значение, что либо общее с новейшим социалистическим марксистским движением». В попытке анализировать революцию на Востоке Гильфердинг обнаружил полнейшее непонимание ее антиимпериалистического характера. «Где корень этого движения,—спрашивал он и отвечал,—основа его—буржуазно-крестьянское движение к образованию национального единого государства и к достижению независимости этого национального единого государства.

Это движение исполнено национального духа и вполне понятно, что и азиатское движение исполнено этого духа.

Таким образом, я был вполне прав, когда говорил, что это движение ничего общего не имеет с коммунизмом или социализмом.

Полемизируя против восточной политики Коминтерна и квалифицируя ее как проявление оппортунизма, как национально государственную политику советской республики, Гильфердинг заявлял, что движение на Востоке хотя и прогрессивно и социалисты должны его поддержать, но для социалистов способствование такому движению находит границу в их социалистических принципах. Гильфердинг—и это характерно для всех левых—не отрицал категорически значение национального и колониального вопроса вообще, но он старательно снимал проблему взаимоотношения коммунистического и национально-революционного движения с порядка дня и переносил ее в далекое будущее. Для этого будущего у Гильфердинга оказывалось достаточно красок. Революционирование Востока, утверждал Гильфердинг за 4—5 лет до китайской революции... «это очень долгий процесс... результаты которого мы сегодня едва еще можем предвидеть и который, быть может, означает, что центр мировой истории, вероятно, вообще перенесется дальше на Восток»[1]).

Рассуждения о далеком будущем не могут скрыть того факта, что в настоящее время левые не только снимают с порядка дня важнейшую проблему об'единения пролетарского и национально-революционного движения, но, пожалуй, склонны акцентировать прогрессивную, культурническую «миссию» капитализма в колониях. Рисуя зловещие перспективы второй мировой войны, Бауэр отмечал, например, что эта война, может быть, разрушила бы господство капиталистических держав над колониальными народами, но в то же время уничтожила бы также и капиталы, без которых невозможно развитие производительных сил в колониальных странах, и тем самым явилась бы причиной продолжения давно устаревших производственных отношений, т.-е. причиной продолжения их (колониальных народов. *Н. Р.*) бедности и культурного оцепенения»[2]).

Но ведь уничтожение—и, во всяком случае, уменьшение капиталов, импортируемых в колонии из метрополий, принесет с собой не только мировая война, но и революция—если, конечно,

---

[1]) Protokoll der Verhandlungen des ausserordentlichen Parteitages im Halle, Berlin 1920, S. 188, 189.

[2]) «Der Kampf» 1925 г., № 8/9: Bauer, Kongress in Marseille, стр. 282.

последняя совершится не по прописям «Kontinuitätstheorie». Вывод из бауэровских предостережений может быть только один — революции, поскольку она так же, как и война, предполагает известное уничтожение материальных ценностей и уменьшение импорта капиталов в колонии—следует предпочесть нынешний status, не препятствуя империалистам обогащать колониальные народы и выводить их из состояния «культурного оцепенения».

Позднейшие события на Востоке, в особенности победы китайской революции, заставили «левых» несколько изменить тон в национально-колониальном вопросе. Если в 1920 г. Гильфердинг рассматривал революции Востока в чрезвычайно далекой исторической перспективе, то в в 1925 г. Бауэр вынужден об'являть события в Китае «началом великого мятежа последней резервной армии капитализма». В 1920 г. левые издевались над «союзом Коминтерна с муллами». Теперь Бауэр говорит о революции на Востоке, как о «нашем собственном деле» [1]).

Но левые не ставят вопроса о значении революции в колониальных странах для мировой социалистической революции. Бауэр считает, что азиатские народы должны быть освобождены, т. к. иначе их пробуждение может бросить в огонь весь мир;— вождь австрийских с.-д. исходит, таким образом, из соображений пацифистского порядка. Стратегическая установка «левых» по отношению к китайской революции заключается в том, чтобы поставить эту революцию вне поля зрения, за пределами интересов западно-европейского рабочего, доказать, что события в Китае не имеют ни малейшего отношения к борьбе против империализма во всем мире.

В 1917—1920 гг. «левые» с такой же целью «окрестьянивали» революцию в России; в 1925 г. они стремятся принизить значение революции в Китае. И недаром Бауэр, не скупящийся на громкие фразы о «пробуждении Востока», замечает в то же время, что движение китайских рабочих «имеет, быть может, некоторые общие черты, примерно, с движением луддитов в Англии» [2]).

Эта «историческая» аналогия китайской революции с стихийными движениями английских рабочих конца XVIII века против машин подменяет антимилитаристический характер китайской революции бессмысленным бунтом против той цивилизации и культуры, которые так ревностно защищает пацифист Бауэр.

«Левые» игнорируют и извращают, когда нет возможности игнорировать действительную сущность и значение национально-колониального вопроса. И немудрено,—ведь эта проблема ни в малейшей степени не касается парламентских выборов.

Политическое значение теории революции «левых».

«Левое» течение возникло в небольшой австрийской с.-д. партии, которая развивает свою деятельность в стране, не играющей сколько-нибудь значительной роли в мировом хозяйстве и в мировой политике. Это имеет свои исторические основания. Спе-

---

[1]) Zweiter Kongress der sozialistischen Arbeiter-Internationale in Marseille, August 1925, S. 336.

[2]) Там же.

цифичность «австро-марксизма» об'ясняется в первую очередь теми условиями, в которых развивалась австрийская социал-демократия. Некоторую базу для «левизны» партии создавала обостренность национального вопроса в «лоскутной монархии». Необходимость освобождения (в той или иной форме) мелких наций: чехов, хорватов, словенцов, поляков и других народностей, угнетенных австро-венгерской империей, позволяла с.-д. партии немецкой Австрии отказаться от политики «национального единения» и до известной степени развязывала ей руки по отношению к монархии.

Но помимо этих об'ективных обстоятельств на политику партии давили революционно настроенные индустриальные рабочие промышленных округов Австрии и, главным образом, Вены. Поэтому с давних пор реформистское течение в австрийской партии находилось в состоянии некоторой связанности, стесненности. Рядом об'ективных обстоятельств австрийский реформизм вынуждался к большей гибкости и пластичности, нежели, например, германский реформизм. «Уже со времени Гайнфельдского партейтага 1888—89 г.,—пишет автор, хорошо знакомый с внутренней жизнью австрийской социал-демократии, когда Виктор Адлер и Каутский связали между собой энтузиазм радикалов и трезвую, несколько мелкобуржуазную систематику умеренных, мы видим преобладание тенденции противопоставить радикализм по форме оппортунизму на деле» [1]).

Программа австрийской партии была сформулирована настолько неясно, что удовлетворяла как правое, так и левое крыло. На практике, рабочие массы всегда толкали влево реформистских партийных руководителей. В 1891 г. рабочие заставили вождей, стремившихся к компромиссу, согласиться на празднование 1 мая, несмотря на репрессии со стороны правительства. Такое же положение создалось позднее по вопросу о роли стачек. Когда печатник с.-д. Хвала потребовал сбора «фонда сопротивления» для борьбы за заработную плату, Адлер отвечал ему, что «стачка, как таковая, не имеет ничего общего с нашими партийными принципами, и опыт показывает, что она часто стоит больше, нежели приносит». Но в 1894 г., когда партийные центры вместо того, чтобы бороться за всеобщее избирательное право, занялись дипломатическими интригами и стремились подавить дискуссию о массовой политической забастовке, рабочие с.-д. помешали этому. С.-д. Хебер потребовал признания всеобщей стачки, как средства борьбы за 8-часовой рабочий день и за всеобщее избирательное право. Угрозой партийного раскола он добился у руководителей согласия с его предложениями. В 1901 году, во время дискуссий с ревизионистами, выступление с.-д. профессионального работника во главе большинства партейтага заставило Адлера, склонного сделать уступки ревизионизму, подтвердить свою верность ортодоксии.

Во время революции 1905 г. в России австро-марксисты, учитывая настроение масс и понимая, что оппортунизм далее не был удобен («Opportunität war nicht länger opportun»), выступили

---

[1]) Franz, Opportunistische und radikale Tendenzen in der Sozialdemokratie Oesterreichs («Vorbote», Internationale marxistische Rundschau, Januar, 1916, № 1, S. 58) (Franz—псевдоним Коригонера, ныне австрийского коммуниста).

во главе рабочих. В дальнейшем рабочим не раз приходилось «нажимать» на вождей, одергивая их влево. Это имело место и при инциденте с участием с.-д. депутатов в придворных церемониях по случаю открытия парламента, когда Венский X район—партийная организация второго по величине индустриального округа—предложил передать виновных депутатов партийному суду. Так было и во время конфликтов по национальному вопросу, когда под давлением радикалов была отвергнута оппортунистическая резолюция сепаратистов.

Война неминуемо должна была укрепить левые тенденции в партии. Австрийская партия, в отличие от немецкой и других, не голосовала за военные кредиты (парламент не был созван при об'явлении войны) и хотя впоследствии целиком и полностью поддерживала правительство в войне. Но эта поддержка закончилась ранее, чем в Германии, вследствие того, что тяжелые последствия войны, развал австро-венгерской империи и абсолютное отсутствие перспектив на победу сказались в Австрии гораздо раньше, чем в других воюющих государствах, не считая России. «Партия,—писал правый австрийский с.-д. Аустерлиц,—не была—и это существенно отличает ее от немецкой партии—носительницей войны и, если немецкая партия твердо придерживалась политики 4 августа, уже после того, как исчезли ее основы, а усилия партии наложить свой штемпель на цели войны—не могли быть поняты..., то наша политика уже в продолжение трех лет концентрировалась только на одной цели: на окончании войны и проведении мира» [1]).

Этой обстановкой развала монархии, поражений армии и стремления масс к миру и об'ясняется появление так называемой «левой» во главе с Фридрихом Адлером, выступившей в 1916 г. с программой правого Циммервальда. В проекте резолюции, внесенном Адлером на партийной конференции, звучали даже не столько циммервальдовские, сколько пацифистские нотки, так, например, резолюция требовала упорядочения мирового хозяйства путем установления свободы торговли и обмена. Интересно отметить, что Адлер был поддержан, не только группой «левых», об'единенных в ферейны «Карл Маркс», но и представителями сильнейших индустриальных округов немецкой Австрии [2]).

Вскоре вспыхнула революция в России, оказавшая огромное влияние на австрийские народные массы. Напор масс и очевидная необходимость скорейшей ликвидации войны и создали популярность «левой», хотя взгляды Фрица Адлера и его сторонников были далеки от подлинного революционного марксизма. Но массы не разбирались в тонкостях партийных формулировок. Достаточно было того, что «левые» решительно высказывались против войны. Бауэр сам признается в том, что сперва лишь демократический пацифизм одержал верх в партии» [3]). Этот же напор масс в сочетании с прирожденной гибкостью австрийского реформизма, умеющего применяться к обстановке, об'ясняет и то обстоятельство, что левые получили перевес в партии. На

[1]) «Der Kampf» 1918, № 1, стр. 15.

[2]) Franz; см. также Австр. револ., 55, см. также Троцкий, т. VIII, Полит. силуэты: Виктор Адлер.

[3]) Бауэр, Австрийская революция, 59.

партейтаге 1927 г. «левые» огласили декларацию, в которой они, солидаризируясь с русскими интернационалистами и немецкими независимыми, обвиняли партийное большинство в невыполнении решений о войне Штутгартского и Копенгагенского интернациональных конгрессов. Декларация требовала энергичной борьбы за мир, указывала на необходимость классовой борьбы, разрешения национального вопроса путем созыва учредительных собраний каждой нации и протестовала против выступлений реформиста Реннера, который, предвосхищая позицию «левого» Бауэра в 1919—1920 гг., считал, что пролетариат выполнит свои интернациональные задачи, когда он будет представлен в правительстве.

Что же касается организационных взаимоотношений между большинством и меньшинством, то в этом вопросе левые были чрезвычайно умерены. Они отклонили всякое стремление к расколу партии и защищали лишь легализацию партийной оппозиции. Скромность декларации возбудила недовольство даже среди самих «левых»—«левая» молодежь настаивала на том, чтобы в декларации было выражено порицание политике Центрального Комитета во время начала войны.

Партийное большинство, хотя и отклонило декларацию, но, учтя обстановку, отнеслось в общем благосклонно к выступлению «левых». Партейтаг обязал Центральный Комитет вести всеми силами борьбу за мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. Дискуссия в партии была разрешена, Фридриху Адлеру послали братский привет. Передвижка сил в пользу «левых» окончательно определилась в 1918 г., и этим годом датируется начало их идейной гегемонии в австрийской партии. Эта мирная передвижка была возможна только при той гибкости австрийского реформизма, о которой мы говорили раньше. Каких-либо кардинальных отличий между «левыми» и правыми не существовало. После того, как Австрия вышла из войны, центральный пункт разногласий между обоими крыльями партии в отношении к войне перестал играть какую-нибудь роль, а по вопросу об отношении к революции правые и левые были в общем едины. То ли первые полевели, то ли вторые поправели, писал «левый» Отто Лейхтер, но разногласия по вопросу о демократии и диктатуре, возникшие в 1918 г., не были столь велики, как в 1917 г. Лейхтер в своей откровенности доходил до того, что приписывал некоторый успех коммунистов неоформленности левой оппозиции [1]).

До известной степени Лейхтер, вероятно, прав. Чтобы не отстать от событий, левые вынуждены были самоопределиться, но Бауэр и Фридрих Адлер не выступали в сколько-нибудь резкой форме против Зейца и Виктора Адлера. «Первые» только раньше учли обстановку и настроение масс. «Левая»,—пишет Бауэр,—была той движущей силой, благодаря которой партия проделала свою эволюцию во время войны и которая привела к уяснению ее задач в революции. Оба направления внутри партии, правое или левое, имели одинаковую заслугу в том, что внутрипартийные разногласия не привели к расколу, но были изжиты путем эволюции всей партии в целом. Под мудрым руководством Виктора Адлера, Зейца и Аустерлица большинство

1) «Der Kampf» 1919, H. 14: Leichter, Die neue Linke, S. 435.

партии постепенно пересмотрело свою тактику, следя за меняющейся исторической ситуацией, приноравливая свою тактику к колеблющемуся настроению масс, изживая постепенно разногласия между левым и правым крылами партии» [1]).

При этой перемене декораций «левая» имела несомненно ряд данных для того, чтобы занять место на авансцене. Она показала себя в последние годы более чувствительным камертоном, быстрее уравновешивающим настроение, нежели правое крыло. Представитель правого крыла, Реннер, открыто проявил социал-патриотизм, защищая сохранение реформированной Австро-Венгрии. «Левый» Бауэр являлся автором революционной национальной программы, требовавшей полного самоопределения всех наций Австро-Венгрии. Правые имели в своих рядах таких людей, как Виктор Адлер и Аустерлиц, скомпрометированных оборонческой политикой. Во главе левых стоял циммервальдец Фридрих Адлер, стяжавший своим «подвигом» славу «национального героя», Фридрих Адлер, бросивший, между прочим, крылатое словечко о том, что «популярность—это капитал, который нужно стремиться использовать». Словом, левое крыло являлось тем буфером, который один только и был в состоянии принять на себя удары надвигавшейся революции. Экзамен на эту роль левым пришлось держать еще до переворота.

В январе в Австрии разразилась крупнейшая стихийная стачка, принявшая ярко выраженный революционный характер. Но «левые» постарались затормозить движение. Бауэр об'ясняет их тактику, главным образом, опасностью оккупации Австрии германскими войсками в случае революции и последующим столкновением германских войск с войсками Антанты на территории Австрии [2]).

Фальшивость об'яснения бросается в глаза. Бауэр, загипнотизированный мощью германского и антантовского империализма, совершенно умалчивает о том, что империализм обеих коалиций переживал колоссальные потрясения, что войска разлагались и что оккупация Австрии немцами или французами (проблематичная сама по себе), вероятно, привела бы к тем же последствиям, что и позднейшая оккупация германскими войсками Украины или интервенция французов на юге России. Но, так или иначе, левые постарались воспрепятствовать развитию движения. «Мы,—пишет Бауэр,—выдвигали забастовку, как большую революционную демонстрацию. Превращение ее в революцию мы желать не могли» [3]). Позиция, занятая «левыми» во время январской стачки, была прообразом их последующей тактики.

Революция 1918 г. ни в малейшей степени не являлась делом рук левых. «Левая не сделала революции,—откровенно признавался Бауэр,—но она духовно подготовила партию к использованию вызванной войной и поражением революции» [4]). «Духовную подготовку» для использования революционной ситуации левые понимали довольно своеобразно. Что взятие власти рабочим массам в Австрии было вполне возможно, этого не

[1]) Бауэр, Австрийская революция, стр. 63. Курсив мой. *Н. Р.*
[2]) Австрийская революция, стр. 63.
[3]) Там же.
[4]) «Der Kampf» 1920, № 7, стр. 251.

скрывает никто из «левых». «Нет ни одного другого государства, где со времени ноябрьского переворота рабочему классу представлялась бы такая легкая возможность взять власть, как именно в Немецкой Австрии,—писал Фриц Адлер,—учреждение чисто социалистического правительства в ноябре было бесспорно возможно» [1]).

Чем же об'ясняли «левые» необходимость самоограничения пролетариата и отказа от захвата власти? Прежде всего необходимостью возложить на буржуазию ответственность за последствия войны. «Левые» не желали, что пролетариат взял власть до тех пор, пока буржуазия не «сдаст поста» в полной целости и сохранности. «В случае, если бы образовалось чисто социалистическое правительство», усиление голода и нужды, которые выступали только, как результаты войны, были бы представлены буржуазной прессой индифферентной массе, как результаты социалистического владычества. Было необходимо, чтобы буржуазия несла существенную часть совместной ответственности за результаты военных ужасов (Kriegsgreuel) [2]). С другой стороны, по мнению Бауэра, социалистическое правительство столкнулось бы с сопротивлением крестьянства аграрных областей немецкой Австрии. «Не имея большинства в парламенте, оно прибегло бы к диктаторским средствам и развязало бы гражданскую войну, в огне которой погибла бы революция» [3]).

И, наконец, последним доводом против социалистического правительства была ссылка на Антанту, которая во всякую минуту могла выморить страну голодом».

Из такого анализа положения родилась идея коалиции. Что социалистическая пресса могла и должна была раз'яснить массам, в какой степени трудности, которые стоят на пути социалистического строительства, об'ясняются империалистической войной, т.-е. политикой буржуазии; что заставить буржуазию нести действительную ответственность за войну—значит возложить на нее тяготы послевоенного периода, вырвать из ее рук власть, а не разделять с ней министерских портфелей—об этом Бауэр не говорил по той простой причине, что коалиционная политика «левых» ставила перед собой вполне определенную задачу. Коалиция должна была затормозить революцию—никто не доказал этого с такой исчерпывающей ясностью, как один из главных авторов коалиции, Отто Бауэр. Буржуазное правительство не могло противостоять революции. Эта задача была по плечу одним лишь с.-д. «Только они (социал-демократия. *Н. Р.*) пользовались доверием рабочих масс,—гордо замечает Бауэр.—Только они могли убедить последних в том, что ужасная нужда после войны не есть вина правительства, а является неизбежным результатом мирового исторического переворота и может быть только постепенно изжита, а не уничтожена путем насильственного переворота. Только социал-демократы могли покончить с бурными демонстрациями, посредством переговоров и уговоров, только социал-демократы могли об'ясняться с безработными, руководить народной армией, удержать рабочие массы

[1]) «Der Kampf» 1919, № 4, стр. 242.
[2]) Там же.
[3]) Бауэр, Австрийская революция, стр. 125.

от революционных авантюр, которые явились бы роковыми для революции» [1]).

Итак, коалиция была нужна буржуазии для того, чтобы помешать революции, социал-демократам, чтобы охранить буржуазию. Именно поэтому левые всячески запугивали рабочих могуществом Антанты, ужасами голода и холода. Именно поэтому они вновь вызывали призрак хлебной карточки, символа нужды, нищеты, разорения. С этой же целью всячески извращался опыт русского большевизма. Когда же речь заходила об австрийской буржуазии, то левые доказывали, что она не в состоянии оказать сопротивление пролетариату; таким образом мотивировалась ненужность диктатуры пролетариата.

Роль советов, стихийно возникших со времени январской забастовки 1918 г. и стихийно развивавшихся по направлению к тому, чтобы стать органами власти, принижалась. Фридрих Адлер доказывал на страницах «Kampf», что вопрос о форме пролетарской власти не играет никакой роли и что если бы в Австрии были произведены выборы на основании русской советской конституции, то результаты их не разнились бы от результатов выборов в Национальное Собрание [2]). Макс Адлер квалифицировал советы, как форму отсталого, неорганизованного рабочего движения. На Западе советы привились, потому что они отвечают психологии рабочих масс, их нетерпению и нежеланию ждать до тех пор, пока они не завоюют парламентского большинства. Усилению советов способствует также правый уклон социал-демократии, отрыв от масс партийных и профессиональных организаций. Защищая идею сожительства советов с Национальным Собранием, которое представляет интересы также и непролетарской части населения, Адлер решительно высказывался против превращения советов в органы власти. «Рабочие советы,—писал он,—не должны означать ничего иного и не быть используемы иначе, как просто новые формы социалистической классовой борьбы, а не как длящиеся принципы образования нового общества» [3]).

Эти рассуждения «левых» полностью определялись их тактикой. Уничтожить советы с.-демократы не могли, иначе им пришлось бы открыто выступить против революции. Но можно было временно примириться с советами, как с неизбежным злом, и держать курс на окончательную ликвидацию советов.

Было ли положение действительности таким мрачным, как его рисовали «левые»? На этот вопрос можно с уверенностью ответить отрицанием. Правительства Антанты вовсе не были свободны в своих действиях. Оккупация Австрии несомненно сильно подействовала бы на затронутые разложением войска союзников. Что же касается «голодного измора», то у немецкой Австрии был революционный тыл. Советская Венгрия могла бы доставить необходимое для австрийских рабочих продовольствие. Наконец, об'единенный фронт Советской России, Венгрии и Австрии представлял бы собой силу такой мощности, что с ней

---

[1]) Бауэр, Австрийская революция, 1918 г., стр. 125.
[2]) «Der Kampf» № 5, 1919 г.: F. Adler, Machtfragen und Formfragen.
[3]) Max Adler, Demokratie und Rätesystem, Wien 1919, S. 23.

пришлось бы считаться и Антанте и всем враждебным пролетарской диктатуре силам.

Лишь с большим трудом «левые» сумели затормозить революционное движение: недаром они держались за коалицию, хотя буржуазия предпочитала вовсе отказаться от власти. «После роспуска коалиции могла последовать только советская диктатура»[1],—писал Бауэр. «Установление советской диктатуры в Венгрии и большевистский эпизод в Мюнхене дали новых приверженцев коммунистической партии,—вспоминал другой социал-демократ,—и были недели, когда советская диктатура в Вене серьезно находилась в кругу возможностей. Если бы коммунисты в Баварии продержались только несколько месяцев, наш пролетариат, может быть, не смог бы противостоять попытке. И даже тогда, когда, ввиду падения Мюнхенской диктатуры, актуальная опасность прошла мимо, положение правящей социал-демократии оставалось достаточно тяжелым. Ее дорога была так широка, как лезвие ножа. Каждый шаг налево усиливал выступавшее с лозунгом: «прочь от Вены» движение надвигающейся реакции, каждый шаг направо давал новых приверженцев коммунистам[2]).—«Между интернационализмом и большевизмом»—так называл Отто Бауэр период 1918 г. С империализмом против большевизма—такое название было бы ближе к истине. В самом деле, австрийские социал-демократы во всем беспрекословно подчинялись Антанте, стараясь лишь выиграть у нее более выгодные условия мира, при чем в этой торговле немалую роль играла угроза большевистской революции. «Если победители навязывают нам мир, который делает государственное банкротство неизбежным, тогда советская диктатура, большевизм становится неустранимой экономической неизбежность»,—писал Отто Бауэр, цитируя слова Ф. Адлера о том, что «большевизм является ничем иным, как платформой государственного банкротства»[3]).

Блок с империалистами осуществлялся также и во внешней политике. Австрия, соблюдая нейтралитет в войне Советской Венгрии с Чехией, не передала Венгрии ничего из государственных военных запасов. С разрешения военной миссии Антанты, которая, по признанию Бауэра, боялась, что в Вене утвердятся большевики, австрийские социал-демократы сохранили армию и использовали ее для подавления коммунистического движения в Вене. Только Сен-Жерменский мир и крушение советской диктатуры в Венгрии избавили левых от необходимости стоять «на лезвии ножа».

Историческая роль левых для революционного периода была сыграна. Им удалось спасти капиталистический строй в Австрии, приняв на себя удар революционной волны. Бауэр старается приписать спад революционной волны исключительно наступившему экономическому под'ему (кратковременность и незначительность которого он, впрочем, сам должен признать). «В конце лета 1919 г. стало уже почти ясно,—констатирует он,—что капитализм вышел победителем из пережитых им тяжелых потрясений»[4]).

---

[1]) «Der Kampf» № 7, 1920 г., стр. 255.
[2]) «Der Kampf» № 28, 1919 г., ст. Wexberg, стр. 667.
[3]) Weltrevolution, S. 11, 12.
[4]) Бауэр, Австрийская революция, 192.

Но в книге об австрийской революции тот же Бауэр показывает, что этому об'ективному положению вещей помогли суб'ективные условия—та роль тормоза, которую сыграли левые в годы Sturm und Drang'а мировой революции.

И в новой фазе развития «левые» показали себя несравненно более гибкими реформистами, чем правые. В Австрии укреплялась реакция. «С тех пор как после крушения пролетарской революции в Венгрии и Баварии буржуазия больше не боялась возможности пролетарской революции, ее самочувствие значительно улучшилось» [1],—наивно повествует Бауэр. Но чем сильнее развивалось наступление капитала, тем энергичнее протестовали рабочие против коалиции. В партии оформилась близкая к коммунистам группировка так называемых «новых левых». Сила «новой левой», получившей, между прочим, большинство на III с'езде раб. советов в июне 1920 г., определялась также общереволюционной ситуацией 1920 г. «...Волна большевизма, прокатываясь по всей Европе, должна была воздействовать на образ мыслей широких кругов австрийских рабочих, — пишет Бауэр.—И это воздействие должно было еще усилиться ввиду того, что австрийский пролетариат чувствовал, что его влияние внутри коалиции падает, что его успехи в борьбе, которую он ведет методами демократии, становятся все более скромными. Благодаря этому, влияние «новых левых» росло. Этот рост выражал оппозицию масс коалиционной политике. Агитация новых левых ускоряла и усиливала возмущение масс против коалиционной политики» [2].

Революционное движение австрийских рабочих оказалось, с одной стороны, недостаточно сильным для того, чтобы свергнуть власть буржуазии, с другой стороны, оно достигло слишком высокого уровня, чтобы мириться с беспомощной коалицией. Мы,—заявлял Бауэр,—можем предложить власть буржуазии, не боясь того, что пролетарские массы соблазнятся из-за этого какими-нибудь самоубийственными приключениями» [3]. Но буржуазия,—правда, в меньшей степени, чем в 1919 г.—все же нуждалась в коалиции. Она была уже настолько сильна, что могла начать развивать наступление на рабочий класс; она еще недостаточно окрепла для того, чтобы отказаться от сотрудничества в правительстве с социал-демократами.

Австрийские с.-д. неплохо ориентировались в создавшейся обстановке. Вместо того, чтобы рисковать потерей доверия к ним рабочих—ожидать, пока буржуазия не «откажет им от места», как это случилось с германскими с.-д., они предпочли несколько опередить события и вышли из коалиционного правительства. Этот вольт влево был столь же ловок, сколько своевременен. Выход с.-д. из коалиции открыл клапан и предотвратил революционный взрыв. Положение «свободной оппозиции», особенно в такое время, когда буржуазия в целом ряде вопросов вынуждена была итти на уступки с.-д., развязывала руки социал-демократам и парализовала деятельность «новой левой». Гибкость, приобретенная «левыми» еще во время войны, помогла им и на этот раз.

---

[1] Бауэр, Австрийская революция, стр. 209.
[2] Там же, стр. 214.
[3] «Der Kampf» 1920, № 7, S. 255.

Мы не будем останавливаться на тактике австрийских с.-д. после разрыва коалиции. Эта тактика в годы 1918—1920 интересна для нас лишь, как иллюстрация тех специфических качеств австрийской социал-демократии, о которых говорилось выше. Именно благодаря этим качествам австрийская социал-демократия занимает сейчас виднейшее место во II Интернационале. Искусство лавировать, прикрывать революционной фразой оппортунистические действия, нашло себе применение не только в национальном, но и в международном масштабе. В 1921 г., когда выяснилась скомпрометированность II Интернационала, «левые» создали Венское об'единение (2½ Интернационал) с тем, чтобы ликвидировать его через год после того, как схлынула революционная волна. Центральная линия их пропаганды и агитации, которую можно формулировать, как линию пацифизма, преподносится под революционным соусом. Нельзя отрицать того, что стратегически эта позиция представляет международной социал-демократии большие выгоды. Внеклассовые ламентации против войны, прикрывающие решение вопроса о революции, питают иллюзии о мирном организованном капитализме. С другой стороны, с пацифистских высот весьма удобно обстреливать воинствующий большевизм».

Бауэр, характеризуя в 1925 г. международное положение, говорил о трех силах, которые определяют политическую ситуацию момента. Первый—это «пацифизм господствующих и сытых», который сравнивается Бауэром с пацифизмом Священного Союза 1815 г. «Но этому пацифизму господствующих и сытых противостоят ныне сегодня, как и сто лет тому назад, воинственно-революционные тенденции. Носителем этих тенденций является большевизм. Его цель—гражданская война, которая превращается в войну революционных наций против контр-революционных» [1]. Сосредоточение огня против Коммунистического Интернационала («мирный» капитализм и подготовляющий войну против наций большевизм)—налицо. Но реформистскую идею Бауэр прикрывает завесой революционной фразеологии, выдвигая третью силу—II Интернационал. II Интернационал должен «противопоставить пацифизму такой пацифизм, который попытается сделать войну ненужной, в то время, как он делает возможным освобождение угнетенных и без войны» [2]. «Мы,—пишет Бауэр,—не можем стать на сторону пацифизма держав-победительниц и вместо с ними защищать святость договоров. Потому, что это значило бы отказаться от свободы ради мира. Это значило бы об'единиться с империализмом против порабощенных народов Европы, против угнетенных колониальных народов в других частях света. Это значило бы заботиться о делах капитализма против рабочих и крестьянских масс мира. Но мы также можем стать на сторону воинственного большевизма».

Бауэр ловко обходит вопрос о перспективах развития капитализма, о социалистической революции, он не говорит о том, что является гранью, отделяющей большевизм от социал-реформизма. Бауэр против большевизма, потому что большевизм, как он себе его представляет (или старается представить другим),

[1]) «Der Kampf» 1925, № 8—9, стр. 282.
[2]) Там же, стр. 283.

за войну. И раз дело коснулось войны, то анализ предпосылок будущей войны заменяется пацифистскими воздыханиями. «Война,—проповедует Бауэр,—благодаря развитию техники оружия в последнее столетие, нечто совсем иное, чем она была сто лет тому назад. Вторая империалистическая война уничтожила бы европейскую цивилизацию, далеко отбросила бы назад в экономическом, а, значит, и в культурном отношении европейский пролетариат и, таким образом, разрушила бы культурные и моральные предпосылки демократического социализма...» [1]).

Но, рисуя фантастические картины борьбы большевизма против цивилизации, Бауэр не забывает о действительности—о революционном движении рабочего класса, о таких фактах, как движение меньшинства в Англии, о симпатиях рабочего класса к большевикам. Поэтому он старается держаться на известной дистанции от с.-д. типа, например, Каутского. Бауэр даже протестует против той позиции, какую Каутский занимает по отношению к большевикам, и утверждает, что каковы бы ни были противоречия между «демократическим» и «деспотическим» (т.-е. большевистским) социализмом, все же и тот и другой—это «социализм drüben und hüben»... Из нашей общности социализма вытекает, вопреки всем противоречиям между нами, относительная общность интересов, которая не должна забываться даже тогда, когда мы еще сильнее заостряем все то, что разделяет нас от большевизма... Мы боремся с большевизмом, потому что он держит курс на войну, но мы должны наполнить массы сознанием того, что, несмотря на наши противоречия, есть общего между нами и большевизмом, потому что мы, в случае, если вопреки нашему противодействию, придет война «революционных наций против контрреволюционных» ни в коем случае не должны будем стать орудием контр-революции против революции» [2]).

Очередные задачи международной политики состоят, по мнению австрийских левых с.-д., в борьбе за пересмотр мирных договоров, заключенных Антантой после войны 1914—1918 гг., за демократизацию Лиги Наций. «Лига Наций, по мнению Фрица Адлера, не может считаться орудием антантовского капитализма с тех пор, как в состав ее вошла Германия. Социал-демократы должны защищать Лигу Наций от «желаний старой демократии возвратиться к ее методам и вновь устранить тот кусок общественности внешней политики, который уже сегодня означает Лига Наций». Лига Наций,—по словам Адлера,—«основа интернационального парламентаризма» [3]), и в этом парламенте рабочий класс должен добиться своего представительства. Классовые признаки каждого явления старательно избегаются «левыми». Стремясь доказать, что буржуазия в «нормальном» состоянии демократична. Бауэры и Адлеры идейно разоружают пролетариат, отрицая фашистские устремления международной буржуазии. «Фашизм,—писал Бауэр,—так же мало является диктатурой буржуазии, как ею был бонапартизм» [4]).

Итак. современный капитализм в изображении «левых» является фоном вполне пригодным для тактических построений

[1]) Там же, стр. 282.
[2]) Там же, стр. 264.
[3]) «Der Kampf» № 10, стр. 453, 454, 1926 г.
[4]) «Der Kampf» № 2, стр. 64, 1924 г.

международной социал-демократии. Подготовка войны, фашизм—это исходит не от капитализма, как такового, но со стороны чуждых капиталистическому строю сил. Перед пролетариатом открываются широкие возможности развития функциональной и хозяйственной демократии, установления демократической народной республики—такой государственной формы, которая соответствует равновесию классовых сил. Капиталисты, прочитав брошюры Бауэра, отказываются за соответствующую мзду от своих предприятий. Тихо и мирно без войны и революций, без диктатуры пролетариата, рабочий класс переходит к социализму.

Заключение.

Теоретические взгляды «левых» австро-марксистов составляют характерную особенность послевоенного реформизма.

Мы говорим о послевоенном реформизме «левых» не как о явлении, принципиально противоположном реформизму довоенных времен. Первый упирается своими корнями, вырастает из второго. Нередко грани между ними стираются до степени разницы в оттенках, в нюансах. Иногда трудно различать, «правая, левая—где сторона».

Виктор Адлер—не только физический отец Фридриха Адлера. Он—духовный отец, учитель и воспитатель вождей левых. Отто Бауэр называет себя «признательным учеником» Каутского. Но ученики обогнали учителей, и «левая» социал-демократия последнего десятилетия, точнее то ее крыло, которое в 1921 г. об'единилось в Бернском Интернационале, во многом отличается от социал-демократии 1890—1914 гг. Причины этих различий следует искать, конечно, не в суб'ективных качествах того или иного вождя, а в специфических условиях развития социал-демократии после войны.

Довоенный реформизм вырос в мирные годы сравнительно безболезненного развития капитализма. Его теоретические основы создавались за письменным столом ученого филистера. Его практика вырабатывалась возле избирательных урн и на парламентской трибуне. Не переживая сколько-нибудь серьезных катастроф и потрясений, он приспособлялся к буржуазному обществу, утверждая, впрочем, что приспособляет буржуазное общество к социализму.

Послевоенный реформизм «левых» развивался в иной обстановке. Он родился на свет в те дни, когда еще гремели последние выстрелы империалистической войны, когда рабочие массы, требуя мира и выступая против капиталистов, наталкивались на сопротивление правых социал-демократов.

Реформизм 1890—1914 гг. стремился **предотвратить** революцию. «Левые» пытались ослабить, затормозить **уже разразившийся** революционный шквал. Отсюда ряд новых свойств, новых методов «левого» реформизма 1918—1920 гг.

Прежде всего, чтобы уменьшить напор революционной стихии, «левые» вынуждены были бороться с ней в ее собственном лагере—не в парламенте, а в советах рабочих депутатов, не у книжного шкапа, а на улице, в предприятии, в казарме. Левым пришлось внимательнее прислушиваться к настроениям масс, быстрее реагировать на новые факты, события. Недоста-

точный учет новых настроений, запоздалое изменение тактических лозунгов—все это могло в одно мгновение разрушить плотину, которой «левые» надеялись остановить разлив революционного потока.

Правые, дискредитированные военной политикой, были отброшены революцией в сторону.

«Левые», находясь в центре событий, научились танцовать на канате. Поэтому реформизм правых традиционен, склеротичен, реформизм «левых»—пластичен и гибок.

Упругость «левых» граничит с полнейшей беспринципностью. Они изобретают одну схему с тем, чтобы завтра же отказаться от нее, впрочем, еще чаще они одновременно выставляют противоречащие друг другу положения. Бернштейн в продолжение трех десятилетий не отказался ни от одной строчки «Проблем социализма», Давид недавно выпустил новое издание «Аграрного вопроса».

Бауэр за несколько лет создал, примерно, столько же эфемерных теорий или, вернее, вариантов одной и той же теории, сколько он написал популярных брошюр (а последние в великом множестве вышли из-под его пера).

Каждый оппортунистический шаг «левые» облачают в наспех сшитый теоретический костюм. Для оправдания борьбы с большевизмом была изобретена философия плебейской фазы буржуазной революции; практика коалиции немедленно интерпретировалась в теорию «равновесия классов»; отказ от революционной борьбы мотивировался тезисом о «непрерывности общественного процесса производства».

Все эти скороспелые построения непоследовательны, противоречивы. В зависимости от требований момента акцентируется то одна, то другая сторона вопроса, лишь бы была достигнута основная задача—оправдать невозможность революционного действия. Идет речь об экспроприации капиталистов, и Фридрих Адлер заявляет: «При господстве пролетариата надо изменить не экономические отношения подавления, а политические» [1]); но когда выдвигается вопрос об уничтожении буржуазной демократии, на сцену выступает Макс Адлер, утверждающий, что революция «не есть непременно крушение государственной конституции, но всегда—крушение экономической конституции общества» [2]).

Из опыта 1918—1920 гг. «левые» вынесли также умение использовать революционную фразу; они включают ее в неоходимый инвентарь своей тактики. Эта революционная фраза укрепляет репутацию «левых» в глазах широких масс; она ни к чему не обязывает и в то же время позволяет Бауэру и Фридриху Адлеру оставаться—по крайней мере внешне—на некоторой дистанции от Реннеров и Аустерлицов.

«Левые»—за социалистическую революцию, но с оговоркой, чтобы эта революция была отложена до греческих календ и прошла совершенно незаметно для современников.

«Левые» признают насилие, но отрицают неизбежность его применения и разоружают рабочих, сводя вопрос о насилии к

---

[1]) «Arbeiter-Zeitung» № 302, 1926, 2/XI: Verhandlungen des Parteitages.

[2]) Max Adler, Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 161.

спорам о том, «какой мерой следует измерить количество необходимых и лишних ударов в драке».

Они критикуют парламент, но, жонглируя социалистическими понятиями, «снимают» проблему пролетарской диктатуры и предоставляют рабочим удовольствоваться мечтами о «хозяйственной» и «функциональной» демократии—под завесой критики парламентской «арифметики случайностей», зачеркивается «алгебра революции».

Учитывая сочувствие рабочих масс большевизму, «левые» в противовес правым не ведут бешеной атаки против большевиков. Больше того; они соглашаются признать большевиков пролетарскими революционерами (чаще вождями буржуазной революции), но старательно ограничивают район применения большевистских методов пределами Советского Союза.

Правые открыто отказываются от многих марксистских положений. В лучшем случае они говорят о молодом Марксе, мечтателе-революционере 1848 г., и о «зрелом» Марксе, созданном по образу и подобию ревизионистов. Ревизионизм «левых» утонченнее; иногда их теоретические построения напоминают филигранную работу. Левые—ювелиры реформистской идеологии. Они согласны цитировать Маркса как 40-х, так и 70-х гг., они клянутся в верности марксизму, но не без ловкости извращают его. Они не скупятся на краски для набросков плана социализации, но при том условии, что срок выполнения этого плана отделен от них целой исторической эпохой.

Что же касается революционных задач сегодняшнего дня, то «левые» австро-марксисты бессильно указывают на данную обстановку, которая в их понимании всегда благоприятствует буржуазии и никогда пролетариату. Для Бауэра, Макса и Фридриха Адлера «данное» («gegebene»)—не трамплин, отталкиваясь от которого партия идет дальше, а шлагбаум, преграждающий революционные пути. Апелляция к «данному» лежит в основе лозунга австро-марксистов—«Man kann nichts machen»—«ничего нельзя сделать». Этот тезис мотивирует любой оппортунистический шаг. «Беран [1]) воззвал к словам Маркса «бытие людей определяет их сознание», говорил в 1925 г. Отто Бауэр, протестуя против обязательного отказа социал-демократов от религиозного мировоззрения. Совершенно верно. Поэтому не воображайте. что можно изменить сознание людей «до тех пор, пока не изменено их бытие» [2]).

Оппортунизм «левых» австро-марксистов лишил их дара предвидения. Критикуя каждое революционное действие с той самодовольной об'ективностью, которая, по словам Энгельса, «не видит дальше своего носа и именно поэтому является самой ограниченной суб'ективностью, даже если она разделяется тысячами подобных суб'ектов», «левые», хотя и в меньшей степени, чем «правые», вынуждены плестись в хвосте событий. В 1917 г. они об'являли Октябрьскую революцию буржуазной и изменили свои взгляды только тогда, когда последние пришли в прямое противоречие с фактами. В 1920 г. «левые» высмеивали надежды

---

[1]) Делегат партейтага.

[2]) Protokoll des s.-d. Parteitages. S. 311, Wien 1925.

коммунистов на восстание масс Востока,—в 1926 г. они не могут пройти мимо китайской революции.

Но, даже отставая от событий, левые не теряют способности применяться к обстановке и более или менее ловко маскировать свой оппортунизм.

Это и делает «левых» и в частности «левых» австро-марксистов столь ценными для всей международной социал-демократии. В период неустойчивой стабилизации капитализма, нарастания новых противоречий внутри капиталистического строя эластичный ревизионизм «левых», обогащенных опытом 1918—1920 гг., пришелся кстати так же, как и в годы революционных бурь.

II Интернационалу выгодно располагать таким левым крылом, которое успокаивало бы, отводило в безопасное русло революционные настроения рабочего класса и отчасти предотвращало организационный разрыв внутри социал-демократии. Недаром II Интернационал выпускает на авансцену «левых», всегда, когда дело идет о каком-нибудь «деликатном» вопросе, напр., о Советской России—австро-марксистская фразеология позволяет проводить какую-угодно реформистскую политику.

Сопротивляемость «левых» революции сильнее, нежели «правых» именно потому, что первые могут, оставаясь реформистами, использовать богатую гамму политических тонов.

Но и эта сопротивляемость далеко не безгранична. Если в 1918—1920 гг. «левые» едва не были снесены революцией, то они потерпят неизбежное крушение, когда надвинется новая революционная волна.

Бауэр, Макс и Фридрих Адлер стремятся предотвратить этот момент. Искусно лавируя, они предполагают соединить капитализм с социализмом мостками «равновесия классовых сил», «функциональной демократии» и т. д. Эти маневры безнадежны. «В огне революционной борьбы,—говорил В. И. Ленин,—люди, занятые примирением непримиримого, окажутся мыльными пузырями».

Метафизика в сравнительной психологии [1]).

В. Боровский.

«Я глубоко убежден, что насущная задача современного естествознания заключается именно в борьбе против поползновений метафизики найти лазейку в область положительного знания». Эти слова незабвенного К. А. Тимирязева были написаны им в 1908 году [2]). Тут же он добавляет: «Я полагал, что эту борьбу приходится выдержать главным образом на почве более молодой науки—биологии». Не подлежит сомнению, что и сейчас, через 20 (без малого) лет, упорная борьба против метафизических и мистических построений в биологии так же необходима и не менее «насущна». Еще более трудно в этом отношении положение дела в области сравнительной психологии. Помимо того, что она подвержена недугам, общим всей биологии, вроде витализмов разных типов, она страдает еще от своих специфических наростов, от которых никак не может освободиться. На почве укоренившихся предрассудков, сознательных и неосознанных классовых тенденций, то-и-дело воскресают под новыми названиями и в новых нарядах различные схоластические схемы, древние анимистические и теистические понятия. Разве не характерно, что именно среди сравнительных психологов мы имеем представителя ордена Иисуса—патера Васмана?

Откровенное признание деистической точки зрения встречается сравнительно редко. Много чаще авторы пользуются традиционными терминами и понятиями, не отдавая себе отчета в том, что имеют дело со схоластическими пережитками. Более того, я мог бы назвать ученого, который, с одной стороны, ратует за изгнание бесов» из психологии, а, с другой, сохраняет в своем изложении понятия, ничем не отличающиеся от «духа» или «души».

За последние тридцать лет сравнительная психология накопила громадный фактический материал. Кроме того, она имеет возможность обильно черпать из источников своей ближайшей соседки—сравнительной физиологии. Несмотря на это, мы во многих случаях встречаем разного рода трансцендентные факторы, которые вводятся авторами для об'яснения тех или других явлений сравнительной психологии. Дальнейшее изложение ставит себе целью доказать, что все соответствующие явления мы можем понять, подходя к ним с основным методом сравнительной психологии, т.-е. изучая их с точки зрения взаимоотношения сти-

---

[1]) Настоящей статьей редакция открывает печатание ряда статей обзорного характера, цель которых—осведомить нашего читателя относительно современных течений в психологии на Западе. *Ред.*

[2]) К. А. Тимирязев, Антиметафизик,—«Русские Ведомости», 29 марта 1908 г.

мулов и реакций. Если мы для данного явления сможем указать, что оно заключается в таких-то реакциях, производящихся в ответ на такие-то изменения ситуации, то не останется места для какого-либо активного потустороннего фактора. Где мы сейчас еще не в состоянии дать такого полного анализа, там мы постараемся наметить путь, по которому следует итти.

Конечно, всегда могут найтись желающие предположить, что помимо действующих факторов данной реальной ситуации имеются еще «сопровождающие» их «высшие» явления—«эпифеномены». Где-то была высказана гипотеза, что всякое притяжение двух частиц сопровождается у них смутным чувством удовольствия, а всякое отталкивание—неудовольствием. Пусть «сопровождается»! Нас это может не волновать. Но всякому вмешательству «высших» сфер в наши земные дела и события мы противопоставим самый резкий отпор. Наша борьба должна быть направлена против активных, действительных метафизических факторов, обусловливающих каким-либо путем поведение организмов.

Ллойд-Морган и преперцепция.

В книге «Навык и инстинкт» (1896 г.) Ллойд-Морган [1]) говорит о «сознании», которое он представляет себе как imperium in imperio и которое «находится в известном смысле вне того», чем оно управляет. Попытаемся выяснить, в чем реально видит автор проявления такого фактора, руководящего действиями животного, и как он представляет себе его возникновение.

Сейчас же мы найдем, что с самого начала в основе всего построения лежит очень большая натяжка. В самом деле. Автор начинает с наблюдения действий животного, напр., цыпленка, в том виде, как они производятся им в первый раз. Мы слышим, что, с одной стороны, «в случае выполнения инстинктивного действия в первый раз координирование движений автоматично и не может считаться находящимся под влиянием сознания» (стр. 123). Однако, с другой стороны, «первое клевание—и надо помнить, что мы устремляем наше внимание на самое первое появление инстинктивной реакции в индивидуальной жизни—хотя эта реакция органическая и автоматическая, но все-таки она доставляет данные для возникновения сознания» (стр. 129).

Итак. Имеются действия, автоматические, органические, инстинктивные, которые производятся без руководства сознанием (конечно, имеются). Но **всякая** такая реакция является материалом для сознания (?). «Представьте себе, что молодая птица схватывает пчелу и хочет проглотить ее, но в это время пчела ее жалит; птица таким образом практически познает характер некоторой части того об'ективного мира, в котором она живет. Но **всякий** шаг совершающегося процесса воспринимается, как часть сознательного опыта; и **весь опыт** птицы в течение всей ее жизни происходит внутри и для ее сознания (стр. 247; подчеркнуто мной. *В. Б.*).

Почему всякое действие доходит до сознания? Можно ли всякое действие животного определить как опыт? Почему всякий

[1]) Цитаты взяты из русского перевода, вышедшего в 1899 г. под заглавием «Привычка и инстинкт», так как оригиналом этой книги я не располагаю

опыт сознателен? Автор утверждает это в весьма категорической форме: «Ибо, повторяю, опыт есть сознательный процесс. И всякая частица опыта, как бы она ни была обыкновенна, или как бы она ни была развита и сложна, для сознания является именно частицей опыта. Если она не сознательна, то не может считаться опытом (стр. 247; подчеркнуто мной. *В. Б.*). Но ведь это надо было бы доказать, а наш автор даже не пытается этого доказывать. Допустив совершенно произвольно, что каждое действие доходит до сознания, учитывается им, автор заключает, что при повторении сознание уже руководит действиями животного. Вот цепь его рассуждений: «...выполнение действия доставляет данные для возникновения сознания, при свете которого последующее выполнение действия может быть усовершенствовано, видоизменено или остановлено» (стр. 123). «Именно потому, что действия цыпленка, повидимому, управляются результатами опыта, мы и можем сделать вывод о присутствии настоящего сознания» (стр. 116). «Под «действительным» или «настоящим» сознанием я понимаю такое, которое дает животному возможность управлять своими действиями, пользуясь пред'идущим опытом» (стр. 115). Такое определение Морган берет от Ромэнса, который, говорит Морган, «указал, повидимому, веский критерий присутствия сознания,—а именно: пользование животного опытом».

Представление о «пользовании опытом» у Моргана часто заменяется представлением о «выборе», который животное производит между несколькими возможными для него действиями. Эти два представления у него почти тождественны.

«Организм, пользующийся опытом, избегающий того, что находит неприятным, и выбирающий другое потому, что пред'идущий опыт показал, что это вкусно,—производит сознательный выбор» (стр. 137). Конечно, если, по мнению Моргана, каждый шаг доходит до сознания, каждый опыт сознателен, то и пользование опытом или выбор должен быть сознательным.

Морган представляет себе, что способность к выбору и сознание развиваются совместно: «...развитие сознания, служащего для управления жизнью организма, начинается с соединения известных состояний ощущения помощью ассоциаций», «мы видим такого рода развитие, которое должны считать результатом сознательного выбора» (стр. 136). «Прежде всего, необходимо найти какой-нибудь критерий для определения, в каких случаях сознание является бездеятельным и в каких—деятельным. Таким критерием служит способность к выбору» (стр. 238). Стало быть, имеется какая-то первоначальная стадия, где сознания нет, или оно бездеятельно, и все действия производятся автоматически. Но эти автоматические действия «доставляют данные для возникновения сознания»; возникает и развивается сознание, и власть переходит к нему. На первой стадии сознание «может быть уподоблено пассажиру на корабле, замечающему эволюции судна, но лишенному возможности руководить этими эволюциями» (стр. 249). Дальше появляется «настоящее» сознание, развивающееся на основе пользования опытом, и «в то же время управляющее всем этим». «Это управление развивается для практических целей, и от практического успеха его в жизни зависит то, сохранит ли или утратит управление свою силу. Сознание уже не может

считаться только пассажиром на корабле жизни. Мы скорее можем сравнить его с капитаном современного броненосца, который, сидя на своем месте, может руководить всеми движениями и действиями судна, находящегося под его командой» (стр. 250). Итак, настоящее или руководящее сознание характеризуется пользованием опытом или способностью к выбору.

Теперь придется сделать еще шаг дальше и спросить, чем же характеризуется выбор? По каким об'ективным признакам можем мы определить, что реакция основана на выборе? Моргану приходится вводить еще один принцип, а именно видоизменение реакций. «Когда цыпленок, отведавший невкусную личинку, перестает ее трогать, то мы можем быть уверены, что он действительно совершает в данном случае выбор. Неизменная реакция при сходных условиях, как мы видели, у спор в присутствии яблочной кислоты не может служить доказательством выбора; но изменение или видоизменение реакции под влиянием индивидуального опыта дает нам искомый критерий» (стр. 240). Очевидно, Морган a priori считает, что изменение реакции может происходить только под влиянием сознания, так же, как первоначально он постулировал, что всякая даже автоматическая реакция дает материал для сознания. В этом кругу вертятся все его построения.

Видоизменение реакций в качестве критерия сознания мы находим и у многих других авторов того же времени. Например, у Бэте [1] (1898 г.): «Мне представляется, что наличность у данного существа способности изменять свои действия (modifiziert zu handeln) является единственным пробным камнем, на основании которого мы можем заключить о психологических качествах». По Уоткинсу (1899 г.) способность к пользованию опытом характеризуется «внезапным изменением деятельности в результате опыта без перемены окружающего».

В другой книге Моргана «Инстинкт и опыт» (1912 г.) появляется представление о преперцепции (т.-е. предварительной стадии восприятия).

Преперцепция тесно связана с наличностью сознания: «Что же я понимаю под активным сознанием? Я понимаю такое сознание, в котором настолько участвует преперцепция, что обусловливает направление поведения» (стр. 90). «Имеются ли для того или другого организма доказательства того, что его поведением руководит преперцепция? Если имеется, тогда мы, по моему мнению, для того, чтобы об'яснить ее происхождение, обязаны заключить, что предварительно имелось перцепирующее (воспринимающее) сознание» (стр. 91). Интересно отметить, между прочим, что, по мнению Моргана, даже поведение некоторых инфузорий» «может быть обусловлено преперцепторным сознанием» (стр. 91). Наличность преперцепции доказывается теми же признаками, как и наличность сознания: «там, где мы имеем достаточное основание заключить о руководстве поведения преперцепцией, мы свободно можем предположить, что ему естественным образом предшествует сознательное восприятие» (стр. 288). «Если мы видим причину предположить, что некоторые животные на-

---

[1] A. Bethe, «Dürfen wir den Ameisen und Bienen psychische Qualitäten zuschreiben?»,—«Pflüger's Archiv», 70. B., 1898.

учаются из опыта, то нам придется признать наличность психологических взаимоотношений» (стр. 89). «Мы пока считаем пользование опытом лучшим критерием сознания, как активного взаимоотношения» (стр. 290).

Итак, критерием преперцепции и сознания являются пользование опытом или выбор. А признаком пользования опытом или наличности выбора служит изменение поведения. Но ведь изменение поведения на тот же внешний стимул может произойти от самых разнообразных причин. Совершенно правильно спрашивает М. Уошберн[1]), можем ли мы приписывать использованию опыта такие явления, как: наигрывание скрипки, изменение стали под влиянием долголетней работы, количественное развитие мускулов кузнеца? Реакции скрипки, стали, мускулов изменяются вследствие предыдущего «опыта» и, по Моргану, мы должны были бы заключить, что тут имеется «пользование опытом», а «следовательно», и преперцепция. Если же мы скажем, что эти действия не подходят под понятие опыта, то мы будем вынуждены искать критерий для действий, которые можно характеризовать как опыт, чтобы отличить их от всех прочих действий, которые, хотя и изменяются, но не подойдут под это понятие. Но тем самым весь вопрос вернулся бы в исходное положение, и нам пришлось бы признать все построения Моргана пустыми и безрезультатными.

Морган считает, что когда цыпленок в первый раз клюнул невкусную гусеницу, то он действовал автоматически, но сознание его учло этот опыт, и когда он вновь увидит такую гусеницу, то преперцепция предскажет ему, что вкус гусеницы опять окажется противным. Поэтому сознание цыпленка, основываясь на преперцепции, направит его поведение так, что он уже не тронет невкусную гусеницу. Реально же мы только наблюдаем, что цыпленок в первый раз клюет гусеницу данного вида, а на второй или третий ее не трогает. Мы констатируем изменение поведения цыпленка под влиянием предыдущего опыта.

Первоначально вид гусеницы вызывал реакцию клевания. Клевание повело за собой вкусовое раздражение. Вкусовой раздражитель вызвал видимую реакцию: гусеница отбрасывается, цыпленок чистит клюв. На второй раз цыпленок не трогает гусеницу, или, увидев ее, начинает чистить клюв. Следовательно, стимул (вид гусеницы) во второй раз вызывает уже не первую реакцию (клевание), а новую, которая раньше вызывалась хеморецепцией. Это мы наблюдаем непосредственно. Что же мы можем заключить? Только следующее: 1) вторая реакция (избегание) оказалась более мощной, чем первая, и вытеснила ее; 2) образовалось новое, индивидуально приобретенное сочетание между стимулом (зрительным) и такой реакцией, которая органически, наследственным образом производилась на другой стимул. Или, по нашей современной терминологии, мы заключаем, что у цыпленка образовалась условная реакция (избегания) на вид гусеницы. Такие явления нам хорошо знакомы у многих животных и у человека. Но случай с цыпленком не дает нам никаких объективных данных для того, чтобы предполагать у него пре-

[1]) M. Washburn, The animal mind, Ny 1911 (2-nd ed. 1923).

перцепцию, активное сознание, еще какие-либо «психологические взаимоотношения» и т. п. Таким факторам здесь нечего делать; нет места для них и нет повода вводить их. Сам же Морган установил т. н. закон экономии, который гласит, что не следует вводить более сложных («высших») представлений там, где процесс можно об'яснить менее сложными. Там, где Морган нашел преперцепцию, т.-е. в случаях изменения реакций под влиянием опыта, мы только видим образование условных реакций. «Сознания» или «преперцепции», как активных факторов, мы не находим. Морган же нашел тут сознание только потому, что он с самого начала предположил, что всякое действие доставляет данные для возникновения сознания.

Очень близко к Моргану и к вышеназванному Уоткинсу примыкает М. Колкинс (1904 г.). По ее мнению, следующие два фактора доказывают сознательность поведения: 1) приспособительная ценность реакций (у Уоткинса тоже имеется этот фактор) и 2) уже знакомая нам изменчивость поведения при постоянной среде.

М. Колкинс сочувственно цитирует вышеприведенные слова Бэте и дальше утверждает, что «все, практически единогласно признают, что те животные, которые могут различным образом реагировать на постоянную среду—сознательны». «Другими словами, хотя среда остается неизменной, но животное отнюдь не реагирует одним только зафиксированным движением, а производит реакцию повышающейся сложности и эффективности». Далее, по ее мнению, «даже механисты» согласны с тем, что если реакции животного таковы, что оно приспособляется к окружающей постоянной среде, то это служит достаточной гарантией наличности сознания. Критерием сознания является наличность «приспособительных реакций». Я прежде всего хотел бы спросить автора—где в природе она наблюдала постоянную, неизменную среду, и дальше—что такое «реакция на неизменную среду»? Я того мнения, что где среда постоянна, там не на что и реагировать. Дальше. Какие реальные случаи имеет в виду автор, когда говорит о приспособительных реакциях? Оказывается, в качестве примера приводятся кошки Торндайка, которые, будучи запертыми в клетке, сначала «реагируют фиксированным образом, напр., царапают всю поверхность двери», а между такими повторными безуспешными движениями случайно проделывают одно, которое открывает запор и тем разрешает всю ситуацию. Должен сказать, что признать «приспособительной» реакцию такой кошки я никак не могу. Разве кошка «производит реакцию повышающейся сложности и эффективности»? Она в ярости царапает, что попало, и при этом случайно нажимает на рычаг, отпирающий дверцу,—где же тут приспособление? Но предположим, что животное на самом деле производит какие-то приспособительные реакции. Разве этим уже сказано, что оно производит их сознательно? М. Уошберн совершенно правильно возражает, что многие процессы пищеварения, кровообращения и т. п. имеют большую приспособительную ценность, но явно несознательны.

Ничего нового по существу, мы не найдем у Иеркса в его статье (1905 г.), специально посвященной вопросу о крите-

риях «психического». Он находит [1]) всего шесть признаков «психического». Из них три первых, которые он называет структурными признаками, могут только дать материал для заключений по аналогии с человеком, а не прямые доказательства наличности «психического у животных». Затем следуют три функциональных признака»: 1) «выбор» или «общая картина» реакции, 2) «изменчивость» реакции (modifiability) и 3) «инициатива» или «вариативность» реакции (variableness). Третий признак, по Иерксу, отличается от второго тем, что предполагаются спонтанные изменения поведения от внутренних причин. Трудно понять, почему внутренние причины более «психичны», чем внешние. И «спонтанное» изменение поведения, основанное на этих внутренних причинах, не более «психично», чем изменение, благодаря предшествующему опыту. Далее, Иеркс утверждает, что применение одного только критерия «способности использовать опыт» «нежелательно и даже нелепо», потому что изменчивость есть одно из основных свойств протоплазмы (М. Уошберн (1911 г.) также заявляет, что «одна изменчивость поведения»— критерий недостаточный). С этим можно согласиться, но Иеркс считает, что важен не каждый признак в отдельности, но что там, где на-лицо все шесть одновременно, имеется «психическое». Это не убедительно. Ни один из признаков ничего не доказывает, и все вместе они не более доказательны.

Те примеры измененного поведения, которые дает М. Уошберн, и другие им подобные (Леб [2]), напр., говорит, что травяные тли летят на свет в первый раз менее быстро, чем в последующие, благодаря устранению каких-то механических препятствий работе крыльев), конечно, зависят от предыдущего опыта. Но в них отсутствует совершенно характерный для условных реакций момент, а именно: новое, т.-е. индивидуально-приобретенное, сочетание между стимулами и реакциями. Образование условных реакций— процесс физиологически своеобразный, как бы он впоследствии ни расшифровался с его физико-химической стороны. Все же остальные примеры, где этого характерного признака, т.-е. нового сочетания, не имеется, об'ясняются исключительно физико-химическими моментами.

Во всех реальных случаях, которые приводятся Морганом, мы можем установить либо безусловные, либо условные реакции и ничего больше, никаких иных активных факторов. Тем самым исчерпывается по отношению к ним задание, поставленное во введении.

Близко сюда примыкают эксперименты Торндайка, которыми он думал доказать наличность «представлений». Приведу один типичный эксперимент из этой серии.

Голодные кошки находятся в клетке, экспериментатор подходит к клетке (действие В) и держит кусок рыбы на высоте 3-х футов от пола; кошка влезает на решетку и берет корм (С). Впоследствии она влезает, как только экспериментатор приближается к клетке. Когда такой навык установился, тогда экспериментатор перед действием В хлопает в ладоши четыре раза

[1]) Yerkes R. M. Animal psychologycal criteria of and the psychic». Journ. of Philos., Psychol and Scient. Meth. v. II, № 6, 1905.

[2]) Лёб, Ж.: «Вынужденные движения, тропизмы и поведение животных» Москва, Гиз, 1924.

с промежутками в 2 минуты и после этого говорит «надо накормить этих кошек» (действие А). После нескольких экспериментов А связывается непосредственно с С, и Торндайк считает, что этим доказывается наличность представлений, так как, по его мнению,—либо С производится потому, что после А имеется воспоминание, т.-е. представление о В, или же пауза между А и С заполнена каким-нибудь другим «психическим» процессом.

Почему «психическим»—не обосновывается. Мы имеем тут дело, конечно, с самой типичной условной реакцией, а пауза, о которой говорит Торндайк, заполнена, наверное, определенной мускульной установкой и, может быть, деятельностью желез. И не в «воспоминании» здесь дело, а в новом сочетании между стимулом А и реакцией С.

Hunter [1]) отмечает, что Торндайк сам чувствовал недостаточную обоснованность своей позиции, почему и придумал схему нового эксперимента, который уже окончательно должен был доказать существование представлений. Однако схема эта не была осуществлена ни самим Торндайком, ни кем-либо из последующих ученых, что, по Hunter'у, отнюдь не говорит в ее пользу.

Гобгауз и эволюция разума.

Гобгауз в своем капитальном сочинении [2]) задался целью проследить «эволюцию разума» в животном мире. Ход его рассуждений таков: наследственное поведение, основанное на рефлексах, представляет собой такую корреляцию между запросами среды и реакциями особи, которая имеет чисто биологический характер; это суммированный прошлый опыт вида. Но это не единственная возможная форма корреляции между опытом и действием и даже не наиболее эффективная: индивидуальный организм сам способен производить подобное коррелирование в течение своей жизни. Выражается это в том, что с возрастом поведение его изменяется. Но может быть изменения зависят от более тонких и реже применяемых, но все же наследственных приспособлений? Нашим главным критерием должны служить изменения, производимые в соответствии с результатами опыта. Такие изменения указывают на то, что животное до некоторой степени способно коррелировать предыдущий опыт с последующими действиями. Развитие этой способности коррелирования и есть развитие разума.

На самой первой стадии имеется то, что Гобгауз обозначает «непосредственным влиянием опыта»: действия усовершенствуются благодаря предыдущей практике: какие-то изменения в организме вызываются не результатами его действий, а выполнением этих самых действий. Примеры: животные со временем лучше переносят непривычный жар или холод; работающие мускулы развиваются; движения лучше координируются у взрослого, чем у новорожденного. Все, очевидно, физиологические процессы.

«В других случаях происходит не усовершенствование действий благодаря практике, а коренное их изменение». Здесь влияет уже результат действий; улавливается связь между дей-

---

[1]) Hunter, W. S.: «The delayed reaktion in animals and children». Beh. Mon., v. 2 N 1, 1913.

[2]) Habhause, L. T.: «Mind in evolution», London 1901.

ствием и его результатами, выводится известное заключение и благодаря этому в следующий раз действие производится иначе. Устанавливается какое-то взаимоотношение между данными опыта, и на этом основывается заключение. Развитие разума идет по линии повышения степени отчетливости этого самого процесса. В качестве примера такого действия приводится ребенок, который перестает хватать пламя после того, как обжегся. (Это типичный для до-научного, анекдотического периода в истории психологии подход к явлению—вместо систематического анализа спекуляции по поводу случайного наблюдения).

Из экспериментов Уотсона [1]) мы знаем, как ребенок научается не хватать пламя: это длительный процесс выработки новой координации, условной реакции, и мы теперь, конечно, не скажем, что ребенок изменил свое поведение на основании заключения или выведенного им взаимоотношения.

По существу Гобгауз представляет себе поведение ребенка со свечей следующим образом: сначала имелась на вид свечи реакция приближения к ней (так сказать, положительная), начавшееся движение приводит к новой стимуляции, которая прекращает положительную реакцию. А впоследствии положительная реакция на вид свечи более не появляется. Далее Гобгауз относит сюда же пример цыплят Моргана, первоначально клевавших всякий видимый, не слишком большой предмет, а впоследствии уже не трогавших противных на вкус гусениц и апельсинных корок. Здесь цыпленок чему-то из опыта научился; имеется «изменение реакции на стимул благодаря непосредственному эффекту этой реакции». Гобгауз говорит: 1) что факты, как таковые, не дают нам оснований об'яснять процесс тем, что животное помнит результат первого опыта и предвидит подобный результат при повторении; 2) что животное не расчленяет опыт на его элементы и не схватывает их взаимоотношений. Хотя для наблюдателя совершенно ясно, что в основе изменения поведения лежит новая корреляция между стимулом и реакциями, но для реагирующего только «результат прежнего опыта в целом определяет здесь результат, т.-е. реакцию в последующем случае». Гобгауз приводит примеры того, что поведение рыб, хотя и в элементарной форме, все же направляется результатами предшествующего опыта; они научаются избегать препятствий и опасностей, находить подходящие места для охоты. Все это (и другие примеры, приводимые Гобгаузом для других животных) сравнительно простые навыки, основанные на условных реакциях. И Гобгауз говорит, что если рыбы или пресмыкающиеся, напр., начинают реагировать на приближающегося человека, то мы не можем утверждать, что они коррелируют восприятие человека с представлением о корме и решают подплыть поближе, чтобы ухватить первый и лучший кусок. Для того, чтобы вывести такое заключение, они, по Гобгаузу, должны были бы схватить два отдельных элемента опыта в их взаимоотношении. В тех случаях, где мы животному не можем приписать такого поведения, там, по Гобгаузу, действуют на животное не два элемента опыта, а опыт как целое, как один элемент.

---

[1]) Уотсон, Дж., Б., «Психология как наука о поведении», Москва Гиз, 1926.

Но этот единый элемент «для практических целей принял характер другого элемента, с которым он был связан в предыдущем опыте». Первое поведение, связанное с расчленением опыта, Гобгауз называет суждением, а второе—ассимиляцией (с нашей точки зрения ассимиляция, очевидно, не что иное, как условная реакция).

Так как Гобгауз хочет изобразить «эволюцию разума», то он стремится найти переходную стадию между «суждением» и «ассимиляцией», понимая здесь под суждением—логическое суждение человека. Такую переходную стадию он обозначает термином «практическое суждение». Первое отличие его от логического суждения состоит в том, что оно не вербализовано; оно представляет собой такой синтез опытных данных, который производится без участия речи. Чем же «практическое суждение» отличается от простой «ассимиляции»? Там поведение изменялось на основании результатов предыдущего опыта, при чем для того, чтобы оказывать какое-то действие при повторении, эти результаты где-то должны были сохраниться. В практическом суждении изменение поведения происходит не благодаря непосредственному сохранению результатов первого опыта, а благодаря наличности представлений о них. Имеется, следовательно, связь нового стимула с представлением о чем-то, в данное время не воспринимаемом. «Так, напр., если я вижу одну сторону дома, то я могу мысленно дополнить остальные невидимые сейчас стороны и, представив себе, где находится дверь, направить свои шаги соответствующим образом» (никто не сомневается в том, что это возможно для человека, но остается доказать: 1) что у человека такое поведение основано не на логическом, вербализованном суждении, 2) что такое поведение имеется у других животных). Таким образом для «практического суждения» характерно участие представлений. Ассимиляция использует только те качества предметов, которые воспринимаются непосредственно. Практическое суждение предполагает уже некое познание предметов, некое предвидение того, как они будут себя вести в том или другом случае; представление о цели и о взаимоотношении между целью и средствами для ее достижения. Благодаря таким представлениям возможно поведение иного типа, чем наблюдавшееся раньше; поведение, обусловленное не наличными стимулами, а представлениями о цели; не реакция на стимулы, а целестремительные поступки. «Хотя мы ничего не знаем о том, что происходит в сознании животного, но если мы у него найдем поступки, определяемые их конечной целью, то мы должны будем приписать ему представление или нечто, выполняющее те же функции».

Теоретически с этим можно согласиться: если бы мы где-либо нашли поведение, определяемое не наличными и прошедшими стимулами, а будущей конечной целью, то, конечно, пришлось бы допустить и «представление» об этой самой цели. Весь вопрос в том, имеется ли в природе такое поведение?

Если мы представим себе некий комплекс элементов, некое «расчлененное целое», то на стадии ассимиляции—действует каждый элемент как таковой; каждый элемент в отдельности. Не то на стадии практического суждения: здесь имеется поведение.

зависящее не от отдельных элементов, а от взаимоотношения этих элементов. От третьей, высшей стадии такое поведение отличается тем, что хотя взаимоотношение между элементами является активным фактором, но оно еще не абстрагируется от элементов и не сравнивается с другими; не образуются еще общие понятия—обобщения.

Как убедиться в том, что на животное действует взаимоотношение между предметами? Что у него имеется представление о цели действий и о результате? Гобгауз поставил целый ряд оригинальных экспериментов (над кошками, собаками, обезьянами, двумя слонами и выдрой), имевших целью доказать, что восприятие результата действий способствует их выполнению животным. В этих экспериментах животное должно было выполнить ряд движений, которых оно ранее никогда не производило, но которые были безусловно в пределах его возможностей. Напр., корм помещался в закрытом ящике, который животное должно было открыть, или корм находился на таком расстоянии, что животное могло его схватить, только потянув за веревку или толкнув дверку.

После того, как животное в течение некоторого времени тщетно старалось достать корм, экспериментатор сам проделывал все, что для этого требовалось, и позволял животному взять корм. Вслед за этим та же задача давалась вторично. Гобгауз представлял себе, что животное теперь выполнит задание, потому что оно уже знает результат соответствующих действий. Гобгауз отмечает, что на практике произвести такой эксперимент очень трудно, так как трудно «привлечь внимание животного». На самом деле, животное в таких условиях в лучшем случае, будет реагировать на присутствие экспериментатора, а никак не на те веревки, крышки и т. п., которыми он манипулирует. Хотя Гобгауз и считает некоторые из своих экспериментов доказательными в желательном для него отношении, но из описания ясно, что они протекали совсем не так, как он себе представлял и как этого требовала его схема. Напр., в первом же эксперименте с кошкой мы читаем, что Гобгауз клал на стол кусок картона, к которому была привязана свешивающаяся вниз веревка; на картоне помещался кусок мяса или рыбы. Кошка не обращала на веревку никакого внимания. Гобгауз семь раз под-ряд сам сдергивал картон за веревку и позволял кошке с'есть мясо. После этого она так же мало дергала за веревку, как и до того. В новой серии опытов второй конец веревки привязывался к ножке стула. 14 раз Гобгауз сдергивал мясо—никакого эффекта. На следующий день еще 8 раз—так же мало. На девятый раз веревка оказалась вымазанной рыбой, тогда кошка стала ее кусать, при этом сдернула картон и подобрала корм. После этого она каждый раз дергала за веревку. На другой день (надо думать, уже с чистой веревкой?) кошка опять не дергала за веревку, а стянула ее один раз случайно, задев за нее хвостом, второй раз, натолкнувшись на нее при прогулке по комнате, и только после этого уже регулярно стала производить требуемые действия. Гобгауз считает этот эксперимент удачным. Но мне кажется, что из описания можно только сделать вывод, что действия экспериментатора не имели никакого влияния на исход, что имелась сначала непосредственная реакция на запах

рыбы, затем после нескольких сочетаний в первый день и двух случайных на второй день выработалась условная реакция.

Для многих из своих экспериментов Гобгауз сам отмечает, что показывание не имело никакого влияния; обратное утверждение делается по поводу следующего эксперимента со слоном (молодой самкой); я выбираю именно этот опыт потому, что он, по Гобгаузу, наиболее отчетливо указывает на эффект восприятия результата. Задача состояла в том, что слон должен был опустить один рычаг, затем поднять второй, после чего открывалась дверка клетки, содержащей корм. Слон уже умел обращаться с одним рычагом, но с двумя встретился впервые. Он начал с того, что с силой тянул оба рычага, почти отрывая их. «Мне (пишет Гобгауз) пришлось отнять у него клетку. Когда я вернул ее слону, никакого улучшения не было заметно. Я тогда дважды показал ему (требуемые движения. *В. Б.*), при чем один раз открыл клетку, но не дал ему взять хлеб. Опять он так горячился, что пришлось отнять клетку. Однако после этого он стал толкать первый рычаг, то опуская, то поднимая его, после чего нажимал и второй рычаг. Уже намечался успех (she was beginning to learn). Я еще раз дважды показал ему весь процесс, и после этого он начал сам проделывать его, хотя он так охватывал концом хобота первый рычаг, что, опустив его сначала, затем вновь поднимал его. На двенадцатый раз он выполнил все, как следует»...

Мне кажется весьма сомнительным, что показывание сыграло здесь какую бы то ни было роль: 1) до него успех уже намечался, 2) после него еще были неверные движения. Может быть, если бы ничего не показывали, результат был бы тот же.

Я ограничусь этими двумя примерами. Гобгауз, изложив подробно весь цикл экспериментов, ставит вопрос: доказывают ли они то, что он ими хотел доказать, т.-е. что обучение животного новым действиям основано на восприятии им действий экспериментатора? За такое толкование, по его мнению, говорит следующее: «Почти во всех удачных экспериментах (а удалось большинство из них) имелась точка, обозначавшая выраженное изменение характера действий. Положение этой точки в серии опытов могло варьироваться от второго опыта и до седьмого или восьмого, в одном или двух случаях она оказывалась даже еще позже. До этой точки действия носили характер случайных... На известной точке животное наглядным образом отказывалось от своих методов и перенимало мои. Переход выражался более или менее отчетливо в зависимости от характера задания». Однако ту же картину можно понять иначе: до критической точки условная реакция не образовывалась, а тут она появлялась; и она могла появиться без всяких действий экспериментатора. Нужны более веские доказательства! Гобгауз утверждает, что в некоторых случаях животные стремились выполнить то, что им было показано. «Если кошка, напр., научалась выдвигать задвижку, то она научалась не только ударять лапой, и не только ударять лапой по определенному предмету, а научалась правильно выдвигать задвижку, выполнять что-то требующее известного комбинирования или повторений мелких движений». Не было неизменных реакций, а производились различные комбинации движений; которые все должны были произвести

«определенные заметные изменения в окружающем». Гобгауз сам говорит, что его эксперименты дают только слабые указания на то, что имелись такие целенаправленные действия. Он видит такие указания в «мелких приноравливаниях», которые животные производили, чтобы втянуть палку, открыть дверку или выдвинуть задвижку. Итак, единственное реально наблюдавшееся явление, которое позволяет Гобгаузу говорить о том, что у животных имелось стремление произвести определенное внешнее изменение, это «мелкие приноравливания». Приходится признать, что это очень скромный результат громадной экспериментальной работы! «Направленность действий на внешнее изменение я называю практическим представлением. А корреляцию такого представления с более отдаленной целью я называю практическим суждением». Следовательно, «мелкие приноравливания» должны, в конце концов, доказывать наличность у животных «практических суждений»; и это единственный реальный факт, который может выдвинуть Гобгауз.

У некоторых других авторов (например, Cole) описывается в поведении животных явление того же типа, как «мелкие приноравливания» Гобгауза; оно обозначается как «различные средства для той же цели». Для того, чтобы поднять рычаг, животное один раз пользуется одним способом, второй раз—другим; то тянет задвижку, то толкает ее и т. п. Что же можно отсюда заключить?

Если животное один раз тянет веревку лапой, а другой раз—зубами, то это доказывает только его большие двигательные возможности по сравнению с низшими формами, а не «способность к практическим суждениям». И в чисто наследственном поведении тоже участвует большое количество «мелких приноравливаний». Сколько их требуется какой-нибудь Ammophila для того, чтобы так искусно замаскировать гнездо, как она это проделывает. Наверное, с таким же правом мы и этой осе могли бы приписать «представление о целостном соотношении между раздельными элементами». «Различные средства для той же цели» говорят о том, что когда устанавливался навык, то попутно образовалось их два или несколько, так что стимул может вызвать сначала одну привычную реакцию (предположим наиболее привычную), но если в данном частном случае ей что-нибудь препятствует, то сейчас же может проявиться вторая и т. д.

Таким образом все явления, описанные Гобгаузом, мы можем понять как навыки, основанные на условных реакциях. Никаких доказательств наличности «практических суждений» у животных мы не находим. На самом деле Гобгауз придумал эту стадию для того, чтобы построить схему «эволюции разума», а эту эволюцию он a priori представлял себе постепенной. Поэтому ему понадобились переходные стадии, и он их изобрел.

В качестве следующей из таких переходных стадий к логическим суждениям и «общим понятиям» человека у Гобгауза появляются «членораздельные представления» (articulate ideas). Он считает их экспериментально доказанными только для обезьян.

«Практические представления» грубы и нерасчленены. «Членораздельные представления» характеризуются тем, что «сравнительно отчетливые элементы сопоставляются в сравнительно отчетливых соотношениях». Напр., что задвижка должна быть выдви-

рыбы, затем после нескольких сочетаний в первый день и двух случайных на второй день выработалась условная реакция.

Для многих из своих экспериментов Гобгауз сам отмечает, что показывание не имело никакого влияния; обратное утверждение делается по поводу следующего эксперимента со слоном (молодой самкой); я выбираю именно этот опыт потому, что он, по Гобгаузу, наиболее отчетливо указывает на эффект восприятия результата. Задача состояла в том, что слон должен был опустить один рычаг, затем поднять второй, после чего открывалась дверка клетки, содержащей корм. Слон уже умел обращаться с одним рычагом, но с двумя встретился впервые. Он начал с того, что с силой тянул оба рычага, почти отрывая их. «Мне (пишет Гобгауз) пришлось отнять у него клетку. Когда я вернул ее слону, никакого улучшения не было заметно. Я тогда дважды показал ему (требуемые движения. *В. Б.*), при чем один раз открыл клетку, но не дал ему взять хлеб. Опять он так горячился, что пришлось отнять клетку. Однако после этого он стал толкать первый рычаг, то опуская, то поднимая его, после чего нажимал и второй рычаг. Уже намечался успех (she was beginning to learn). Я еще раз дважды показал ему весь процесс, и после этого он начал сам проделывать его, хотя он так охватывал концом хобота первый рычаг, что, опустив его сначала, затем вновь поднимал его. На двенадцатый раз он выполнил все, как следует»...

Мне кажется весьма сомнительным, что показывание сыграло здесь какую бы то ни было роль: 1) до него успех уже намечался, 2) после него еще были неверные движения. Может быть, если бы ничего не показывали, результат был бы тот же.

Я ограничусь этими двумя примерами. Гобгауз, изложив подробно весь цикл экспериментов, ставит вопрос: доказывают ли они то, что он ими хотел доказать, т.-е. что обучение животного новым действиям основано на восприятии им действий экспериментатора? За такое толкование, по его мнению, говорит следующее: «Почти во всех удачных экспериментах (а удалось большинство из них) имелась точка, обозначавшая выраженное изменение характера действий. Положение этой точки в серии опытов могло варьироваться от второго опыта и до седьмого или восьмого, в одном или двух случаях она оказывалась даже еще позже. До этой точки действия носили характер случайных... На известной точке животное наглядным образом отказывалось от своих методов и перенимало мои. Переход выражался более или менее отчетливо в зависимости от характера задания». Однако ту же картину можно понять иначе: до критической точки условная реакция не образовывалась, а тут она появлялась; и она могла появиться без всяких действий экспериментатора. Нужны более веские доказательства! Гобгауз утверждает, что в некоторых случаях животные стремились выполнить то, что им было показано. «Если кошка, напр., научалась выдвигать задвижку, то она научалась не только ударять лапой, и не только ударять лапой по определенному предмету, а научалась правильно выдвигать задвижку, выполнять что-то требующее известного комбинирования или повторений мелких движений». Не было неизменных реакций, а производились различные комбинации движений; которые все должны были произвести

«определенные заметные изменения в окружающем». Гобгауз сам говорит, что его эксперименты дают только слабые указания на то, что имелись такие целенаправленные действия. Он видит такие указания в «мелких приноравливаниях», которые животные производили, чтобы втянуть палку, открыть дверку или выдвинуть задвижку. Итак, единственное реально наблюдавшееся явление, которое позволяет Гобгаузу говорить о том, что у животных имелось стремление произвести определенное внешнее изменение, это «мелкие приноравливания». Приходится признать, что это очень скромный результат громадной экспериментальной работы! «Направленность действий на внешнее изменение я называю практическим представлением. А корреляцию такого представления с более отдаленной целью я называю практическим суждением». Следовательно, «мелкие приноравливания» должны, в конце концов, доказывать наличность у животных «практических суждений»; и это единственный реальный факт, который может выдвинуть Гобгауз.

У некоторых других авторов (например, Cole) описывается в поведении животных явление того же типа, как «мелкие приноравливания» Гобгауза; оно обозначается как «различные средства для той же цели». Для того, чтобы поднять рычаг, животное один раз пользуется одним способом, второй раз—другим; то тянет задвижку, то толкает ее и т. п. Что же можно отсюда заключить?

Если животное один раз тянет веревку лапой, а другой раз—зубами, то это доказывает только его большие двигательные возможности по сравнению с низшими формами, а не «способность к практическим суждениям». И в чисто наследственном поведении тоже участвует большое количество «мелких приноравливаний». Сколько их требуется какой-нибудь Ammophila для того, чтобы так искусно замаскировать гнездо, как она это проделывает. Наверное, с таким же правом мы и этой осе могли бы приписать «представление о целостном соотношении между раздельными элементами». «Различные средства для той же цели» говорят о том, что когда устанавливался навык, то попутно образовалось их два или несколько, так что стимул может вызвать сначала одну привычную реакцию (предположим наиболее привычную), но если в данном частном случае ей что-нибудь препятствует, то сейчас же может проявиться вторая и т. д.

Таким образом все явления, описанные Гобгаузом, мы можем понять как навыки, основанные на условных реакциях. Никаких доказательств наличности «практических суждений» у животных мы не находим. На самом деле Гобгауз придумал эту стадию для того, чтобы построить схему «эволюции разума», а эту эволюцию он a priori представлял себе постепенной. Поэтому ему понадобились переходные стадии, и он их изобрел.

В качестве следующей из таких переходных стадий к логическим суждениям и «общим понятиям» человека у Гобгауза появляются «членораздельные представления» (articulate ideas). Он считает их экспериментально доказанными только для обезьян.

«Практические представления» грубы и нерасчленены. «Членораздельные представления» характеризуются тем, что «сравнительно отчетливые элементы сопоставляются в сравнительно отчетливых соотношениях». Напр., что задвижка должна быть выдви-

нута—это грубое представление; а что она должна быть выдвинута настолько, чтобы освободить хомутик—относительно членораздельное, так как включает различение между частями воспринятого предмета (задвижкой и ее хомутиками) и оценку их взаимоотношения». Переход между этой стадией и предыдущей Hobhouse представляет себе следующим путем: во-первых, результаты опыта применяются таким образом, который не предопределен самим опытом; далее идет выполнение никогда не виденного действия на основе применения вывода из опыта для достижения данной цели. Затем «бо́льшая свобода в применении результатов одного опыта к другому в сочетании с большей точностью восприятий и отчетливостью воспроизведения» приводит к относительно членораздельным представлениям.

Hobhouse пытался доказать существование «членораздельных представлений» у обезьян постановкой нового ряда экспериментов. В этих экспериментах, неоднократно затем повторявшихся другими исследователями, обезьяны должны были: достать, напр., банан, помещенный за решеткой, ~~при помощи па~~лки, петли, крючка и т. п.; или должны были короткой палкой достать длинную, которой уже можно было достать банан, или вытолкнуть палкой (как поршнем) банан из железной трубки, или влезть на ящик, чтобы достать банан с высокого стола, или устранить препятствие, стоящее на пути и т. п. По мнению Гобгауза, обезьяны могли выполнить такие задания потому, что обладали более «разработанными и расчлененными представлениями». Гобгауз видит в этих экспериментах «применение определенных средств для известной цели, суждение о пространственном взаимоотношении предметов, а также образование и сочетание представлений довольно членораздельного типа». Гобгауз наблюдал, что обезьяна, которая не могла достать банан палкой, пыталась сделать это железным прутом, который оказался в ее клетке. Этот случай и другие подобные доказывают, по его мнению, общее знакомство с предметами и руководящее значение цели. Однако в них нет ничего иного, кроме обычных в новой ситуации «проб и ошибок», и все поведение обезьян в этих экспериментах полностью об'ясняется как образование навыков—может быть, более сложных навыков.

Таким образом, красивые схематические построения Гобгауза не имеют под собой реальной почвы.

Иеркс и «идеация».

Уоткинс считал признаком способности животного научиться из индивидуального опыта, как уже говорилось выше, «внезапное изменение деятельности в результате опыта без перемены окружающего». Другие авторы также уделяют большое значение признаку «внезапности». Напр., Торндайк и Гобгауз представляют себе, что навык — «механическое запоминание» образуется постепенно, а внезапность указывает на «умозаключение».

Аналогичные представления мы находим у Иеркса [1]). Он вводит понятие «идеации» (т.-е. поведения, основанного на предста-

[1]) Yerkes, R. M.: „The mental life of monkeys and apes". Beh Mon. v. 3, № 1, 1916.

влениях) и признаком такого поведения оказывается также «внезапность» некоторых процессов. Путь, которым Иеркс приходит к таким выводам, чрезвычайно характерен и, мне кажется, заслуживает несколько более подробного анализа.

Иеркс разработал особый метод, т. н. метод «выбора из многих» (multiple choice), при помощи которого можно изучать реакции на определенные пространственные взаимоотношения. Техника эксперимента, конечно, меняется в зависимости от об'екта, но принцип остается тот же. Представим себе для примера 12 ящиков, поставленных в один ряд; дверки некоторых из них закрыты, а другие открыты; в одном из последних лежит интересующий испытуемого предмет, и он может его достать (снаружи, конечно, предмет не обнаруживается непосредственно никакими рецепторами); если же испытуемый пытается проникнуть в какой-либо из остальных ящиков с открытыми дверками, то получает наказание (электрический шок). В следующем опыте будут открыты другие ящики и другое число их, и правильным будет уже новый ящик, но система расположения правильного ящика среди остальных не изменится. Например, в одной задаче правильным был всегда крайний левый из всех открытых ящиков, или, напр., второй справа, или средний из нечетного числа открытых ящиков, или, попеременно, один раз крайний левый, а другой—крайний правый и т. п.

При помощи аппаратов, построенных по изложенному принципу, испытывались люди, нормальные и дефективные; обезьяны человекообразные и низшие; крысы, домашние свиньи, вороны, голуби и т. д. Действительно, метод «выбора из многих» дает возможность сравнивать не только отдельных индивидов данного зоологического вида, но и различные группы животных между собой. Исключая только людей, наилучшие результаты получались у домашней свиньи.

В одном из исследований этого цикла Иеркс работал с несколькими макаками и одним орангом. Каждому из животных давалась сначала первая из указанных задач; после того, как она была разрешена, вторая и т. д.

Оказалось, что за тот период времени, в течение которого проводился этот эксперимент, только один из макак успел разрешить три проблемы и был занят четвертой, а оранг еще не справился и со второй. Первое из упомянутых животных разрешило первую задачу на 7-й раз, вторую на 21-й, а третью (попеременно крайний правый и крайний левый) на 470-й раз. Иеркс говорит об этом индивидууме, что, «может быть, в его сознании имелось смутное представление, но нет никакой очевидной необходимости считать, что именно на нем было основано правильное решение». По сравнению с этими результатами у оранга получились много худшие. С первой задачей он бился очень долго: первые 220 опытов не дали решения задачи, после этого произошел вынужденный случайными обстоятельствами перерыв. После возобновления тренировки на 300-й раз от начала эксперимента появилось правильное решение. Вторую задачу, для которой первой обезьяне понадобилось всего 21 опыт, оранг так и не смог разрешить, хотя с ней было проведено 1.380 опытов. Несмотря на это, Иеркс видит ясные доказательства того, что поведение оранга было основано на «идеации». Идеи-то

и мешали ему правильно решить задачу. Представьте себе, говорит Иеркс, что вы заранее создадите себе неверную теорию или план решения проблемы—вам этот неверный план будет мешать, и дело пойдет хуже, чем если бы у вас не было вовсе никакого плана. Вот у макак не было идей (представлений) и они быстро решили задачи; а у оранга, очевидно, были плохие идеи, которые препятствовали правильному решению. (Мне кажется, что все это рассуждение доказывает не то, что у оранга имелись предвзятые идеи, а что у Иеркса имелись предвзятые представления о поведении оранга!)

В чем же именно видит Иеркс доказательства наличности «идеации» у оранга? «В качестве доказательств идеации, которые дал метод «выбора из многих», особенно надо отметить следующие: 1) применение орангом в связи с каждой проблемой нескольких различных методов; 2) внезапный переход от одного метода к другому; 3) появление решения первой проблемы без постепенного уменьшения числа ошибок».

Первый пункт нам уже знаком. Применение различных способов для решения одной задачи мы встречали у Гобгауза, и даже—почти в том же виде—у Моргана. Второй по существу ничем не отличается от третьего. По сравнению с первым пунктом здесь добавлена «внезапность»—о ней разговор впереди.

Но дальше, если производятся переходы от одного метода к другому,—а у оранга с его несомненно большим запасом условных реакций в таких переходах нет ничего удивительного—то, после n—1 безрезультатных переходов, n-й, наконец, может привести к правильному методу. Тогда и появится «решение без постепенного уменьшения числа ошибок». И все-таки, тут будет постепенное устранение ошибок, но только не отдельных неверных движений, а тех самых методов, о которых говорят пункты первый и второй. У Иеркса далее приводится еще четвертое—очень странное—«доказательство». Однажды, когда оранг должен был войти во вторую камеру справа, он проделал следующее: подошел к крайней правой камере, сделал почти полный поворот вокруг своей оси, оказался лицом к правильной камере и вошел в нее. Это удалось ему еще несколько раз в следующие дни, но потом он стал поворачиваться, где бы он ни находился и, конечно, совершенно без результата. Иеркс считает, что оранг руководствовался представлением о том, что надо сделать полный поворот. Это (по-моему, довольно нелепое поведение, которое я, между прочим, часто наблюдал у крыс) и есть четвертое доказательство идеации. Любопытно, что когда у макак в связи с правильным решением сохранялись какие-нибудь лишние движения, то они не считаются доказательством идеации, а обозначаются, как «глупые» (stupide)!

Таким образом, остается еще только «внезапность». Но позвольте спросить, можно ли говорить о внезапности переходов от одного метода к другому, когда эти переходы происходят на протяжении 300 опытов в первой и 1.380 во второй задаче? Мне кажется совершенно ясным, что как эта самая внезапность, так и все прочие доказательства понадобились для того, чтобы оправдать представление, построенное исключительно на аналогии с человеком. Оранг более других обезьян похож на человека, и ему-то и приписывается «идеация». Эксперимент сам по

себе, а толкование—само по себе. Если бы руководствоваться только результатами эксперимента, то идеацией следовало бы почтить домашнюю свинью, так как только она разрешила все четыре задачи.

Итак, «внезапности», по-моему, в экспериментах Иеркса не было. Если бы действительно имел место такой внезапный перелом, то мы стояли бы не перед необходимостью признать наличность «идеации», а перед новой задачей, которая данным экспериментом не разрешается, а к решению которой пришлось бы подходить с иными адэкватными методами. О той же «внезапности» нам придется говорить и в следующем разделе.

В. Келер и Einsicht.

Те опыты, которые Hobhouse производил над обезьянами для доказательства у них «членораздельных» представлений, повторялись и варьировались затем многими исследователями. Особенно широко и основательно развил и проработал их В. Кёлер[1]). Он ставил эксперименты над чимпанзи. Поведение их в экспериментальных ситуациях описывается различно: в некоторых случаях они «долго вслепую пробуют», производя «движения без всякого плана». Следовало бы, конечно, протестовать против выражения «пробуют», но оставим его, так как не этот тип поведения нас сейчас интересует. В других случаях Кёлер описывает то, что он называет «подлинными решениями». Для таких «подлинных решений» характерно то, что они протекают гладко, без задержек («гладкое, целостное протекание, четко отделяемое от предшествующего резко выраженным началом»).

Если бы мы столкнулись с такой картиной: не обезьяне, а *человеку* представляется совершенно новая ситуация, требующая определенных действий с его стороны. В течение некоторого времени он (с точки зрения наблюдателя) не делает ничего—может быть, кроме легких поворотов головы, глаз и т. п., затем внезапно приходит в движение и производит все необходимые действия, разрешающие ситуацию. Мы, конечно, сказали бы, что человек сначала осмотрелся, обдумал положение и поступил в соответствии с вынесенным суждением. Так как это человек, то мы знаем, что «обдумал» тут «*об'ективно*» значит—экспериментировал своей речевой организацией [2]).

«Внезапность» или «подлинное решение» основаны на том, что мы не видим экспериментирования («проб и ошибок»), оно от нас скрыто. У человека это скрытые речевые реакции. У обезьян ничего качественно похожего на речевые реакции человека нам не известно. Если бы мы в поведении обезьяны по отношению к *проблеме, в связи с которой у нее не было выработано никаких навыков*, нашли поведение, аналогичное вышеописанному поведению человека, то нам пришлось бы искать область, в которой у нее происходит скрытое экспериментирование. Ничего неправдоподобного в этом предположении

[1]) Köhler, W., «Intelligenzprüfungen an Anthrcpolden», Abh. d. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1917.
Köhler, W., «Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpansen und beim Haushuhn», Ibid., Berlin 1918.
[2]) Ср. В. М. Боровский, «Введение в сравнительную психологию», §§ 36 и 37.

нет, так как двигательные возможности хотя бы пальцев у обезьяны сравнительно очень тонко развиты в сторону дифференциации. Другой вопрос, нужны ли такие гипотезы? Есть ли для них почва, т.-е. имеются ли на самом деле такие «подлинные решения» совершенно новых проблем? Кёлер, как сказано, на этот вопрос отвечает положительно, но об'ясняет он такое поведение не скрытым экспериментированием, а проявляющейся в таких случаях «Einsicht» (схватывание взаимоотношений); поведение обезьян Кёлер определяет как «einsichtig's Verhalten» «того же типа, который мы знаем у человека». «Einsicht» не надо смешивать с суждением; это только улавливание смысла, схватывание взаимоотношений внутри данной ситуации; суждение могло бы быть построено только уже на основе понятых взаимоотношений.

Я здесь не могу расследовать источников понятия «Einsicht» и других родственных представлений Кёлера. Для меня не подлежит сомнению, что эти источники лежат в немецкой спекулятивной философии. Но мне необходимо ответить на вышепоставленный вопрос о том, какие черты поведения шимпанзи дают Кёлеру право говорить о «подлинных решениях» или разумных действиях (Intelligenzleistungen).

Я приведу один характерный пример, в котором, по словам Кёлера (стр. 156), животное «решает задачу в одно мгновение». Описывается (на стр. 50) следующий эксперимент (видоизмененный опыт Гобгауза): у решетки поставлен деревянный ящик так, что обезьяна Ч., сидящая в клетке, не может достать банан, не отодвинув ящика. Эксперимент проделывается в первый раз. Вне клетки, снаружи, находятся еще 3 обезьяны (много меньшие, чем Ч.), которые наблюдают за происходящим и не прочь стащить банан. Обезьяна Ч. сначала взбирается на ящик и тщетно тянется с него руками за бананом. Затем сидит смирно. Маленькие обезьяны постепенно осторожно подбираются к приманке, и Ч. их отгоняет угрозами: движениями головы, ног, вытягиванием рук и т. п. Экспериментатор дает Ч. другой банан, который заставляет ее слезть с ящика. Ч. усаживается около ящика. Когда маленькие обезьяны вплотную подобрались к первой приманке, то Ч. внезапно схватывает ящик («игрушка в ее руках»), отбрасывает его назад и схватывает банан. Между прочим, не послужило ли импульсом к «внезапному» схватыванию ящика—желание запустить им в непрошенных гостей? или хотя бы угроза? Тот же эксперимент следующим образом излагается дальше (на стр. 156) при его теоретическом использовании: «Ч. при первом эксперименте часами не догадывается убрать с дороги мешающий ящик, и только все тщетно протягивает руки или сидит неподвижно, под конец же, при опасности лишиться, внезапно схватывает препятствие, отодвигает его в сторону и так решает задачу в одно мгновение» (подчеркнуто мною. *В. Б.*). Почему в «одно мгновение»? А предидущие часы не считаются? Разве многократное вытягивание рук не относится к попыткам решения задачи? На самом деле из описания эксперимента ясно, что имелся ряд неудачных попыток, а затем одна удачная. Если человек в течение 1 часа и 59 минут тщетно бьется над решением какой-нибудь сложной задачи, а в следующую минуту решит ее—скажем ли мы, что он решил задачу в одну минуту? По-моему, он ее решит в

два часа. А если кто-нибудь будет утверждать, что он решил ее внезапно, то я скажу, что тогда всякий новый навык устанавливается внезапно. И всякий условный рефлекс появляется внезапно (это не раз отмечалось в литературе). То не было условного рефлекса, и «вдруг» есть условный рефлекс. По всей вероятности дело об'ясняется тем, что сначала интенсивность стимуляции какого-то нервного пути была ниже порога его раздражимости, а затем нарастающее количество перешло в новое качество. Такими физиологическими процессами об'ясняются решения, основанные на экспериментировании.

Итак, мы приходим к заключению, что: 1) в экспериментах Koehler'a не было поведения, которое подходило бы под его представление о «подлинных решениях»; 2) если бы даже оно имелось, мы могли бы предложить для его об'яснения гипотезу скрытого экспериментирования. Эта гипотеза заставила бы нас поставить новые исследования, так как надо было бы вскрыть ту область, в которой производится экспериментирование. В противоположность этому кёлерское понятие «Einsicht» не только совершенно необосновано, но и бесплодно.

К тому же вопросу можно подойти еще с другой стороны. Имеются эксперименты Richardson [1]), в которых она заставляла крыс прыгать в длину на значительное расстояние. Она брала две платформы, укрепленные на высоких стержнях; на одну сажалась крыса, а на другую клался корм. Крыса пыталась перепрыгнуть с одной платформы на другую; несколько раз срывалась; наконец, достигала того, что безошибочно перепрыгивала каждый раз.

Я утверждаю, что поведение крысы после того, как навык у нее установлен, полностью соответствует определению Einsicht. На самом деле. Возьмем одно из новейших определений Einsicht, как его дает сторонник Кёлера голландский ученый Bierens de Haan [2]). По его словам, мы находим Einsicht там, где «существо, будь то человек или животное, попавшее в новую ситуацию, которую оно может непосредственно охватить внезапно, хотя иногда только после большего или меньшего числа нецелесообразных движений, производит все необходимые для достижения цели движения, как одно единое действие». Все эти пункты в поведении крысы имеются: она правильно «оценивает» расстояние и необходимые мускульные усилия (может охватить ситуацию) и без колебаний (внезапно) прыгает (производит все необходимые для достижения цели движения) одним прыжком (как одно единое действие—чего уж более «единого», чем прыжок!). Только один пункт не подходит: ситуация для крысы явно не «новая». Мы хорошо знаем генезис ее поведения и, в результате, прекрасно понимаем его без всякой Einsicht. Поведение обезьяны нам не так еще понятно; мы не знаем всех условных и безусловных реакций, которые может у нее вызвать каждая данная ситуация; мы не знаем генезиса всех ее навыков—это белое пятно на географической картине нашего знания. Но белые пятна, как известно, всегда побуждают энергичных исследователей на

---

[1]) Richardson, Fl., «A studjof sensory control in the rat». Psich. Man., № 48, 1910.

[2]) Bierens de Haan, F. A.,«Verschche über den Farbensinn und das psychische Leben von Octopus vulgaris». Zeitschr. f. vergl. Physiol. 4. Bd., 1926.

организацию разведочных экспедиций. Если же заклеить эти белые пятна этикетками вроде Einsicht и т. п., то мы рискуем сильно понизить их стимулирующую ценность. Когда мы сможем проанализировать поведение обезьяны, так же как это сделано для крысы в эксперименте Richardson, то никаким метафизическим факторам—как бы их ни называли—места не останется.

Кёлер заканчивает свое исследование «Испытание разума человекообразных обезьян» следующими словами: «Не только всевозможные морфологические и в узком смысле физиологические моменты выделяют это человекообразное из числа других животных и приближают его к человеческим расам, но оно обнаруживает и такую форму поведения, которая считается специфически человеческой. Мы плохо знаем соседей чимпанзи, стоящих ниже его в системе животных; но на основании того немногого, что нам известно, и результатов настоящей работы, представляется возможным, что в исследованной области человекообразное и по наличию Einsicht стоит ближе к человеку, чем ко многим низшим обезьянам.

До сих пор наблюдения вполне соответствуют требованиям эволюционных теорий; в особенности подтверждается корреляция между разумом и развитием большого мозга». Последние слова очень характерны и в них, конечно, все дело. С одной стороны, имелись известные анатомические аналогии; с другой стороны, отсутствует диалектическое представление о возможности качественно своеобразных процессов человеческого мышления при количественно нарастающей сложности. Отсюда импульс искать непременно тождественное с человеческим поведение у высших обезьян, априорное мнение о его наличности, построение теоретических схем и насильственное укладывание наблюденных фактов в эти предвзятые построения.

Hunter и роль «сознания» в отсроченных реакциях.

Hunter держится мнения, первоначально высказанного Carr'ом, что если за стимулом непосредственно следует реакция, то у нас вообще не должна возникнуть потребность постулировать какой-нибудь «особый» фактор. Поэтому никакие методы, основанные на изучении непосредственных реакций, ничего не могут открыть нам относительно представлений и т. п. Иначе обстоит дело в таких случаях, когда реакция происходит «в отсутствие стимула». На этом основании и был предложен особый метод для изучения «отсроченных реакций». Метод был применен Hunter'ом к крысам, собакам, енотам и детям, Cowen—к кошкам. (Я намеренно пропускаю работу Walton'а, так как считаю ее неправдоподобной). В результате своих экспериментов Hunter пришел к заключению, что существует коренная разница между крысами и собаками, с одной стороны, и между енотами и детьми—с другой. Крысы и собаки могут в условиях данного эксперимента произвести «отсроченную реакцию», если они при стимуляции приняли известную установку в нужном направлении и если их в интервале ничего с этой физической установки не сбило. Что же касается енотов и детей, то они реагируют в тех же условиях совершенно иначе: их во время паузы можно

развлекать, они могут поворачиваться в любую сторону, т.-е. фиксированная телесная установка им не нужна, и все же как только открывается выпускная дверь, они сейчас же устремляются куда нужно,—при чем большей частью сразу в правильном направлении, а иногда меняя по дороге направление в правильную сторону. Таким образом, у собак и крыс задача решается на основе установленного оптико-кинэстетического навыка. Спрашивается, на чем основано правильное решение у енотов и детей?

Если реакция R производится через некоторый промежуток времени после того, как удален стимул S, то необходимо предположить, что S вызвал внутри организма какой-то процесс, замещающий самый стимул; а так как этот замещающий процесс определенным образом направляет реакцию, то, следовательно, он или его последствия имеются налицо в тот момент, когда производится реакция R. Поскольку, конечно, эксперимент поставлен правильно и не имеется ничего вне организма, что замещало бы S. Как же этот замещающий процесс окажется налицо в нужный момент? Очевидно, что это может произойти двумя способами. Либо он без перерыва длится во все время интервала, тогда—и Hunter с этим соглашается—мы имеем обыкновенный навык. Это мы фактически наблюдаем в случае крыс и собак, где роль замещающего процесса играет телесная установка. Либо же замещающий процесс исчезает и вновь появляется в нужный момент (при выпуске). Hunter того мнения, что если только реагирующий чем-нибудь основательно отвлечен (развлечен), то замещающий процесс фактически исчезает. Но так как реакция производится правильно, то он, стало быть, вновь налицо. Как же осуществляется перерыв этого замещающего процесса? По Hunter'у [1]), такой перерыв возможен там, где замещающий процесс носит характер особой реакции LR, обладающий двумя специфическими свойствами: 1) она может быть восстановлена не стимулом S, а воздействием самого организма (подчеркнуто мной. *В. Б.*); 2) она имеет символический характер.

На этих двух пунктах необходимо несколько задержаться, раньше чем изложить дальнейшие следствия. Во-первых, надо сказать, что в эксперименте реакция восстанавливается не «воздействием самого организма», а открытием выпускной дверки. Это, конечно, не стимул S, а второй стимул, участвовавший с самого начала при образовании сложного навыка. Но открытие дверки не вносит никакой дифференциальной ценности. Почему же реагирующий идет в правильном направлении? Каким образом оказался в наличности «замещающий процесс»? Строится гипотеза, что с этим вторым стимулом (открытием дверки) связана реакция LR (речевая реакция), которая образовалась при удалении стимула S (реагирующий сказал себе: свет был в камере C; когда выпустят, надо итти туда!) и которая может быть призвана к функционированию в любой момент, а реально вызывается именно открытием дверки. В случае человека мы, конечно, так и представляем себе весь этот сложный навык.

[1]) Hunter, W. S., «The problem of consciansness». Psychol. Rev., v. 31, 1924. «The symbolic process», Ibid. «The subject's report», Ibid., № 32, 1925.

организацию разведочных экспедиций. Если же заклеить эти белые пятна этикетками вроде Einsicht и т. п., то мы рискуем сильно понизить их стимулирующую ценность. Когда мы сможем проанализировать поведение обезьяны, так же как это сделано для крысы в эксперименте Richardson, то никаким метафизическим факторам—как бы их ни называли—места не останется.

Кёлер заканчивает свое исследование «Испытание разума человекообразных обезьян» следующими словами: «Не только всевозможные морфологические и в узком смысле физиологические моменты выделяют это человекообразное из числа других животных и приближают его к человеческим расам, но оно обнаруживает и такую форму поведения, которая считается специфически человеческой. Мы плохо знаем соседей чимпанзи, стоящих ниже его в системе животных; но на основании того немногого, что нам известно, и результатов настоящей работы, представляется возможным, что в исследованной области человекообразное и по наличию Einsicht стоит ближе к человеку, чем ко многим низшим обезьянам.

До сих пор наблюдения вполне соответствуют требованиям эволюционных теорий; в особенности подтверждается корреляция между разумом и развитием большого мозга». Последние слова очень характерны и в них, конечно, все дело. С одной стороны, имелись известные анатомические аналогии; с другой стороны, отсутствует диалектическое представление о возможности качественно своеобразных процессов человеческого мышления при количественно нарастающей сложности. Отсюда импульс искать непременно тождественное с человеческим поведение у высших обезьян, априорное мнение о его наличности, построение теоретических схем и насильственное укладывание наблюденных фактов в эти предвзятые построения.

Hunter и роль «сознания» в отсроченных реакциях.

Hunter держится мнения, первоначально высказанного Carr'ом, что если за стимулом непосредственно следует реакция, то у нас вообще не должна возникнуть потребность постулировать какой-нибудь «особый» фактор. Поэтому никакие методы, основанные на изучении непосредственных реакций, ничего не могут открыть нам относительно представлений и т. п. Иначе обстоит дело в таких случаях, когда реакция происходит «в отсутствие стимула». На этом основании и был предложен особый метод для изучения «отсроченных реакций». Метод был применен Hunter'ом к крысам, собакам, енотам и детям, Cowen—к кошкам. (Я намеренно пропускаю работу Walton'a, так как считаю ее неправдоподобной). В результате своих экспериментов Hunter пришел к заключению, что существует коренная разница между крысами и собаками, с одной стороны, и между енотами и детьми—с другой. Крысы и собаки могут в условиях данного эксперимента произвести «отсроченную реакцию», если они при стимуляции приняли известную установку в нужном направлении и если их в интервале ничего с этой физической установки не сбило. Что же касается енотов и детей, то они реагируют в тех же условиях совершенно иначе: их во время паузы можно

развлекать, они могут поворачиваться в любую сторону, т.-е. фиксированная телесная установка им не нужна, и все же как только открывается выпускная дверь, они сейчас же устремляются куда нужно,—при чем большей частью сразу в правильном направлении, а иногда меняя по дороге направление в правильную сторону. Таким образом, у собак и крыс задача решается на основе установленного оптико-кинэстетического навыка. Спрашивается, на чем основано правильное решение у енотов и детей?

Если реакция R производится через некоторый промежуток времени после того, как удален стимул S, то необходимо предположить, что S вызвал внутри организма какой-то процесс, замещающий самый стимул; а так как этот замещающий процесс определенным образом направляет реакцию, то, следовательно, он или его последствия имеются налицо в тот момент, когда производится реакция R. Поскольку, конечно, эксперимент поставлен правильно и не имеется ничего вне организма, что замещало бы S. Как же этот замещающий процесс окажется налицо в нужный момент? Очевидно, что это может произойти двумя способами. Либо он без перерыва длится во все время интервала, тогда—и Hunter с этим соглашается—мы имеем обыкновенный навык. Это мы фактически наблюдаем в случае крыс и собак, где роль замещающего процесса играет телесная установка. Либо же замещающий процесс исчезает и вновь появляется в нужный момент (при выпуске). Hunter того мнения, что если только реагирующий чем-нибудь основательно отвлечен (развлечен), то замещающий процесс фактически исчезает. Но так как реакция производится правильно, то он, стало быть, вновь налицо. Как же осуществляется перерыв этого замещающего процесса? По Hunter'у [1]), такой перерыв возможен там, где замещающий процесс носит характер особой реакции LR, обладающий двумя специфическими свойствами: 1) она может быть восстановлена не стимулом S, а в о з д е й с т в и е м с а м о г о о р г а н и з м а (подчеркнуто мной. *В. Б.*); 2) она имеет символический характер.

На этих двух пунктах необходимо несколько задержаться, раньше чем изложить дальнейшие следствия. Во-первых, надо сказать, что в эксперименте реакция восстанавливается не «воздействием самого организма», а открытием выпускной дверки. Это, конечно, не стимул S, а второй стимул, участвовавший с самого начала при образовании сложного навыка. Но открытие дверки не вносит никакой дифференциальной ценности. Почему же реагирующий идет в правильном направлении? Каким образом оказался в наличности «замещающий процесс»? Строится гипотеза, что с этим вторым стимулом (открытием дверки) связана реакция LR (речевая реакция), которая образовалась при удалении стимула S (реагирующий сказал себе: свет был в камере C; когда выпустят, надо итти туда!) и которая может быть призвана к функционированию в любой момент, а реально вызывается именно открытием дверки. В случае человека мы, конечно, так и представляем себе весь этот сложный навык.

---

[1]) Hunter, W. S., «The problem of consciansness». Psychol. Rev., v. 31, 1924. «The symbolic process», ibid. «The subject's report», ibid., № 32, 1925.

организацию разведочных экспедиций. Если же заклеить эти белые пятна этикетками вроде Einsicht и т. п., то мы рискуем сильно понизить их стимулирующую ценность. Когда мы сможем проанализировать поведение обезьяны, так же как это сделано для крысы в эксперименте Richardson, то никаким метафизическим факторам—как бы их ни называли—места не останется.

Кёлер заканчивает свое исследование «Испытание разума человекообразных обезьян» следующими словами: «Не только всевозможные морфологические и в узком смысле физиологические моменты выделяют это человекообразное из числа других животных и приближают его к человеческим расам, но оно обнаруживает и такую форму поведения, которая считается специфически человеческой. Мы плохо знаем соседей чимпанзи, стоящих ниже его в системе животных; но на основании того немногого, что нам известно, и результатов настоящей работы, представляется возможным, что в исследованной области человекообразное и по наличию Einsicht стоит ближе к человеку, чем ко многим низшим обезьянам.

До сих пор наблюдения вполне соответствуют требованиям эволюционных теорий; в особенности подтверждается корреляция между разумом и развитием большого мозга». Последние слова очень характерны и в них, конечно, все дело. С одной стороны, имелись известные анатомические аналогии; с другой стороны, отсутствует диалектическое представление о возможности качественно своеобразных процессов человеческого мышления при количественно нарастающей сложности. Отсюда импульс искать непременно тождественное с человеческим поведение у высших обезьян, априорное мнение о его наличности, построение теоретических схем и насильственное укладывание наблюденных фактов в эти предвзятые построения.

Hunter и роль «сознания» в отсроченных реакциях.

Hunter держится мнения, первоначально высказанного Carr'ом, что если за стимулом непосредственно следует реакция, то у нас вообще не должна возникнуть потребность постулировать какой-нибудь «особый» фактор. Поэтому никакие методы, основанные на изучении непосредственных реакций, ничего не могут открыть нам относительно представлений и т. п. Иначе обстоит дело в таких случаях, когда реакция происходит «в отсутствие стимула». На этом основании и был предложен особый метод для изучения «отсроченных реакций». Метод был применен Hunter'ом к крысам, собакам, енотам и детям, Cowen—к кошкам. (Я намеренно пропускаю работу Walton'a, так как считаю ее неправдоподобной). В результате своих экспериментов Hunter пришел к заключению, что существует коренная разница между крысами и собаками, с одной стороны, и между енотами и детьми—с другой. Крысы и собаки могут в условиях данного эксперимента произвести «отсроченную реакцию», если они при стимуляции приняли известную установку в нужном направлении и если их в интервале ничего с этой физической установки не сбило. Что же касается енотов и детей, то они реагируют в тех же условиях совершенно иначе: их во время паузы можно

развлекать, они могут поворачиваться в любую сторону, т.-е. фиксированная телесная установка им не нужна, и все же как только открывается выпускная дверь, они сейчас же устремляются куда нужно,—при чем большей частью сразу в правильном направлении, а иногда меняя по дороге направление в правильную сторону. Таким образом, у собак и крыс задача решается на основе установленного оптико-кинэстетического навыка. Спрашивается, на чем основано правильное решение у енотов и детей?

Если реакция R производится через некоторый промежуток времени после того, как удален стимул S, то необходимо предположить, что S вызвал внутри организма какой-то процесс, замещающий самый стимул; а так как этот замещающий процесс определенным образом направляет реакцию, то, следовательно, он или его последствия имеются налицо в тот момент, когда производится реакция R. Поскольку, конечно, эксперимент поставлен правильно и не имеется ничего вне организма, что замещало бы S. Как же этот замещающий процесс окажется налицо в нужный момент? Очевидно, что это может произойти двумя способами. Либо он без перерыва длится во все время интервала, тогда—и Hunter с этим соглашается—мы имеем обыкновенный навык. Это мы фактически наблюдаем в случае крыс и собак, где роль замещающего процесса играет телесная установка. Либо же замещающий процесс исчезает и вновь появляется в нужный момент (при выпуске). Hunter того мнения, что если только реагирующий чем-нибудь основательно отвлечен (развлечен), то замещающий процесс фактически исчезает. Но так как реакция производится правильно, то он, стало быть, вновь налицо. Как же осуществляется перерыв этого замещающего процесса? По Hunter'у [1]), такой перерыв возможен там, где замещающий процесс носит характер особой реакции LR, обладающий двумя специфическими свойствами: 1) она может быть восстановлена не стимулом S, а в о з д е й с т в и е м с а м о г о о р г а н и з м а (подчеркнуто мной. *В. Б.*); 2) она имеет символический характер.

На этих двух пунктах необходимо несколько задержаться, раньше чем изложить дальнейшие следствия. Во-первых, надо сказать, что в эксперименте реакция восстанавливается не «воздействием самого организма», а открытием выпускной дверки. Это, конечно, не стимул S, а второй стимул, участвовавший с самого начала при образовании сложного навыка. Но открытие дверки не вносит никакой дифференциальной ценности. Почему же реагирующий идет в правильном направлении? Каким образом оказался в наличности «замещающий процесс»? Строится гипотеза, что с этим вторым стимулом (открытием дверки) связана реакция LR (речевая реакция), которая образовалась при удалении стимула S (реагирующий сказал себе: свет был в камере C; когда выпустят, надо итти туда!) и которая может быть призвана к функционированию в любой момент, а реально вызывается именно открытием дверки. В случае человека мы, конечно, так и представляем себе весь этот сложный навык.

---

[1]) Hunter, W. S., «The problem of consciansness». Psychol. Rev., v. 31, 1924. «The symbolic process», Ibid. «The subject's report», Ibid., № 32, 1925.

Что такое «символический» характер? Мы проводим различие между голосовой или словесной реакцией, с одной стороны, и речевой, с другой стороны. Вторая имеет символический характер, а первая нет. Если, напр., младенец кричит от голода, то это голосовая реакция. Если взрослый человек говорит: «я голоден», то это речевая реакция, так как слова эти имеют условный, символический смысл для окружающих. Если ребенок привык к тому, что на его крик появляется мать, которая его кормит; если он не просто кричит, потому что голоден, а криком призывает мать, то этот крик принимает характер условного сигнала (условного языка) между матерью и ребенком и реакция перестает быть только голосовой, а приобретает символический характер и переходит в речевую.

Речевые реакции входят органической частью во все действия человека. Конечно, они не всегда видимы. Кроме видимых речевых реакций, имеется громадное количество скрытых, которые мы не можем сейчас обнаружить никакими нашими инструментами. Повторяю, — отсроченную реакцию в случае человека можно представить себе следующим образом: устанавливается сложный навык, часть которого с момента исключения стимула S до момента выпуска имеет характер скрытой речевой реакции. Открытие дверки вызывает переход этой последней в видимую мускульную.

Все это в случае человека очень понятно. Но Hunter считает, что, приписывая «замещающему процессу» характер речевой реакции LR, он не выходит из рамок экспериментально доказанного.

На самом деле это не так. Он не прав в двух отношениях. Во-первых, как уже сказано, неправильны его слова, подчеркнутые мною выше. Во-вторых, эксперимент, как таковой, ничего не говорит о том, что постулируемая реакция LR является символической речевой реакцией. Это наше допущение, наша попытка об'яснить результаты эксперимента при помощи известных нам для человека речевых реакций. И применить наше об'яснение мы можем, конечно, только к экспериментам над человеком, в данном случае над детьми.

Спрашивается, как же быть с енотом? У Hunter'а он все время на одной линии с детьми. Hunter, отождествив (произвольно) реакцию LR с речевой реакцией, последовательно приписывает и еноту речевую реакцию.

Перейдем теперь к дальнейшим выводам Hunter'а.

Если, говорит он, за чувственным процессом SP следует LR, то необратимое взаимоотношение SP—LR представляет собой явление, обозначаемое как «сознание». Это (мало понятное) положение иллюстрируется двумя следующими примерами:

1) На нетренированного испытуемого мы воздействуем тактильными стимулами пяти повышающихся интенсивностей. Оказывается, что только на стимул 5 он дает речевую реакцию «да». Все, что меньше пяти, ниже порога и «вне сознания». После соответствующей тренировки удается получить ту же реакцию уже при стимуле 3. Тогда говорят, что порог понижен и «сознание» имеется там, где его ранее не было. Если дальнейшая тренировка не достигает результата, то мы стимул 3 назовем поро-

гом. Интенсивности от 1 до 3 вызывают какую-то реакцию (предположим местное изменение кровообращения) и 1 будет физиологическим порогом. Пороги «сознания» и физиологический не совпадают. Критерием «сознания» служит речевая реакция.

2) Нетренированный испытуемый не различает обертонов, хотя методами физики легко доказать, что соответствующие колебания имеются в данном стимуле. Испытуемый не «сознает» обертонов и не дает словесного отчета о них. Экспериментатор применяет отдельно первый обертон (SP). Следует реакция LR. Тогда вновь дается SP, но уже как часть сложного стимула и отмечается, появилась ли LR, или нет. В последнем случае тренировка продолжается. Как только на сложный стимул последует словесная реакция LR, в тот же момент суб'ективист заявит, что имеется «сознание обертона».

Итак, речевая реакция служит критерием сознания. А так как эксперимент Hunter'a, по его мнению, доказал наличность у некоторых об'ектов речевых реакций, то доказана и наличность сознания. Мы уже знаем, что участие речевых реакций при отсроченных реакциях мы только можем предполагать, а эксперимент сам по себе ничего такого не выясняет. На чем фактически основана возможность «отсрочки» у детей и у енотов, мы не знаем. У детей мы имеем право предполагать, по аналогии с взрослым человеком, что она основана на речевой реакции. Но надо это доказать. Очевидно, нужны дальнейшие эксперименты над детьми. Для енотов мы пока никаких определенных предположений сделать не можем; тут также только эксперименты могут дать ответ.

Но, отвлекаясь от эксперимента, что, вообще говоря, может дать нам представление о том, что «необратимое взаимоотношение SP—LR есть явление обозначаемое, как сознание» (во-первых, сознание отнюдь не «явление», а только одна сторона некоторых явлений). Мне это положение представляется совершенно бессодержательным и излишним. Если мы точно установили взаимоотношение SP—LR, то обозначение его «сознанием» ничего к нашим сведениям о всем процессе не добавляет. Вернемся к первому примеру Hunter'a. На тактильное раздражение с силой 5—испытуемый отвечает речевой реакцией с самого начала, на 3—только после тренировки; на 1—3 вовсе не отвечает, хотя особыми приборами мы можем установить какое-то влияние и этих раздражений на его организм. Если это все, что мы можем констатировать относительно данного явления, то оно нисколько не станет нам яснее, если мы скажем, что раздражения 3—5 «сознаются» нашим испытуемым, а 1—3 не сознаются. Если бы даже мы каким-либо путем могли последнее обстоятельство установить с полной точностью, то это все же нам не принесло бы абсолютно никакой пользы. Это имеет значение исключительно только для самого испытуемого с его личной точки зрения, на которую при всех усилиях ни один посторонний наблюдатель стать не в состоянии.

Может ли это представление помочь для понимания отсроченных реакций? Тоже не может. Мы видим, что имеется отсрочка. Но что происходит во время отсрочки? Какой «замещающий процесс»? Если мы не знаем, что там происходит, то ничего не выиграем от того, что определим это как речевую

реакцию. Ведь речевые реакции от неречевых не отличаются по каким-либо специфическим признакам самых реакций. Hunter говорит, что «эта разница (т.-е. между речевыми и неречевыми реакциями) пока еще не была отчетливо формулирована на экспериментальной основе» (стр. 491). Речевая реакция отличается от других только по биосоциальным основаниям, только своим символическим характером; вне биосоциальных условий нелепо говорить о речевых реакциях.

Таким образом, приходится признать участие речевых реакций в осуществлении отсроченных реакций недоказанными самым экспериментом. Тем менее доказано какое-либо активное участие сознания.

В книге одного английского автора—E. M. Smith [1]) имеется последняя глава, озаглавленная «Доказательства разума и представлений».

Глава эта заканчивается следующими словами: «Подводя итог, мы можем сказать, что отнюдь не опровергнуто, что животные разумны и обладают «представлениями», но за единственным, может быть, исключением метода «отсроченных реакций» Hunter'a, ни один из тестов, применявшихся до сих пор, не исключает той возможности, что обучение животного есть только процесс перцепторно-двигательного уровня». Мы теперь убедились в том, что и эксперименты Hunter'a не могут дать нам ничего иного. Все поведение животных мы должны пытаться понять как процесс перцепторно-моторный. Нигде мы не находим доказательства наличности каких-то «высших» процессов (как бы их ни называли) у животных. Но, конечно, и ни один из методов не опровергает, что животные обладают «представлениями». Все методы зато доказывают, что имеются ли или нет «представления» и т. п.,—но нигде они не играют роли активных факторов в поведении; для них в таком случае просто нет места, наши данные о них вообще ничего не говорят; все, что мы наблюдаем, мы можем уже сейчас понять с точки зрения взаимоотношений стимулов и реакций, или же мы видим перспективу понять это со временем.

Ладыгина-Котс и «познавательные способности» обезьян.

Во введении к своей книге [2]) Ладыгина-Котс дает «критический обзор главных методов зоопсихологии». Цель обзора—выявить применимость методов «к изучению психических, в частности высших способностей ближайших к нам животных». В конце обзора автор приходит к тому выводу, что применявшиеся до сего времени методы для изучения «собственно психических явлений» ничего не дали: в том числе и метод подражания, и метод дрессировки, и даже «методы behavior'истов вообще». С этим можно согласиться; можно это положение и еще расширить, тогда мы придем к выводу, сделанному нами ранее на основании всего нами разобранного: вообще никакое изучение животных где бы и как бы оно ни производилось, ничего «собственно психического» у них не обнаружило.

[1]) Smith, E. M., «The investigation of mind in animals», Cambridge 1923.
[2]) Ладыгина-Котс, Н. Н., Исследование познавательных способностей шимпанзе». М. 1923.

Совершенно иначе звучат те положения, к которым пришла Ладыгина-Котс на основании своих собственных экспериментов. Она считает возможным установить, что «цветовые впечатления для шимпанзи суб'ективно далеко не равноценны» (стр. 451), что он образует «типические» и «общие» представления (стр. 452) и что у него имеется «процесс отвлечения».

Спрашивается, какие же фактические данные позволяют сделать такие выводы? Автор экспериментировал по методу «выбора на образец», заключающемуся «в узнавании и из'ятии животным цветного об'екта, тождественного с пред'являемым экспериментатором примерным образцом» (стр. 66). По существу, это, конечно, тоже дрессировка или образование сложного навыка. В качестве побуждающего фактора применялось разрешение животному после двух-трех удачных ответов покинуть вынужденное экспериментальной обстановкой положение, подвигаться и повозиться свойственным ему образом, при чем экспериментатор обычно принимал участие в этих играх. Такой побуждающий фактор, несомненно, имеет много преимуществ перед наиболее распространенными факторами корма или наказания. На ряду с этим он имеет и недостатки. Во-первых, конечно, такое экспериментирование требует очень большого времени—и нашему автору пришлось провести эксперименты над одним только экземпляром шимпанзи. Во-вторых, длительное и тесное общение животного с экспериментатором дает первому возможность ознакомиться со всеми движениями экспериментатора и выработать целый ряд условных реакций на них. Обычно по отношению к такого рода экспериментам высказывается сомнение в том, что животное реагирует действительно на образец, а не на экспериментатора. Здесь при таком близком знакомстве—сугубо приходится опасаться того, что, напр., те движения одобрения или неудовольствия, которыми экспериментатор хочет реагировать лишь после ответа животного, на самом деле при всей осторожности могут все же давать животному достаточно заметные сигналы уже при самом выборе. Допуская, что все такие моменты, с которыми, конечно, автор серьезно считался и которые он не стремился устранить, были сведены до минимума, метод «выбора на образец» надо признать плодотворным; эксперименты проведены интересно: широко и разнообразно.

Но, к сожалению, Ладыгина-Котс не ограничилась ею же избранным методом. На ряду с ним она сочла необходимым применить еще другой; она высказывает убеждение, что только экспериментально-психологические и «интроспективные методы исследования» «помогают нам вскрыть до конца элементы высшей, «разумной» психической деятельности животных, делают возможным точную ее оценку, проливают свет на ее истинное понимание» (стр. 24). Автор—правда, «только с большой осторожностью, с существенными коррективами»—все же считает возможным (и нужным) применить «к узкой группе самых близких к человеку форм животных» «самый суб'ективный метод, антропоморфический» (стр. 34). На самом деле, антропоморфизм и суб'ективные точки зрения пронизывают все изложение, начиная с самой постановки проблемы. Вот, например, как автор еще до эксперимента представляет себе процесс «выбора на образец»: 1) концентрация внимания на образце—процесс восприятия образца; 2) перенесение

внимания на «избираемые экспонаты—искание об'екта тождественного с образцом на основании полученного впечатления от пред'явленного образца—преперцепция тождественного; 3) узнавание тождественного, сопровождаемое у животного волевым двигательным актом его из'ятия из группы «избираемых» для вручения экспериментатору» и т. д. (Стр. 67). Дальше с автором происходит то же, что всегда происходит в подобных случаях. Задавшись заранее намерением истолковать эксперимент антропоморфически, она сначала приписывает своему испытуемому человеческие свойства и способности, а потом их у него «находит». Ничего кроме произвольных толкований, основанных на аналогиях с человеком, таким методом получить невозможно.

В этом надо полностью согласиться с М. Уошберн, которая в одном месте подчеркивает курсивом следующее положение: «Всякое психическое истолкование поведения животных должно иметь в основе аналогию с опытом человека». Конечно, это так. И все авторы, которые констатируют «психическое» в поведении животных, привносят в свои наблюдения со стороны заранее сложенные мнения, основанные на поведении человека.

Применение «интроспективных методов исследования» к изучению животных только и может означать построение каких-то аналогий с человеком. «Процесс отвлечения», «представления» и проч., очевидно, приписывается обезьяне не на основании непосредственных результатов экспериментов, а на основании предполагаемых сходств каких-нибудь черт его поведения с поведением человека. Никакого реального доказательства существования «познавательных способностей» заключения по аналогии дать не могут, а от эксперимента, как такового, их не ждет даже и автор. Ни один из описанных автором фактов не дает нам повода предположить активное участие в поведении чимпанзи «психических» факторов.

Роль «сознания» при обучении человека.

В области поведения человека мы имеем чрезвычайно мало точно установленных данных. Я здесь ограничусь одним случайным примером, выбирая именно этот пример потому, что он был подвергнут экспериментальному анализу. Я имею в виду случай усвоения человеком нового навыка без каких-либо инструкций относительно того, что именно способствует образованию этого навыка.

Существует очень распространенное представление, что когда человек чему-нибудь обучается, то в первые моменты, в первый период упражнения необходимые действия производятся им под руководством сознания, что далее по мере упражнения сознание принимает в процессе обучения все меньшее участие, а с автоматизацией процесса исчезает. Так, напр., обучающийся письму на машинке сначала при первых опытах писать повышенно сознателен, а впоследствии, когда он станет опытным машинистом, ему понадобится лишь минимальное руководство со стороны сознания (Perrin) [1]. Однако такое представление не имеет под со-

[1]) Perrin, T. A. C. «Conscions analysis versus habit hierarchies in the learning process», Journ. of Compar. Psych., v. I, № 3, 1921.

бой никакого фактического обоснования, и первая же попытка, проверить его экспериментально, показала его полную несостоятельность. Perrin, по всей вероятности, вполне прав, когда он утверждает, что то, что представляют себе под вышеупомянутой «повышенной сознательностью» есть не что иное, как некий эмоциональный элемент, имеющийся обычно в каждой новой ситуации. А такой эмоциональный фактор, может быть, больше препятствует, чем способствует обучению. Ничего достоверного по этому поводу неизвестно, так же, как неизвестно, зависит ли он преимущественно от новизны или от затруднительности положения.

Если бы действительно имелось в начале упражнения такое действие сознания, то какова именно могла бы быть его роль? Пришлось бы представить себе, что обучающийся производит что-то вроде сознательного анализа положения и выводит на основании анализа правила для своего дальнейшего поведения. Только таким путем сознание и могло бы способствовать обучению. Однако эксперимент показывает, что, может быть, производится последующий анализ, но никак не предварительный. Повидимому, процесс обучения у человека—процесс несознательный. Напоминаю, что речь идет об обучении, в котором не участвуют словесные инструкции со стороны обучающего.

Эксперименты Perrin относятся к начальной фазе обучения двигательным навыкам взрослых людей; всего он имел 100 испытуемых. Кроме того еще пять человек тренировались в сортировке карт в течение трех месяцев по 5 экспериментов в неделю. Perrin приводит результаты обучения трем следующим двигательным навыкам: 1) координирование работы обеих рук. В алюминиевой пластинке были вдавлены две фигуры: квадрат и треугольник. Испытуемый, держа в правой и левой руках по металлическому острию, должен был очертить обе фигуры с определенной скоростью, регулируемой метрономом. Испытуемый не должен был при этом касаться острием до металла. При прикосновении приходила в действие электрическая трещотка и ему зачитывалась ошибка. Экспериментатор говорил испытуемому, что именно он должен выполнить, но, конечно, ничего не говорил о том, как он должен это сделать. Задача трудная, так как испытуемый должен проделывать свободные движения обеими руками синхронно, но асимметрично. Последующий опрос испытуемых показал, что они старались следить за пластинкой, острием, метрономом, трещоткой и движениями своих рук. Никогда они не упоминали о предварительном плане действий или представлении о том, как надо действовать. Не имелось предварительного плана и претворения его в дело. Часть испытуемых составляли люди, «тренированные на самонаблюдение». Если бы анализ положения способствовал обучению, то очевидно, что эти люди имели больше шансов преуспеть чем остальные. Однако эксперимент показал, что они усваивали навык нисколько не скорее, чем все прочие (большинство).

2) Балансирование на узком ребре доски, поставленной другим ребром на пол. Испытуемый должен был пройти по ребру доски сначала лицом вперед, потом пятясь задом, потом сделать полный поворот; кроме того, он должен был продержаться на одной ноге на особой подставке, неприкрепленной к полу. Экспериментатор только показывал, что надо проделать, но опять

себе сначала какое-нибудь животное не из высших. Оно в новой ситуации, как нам хорошо известно, производит так называемые «пробы и ошибки», вырабатывает новый навык, или, как иногда фигурально выражаются, оно «экспериментирует», пока не найдет выхода из положения. Если мы наглядно видим те движения, которые оно при этих «пробах» или «экспериментах» производит, то у нас нет повода предполагать активное участие какого-либо нефизиологического фактора. Возьмем теперь случай человека. Человек в новой ситуации экспериментирует преимущественно своей речевой организацией. Но эти «пробы» нам не видны: хотя его движения в этот момент наиболее активны, но они настолько мелки, что нам кажется, что его движения задержаны («рефлексы заторможены»). Отсюда возникает такое представление, что когда движения задержаны, то деятельность переходит в другую область, что она тогда протекает в «душе», в «сознании», или что происходит не менее таинственная «центральная переработка». Отсюда (из этих областей) производится затем активное воздействие на двигательную сферу, и человек «сразу», «внезапно» выполняет все нужные движения. С нашей точки зрения это чистейшая мистика. На самом деле происходит, конечно, совсем другое. Чем выше животное, тем больше запас его условных и безусловных реакций, которые оно может производить на данный стимул, тем больше его возможности при «экспериментировании». Человек с его наиболее компактной речевой организацией обладает наибольшим репертуаром таких возможностей, и он производит одну реакцию за другой, пока не нападет на верное решение. (Только эти речевые реакции недоступны пока нашему наблюдению, почему многие и связывают с ними что-то таинственное). Суб'ективную сторону этого экспериментирования речевой организацией мы называем мышлением (сознательной деятельностью). Ничего мистического в этом процессе нет, и никаких потусторонних фактов для его об'яснения нам не надо. Человек имеет возможность быстро развертывать свой репертуар потому, что обладает соответствующим аппаратом—полушариями большого мозга, хорошей центральной телефонной или распределительной станцией, которая быстро переключает пути импульсов с одной комбинации эффекторов на другую. Но если бы процесс не дошел до эффекторов, то не могло бы быть и сознания. Сознание есть суб'ективная сторона эффекторной деятельности, а не центральной; вернее суб'ективную сторону имеет только процесс, закончившийся в эффекторе—мускуле или железе [1]).

Спрашивается, наблюдается ли такое же поведение (как у человека) у человекообразных? И если да, то чем же они «экспериментируют»? Приходится сказать, что ни на тот, ни на другой вопрос мы пока окончательного ответа дать не можем. Но отсюда мы только в праве заключить, что нужны новые исследования, и ничего нам не поможет, если нам скажут, что у обезьян имеются идеация или Einsichtiges Vorgehen или познавательные способности. Это слова. Слова того сорта, каким так часто заменяется отсутствие действительного понимания (Wo Begriffe fehlen etc.).

[1]) Этому вопросу мною будет посвящена особая статья: «Головной мозг и поведение».

Заключение.

Возвращаясь к поведению животных, мы можем, повидимому, сделать общий вывод, что для его понимания нам нет надобности и нет повода прибегать к каким-либо трансцендентным, мистическим факторам, как бы они ни назывались.

Все авторы, которые вводят подобные факторы, по всей вероятности, делают это под влиянием стремления во что бы то ни стало найти у животных моменты, качественно идентичные психике человека (или качественно подобные, но менее развитые). Указанное стремление ведет по прямой линии к какой-нибудь форме панпсихизма, и, напр., Ллойд-Морган в первых своих книгах был очень недалек от такой точки зрения.

Но ведь с такой же несомненностью мы знаем о существовании «сознания» или «психики» у человека. Мы постоянно сталкиваемся с совершенно реальным фактом, что некоторые явления в жизни человека имеют своеобразное свойство входить в особую группу, которую человек называет своим «я». Иначе говоря, некоторые из физиологических процессов, протекающих в организме человека, на ряду с присущими им различными физическими, химическими признаками, имеют еще один совершенно своеобразный (качественно своеобразный) признак; сумму таких качественно своеобразных признаков человек называет своим «я», сознанием» или «психикой». Своеобразие заключается именно в свойстве вступать в этот особый комплекс. Стало быть, все явления, влияющие на человека, входят в многочисленные об'ективные сочетания, а некоторые из них еще и в «суб'ективный» комплекс, в ту особую связь, которая образует собой суб'ективный мир («я») именно этого данного человека. Не имеется особых суб'ективных, психических явлений, или «явлений сознания», а только суб'ективная связь, суб'ективная сторона некоторых членов одного единого ряда *реальных* явлений. Это своеобразное свойство принадлежит, конечно, не раздражителям, а об'екту раздражения. Это есть свойство особо организованных об'ектов (человеческих организмов): на те же раздражения реагировать не только об'ективно—как реагируют все другие об'екты, не имеющие данной способности,—но и суб'ективно, т.-е. об'единением одной стороны этих раздражений в особый ряд, в который только он сам и может его включить. Такого свойства не имеется у человека от рождения,—оно появляется у него внезапно по достижении им известной ступени его развития в тот момент, когда он, как говорят, осознает свое «я». С этого момента некоторые из происходящих с ним явлений связываются им с прочими фактами его биографии, как она представляется ему в его индивидуальном аспекте. Появившись—самосознание дает человеку иллюзию эгоцентризма.

Что имеется у ребенка до того момента, как у него появилось самосознание? Имеется ли еще до этого какой-то другой род сознания, какое-то, как иногда говорят, «смутное» сознание?

Такое предположение не имеет никакого смысла и, во всяком случае никакой практической ценности. Мы не имеем возможности разделять реакции ребенка на реакции сознательные и несознательные, а только на положительные и отрицательные. Психология поведения стоит на точке зрения строгого монизма

и изучает один единственный ряд реальных явлений, из которых слагается поведение каждого организма.

Для психологии поведения суб'ективная сторона реакций человека совершенно безразлична, так как она не имеет никакой биосоциальной ценности. Если бы эта сторона отсутствовала, то задачи психологии нисколько бы не изменились. Это, конечно, не значит, что эта суб'ективная сторона непознаваема. Но это значит, что она познаваема только данным суб'ектом. И совсем, по моему, неуместно говорить здесь об «агностицизме», как это делают некоторые авторы. Ведь, в конце концов, это дело определения.

Позвольте пояснить это примером. Великий скептик, Анатоль Франс, в своем романе «Восстание ангелов» (стр. 12) говорит о «философах, занимающихся разложением, разбором и разрешением абсолютного, определением неопределимого и ограничением безграничного». Думаю, что ни одного философа, который отказался бы определять «границы безграничного», не обвинили бы в агностицизме. Если я нечто определю, как «неделимое», а потом скажу, что его невозможно расчленить и нет смысла искать в нем подразделений, то это также не агностицизм.

Совершенно то же и с понятием суб'ективности. Если я что-либо определяю, как суб'ективное, то я тем самым хочу сказать, что оно не об'ективно, т.-е. никак не проявляется во вне и недоступно никому, кроме самого суб'екта. Это есть определение понятия суб'ективного и суб'екта. И агностицизм тут совершенно не при чем. Все, что об'ективно—мы должны изучить; то, что суб'ективно—мы не можем изучить. (Я здесь не касаюсь так называемого «суб'ективного метода» изучения или интроспекции, как, во всяком случае, не применимого в сравнительной психологии).

Изучив все об'ективные стороны реакций, мы изучим все, что как-либо может нас касаться. Не впадая в типичный идеализм, нельзя себе представить такую реакцию, которая имела бы только суб'ективную сторону без об'ективной. Чисто идеальных или «собственно психических» процессов не существует. Все реальные процессы об'ективны, но некоторые из них имеют и суб'ективную сторону. И только реальные факторы могут влиять на реальные процессы.

Представление о том, что «психические» факторы могут вмешиваться и влиять на протекание реальных [1]) процессов—это идеализм, мистика чистой воды. Эгоцентризм на ряду с иллюзией «свободы воли» создает иллюзию мощности психических факторов: «сознание активно» совершенно в такой же мере, как «воля свободна».

Очень хорошо говорит об этой иллюзии Уоррен: я могу «решить», что я сейчас буду двигать ушами, но сколько бы я ни напрягал свою волю, никакого движения не получится: нервный импульс не пойдет к ушным мускулам; он пойдет не туда, куда я «решил» его направить, а в зависимости от сложившихся физиологических соотношений.

---

[1]) Суб'ективная сторона, конечно, так же реальна, как и об'ективная. Не реальна только суб'ективная сторона, как процесс, не имеющий об'ективной стороны—таких процессов не существует.

Но если «сознание» и т. п. никак не может влиять на протекание реальных явлений, и, в частности, на поведение животных, то тщетно искать проявления психических факторов в поведении. Активных психических факторов поведения вообще не существует. Поэтому все разобранные нами попытки различных авторов констатировать такие факторы были заранее обречены на бесплодность. Поэтому-то мы, в действительности таких факторов нигде и не нашли.

Искать примеры активного воздействия «сознания» на поведение—все равно, что пытаться «об'ять необ'ятное».

Понятие эволюции.

(«Эволюция механическая, творческая, диалектическая»).

Н. Гредескул.

> Мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя, которую отражает развивающееся человеческое сознание
>
> *Ленин.* «Материализм и эмпириокритицизм», 1920 г., стр. 133.
>
> Диалектика—это единственный пригодный на высшей ступени развития метод мышления.
>
> *Энгельс.* «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. II. стр. 61.

Идея развития, идея эволюции есть центральная идея нашего времени. Она есть стержень, вокруг которого располагается и на котором движется все наше знание и все наше научно-философское мышление. Она есть основной принцип всего нашего современного взгляда на мир. Мы в настоящее время считаем познанным только то, что уяснено в своем происхождении и в своем развитии; а это происхождение и развитие мы считаем выясненными только тогда, когда они вставлены в общий мировой процесс развития.

Принципиально мы признаем не много «эволюций», не отдельные эволюции отдельных частей мира, а одну общую мировую эволюцию. Мы признаем, что мировой процесс есть единый и цельный процесс, в котором все связано между собой и в котором нет ни одной составной части, которая была бы независима от всех других частей. Поэтому познание мира представляется нам, как познание единого мирового развития. Конечно, пока это только идеал, к которому мы стремимся, но все наше знание мы разрабатываем именно в этом направлении. На этой почве мы утверждаем единство и всеобщность науки, также как единство и всеобщность нашего научно-философского миросозерцания.

При таких условиях понятно, какое огромное, можно сказать, решающее значение и для нашего познания, и для нашего миропонимания, а, в конце концов, и для нашего практического действия, имеет та или иная постановка идеи эволюции, то или иное п о н я т и е о ней. Здесь ключ ко всему остальному. Ясно, что всякая неверность здесь должна в многократно увеличенных размерах отражаться, как на всех частных областях нашего познания, так и на всем нашем миросозерцании в целом, а, через него, и на всей нашей практической деятельности.

Отсюда—исключительная важность надлежащей, правильной постановки идеи эволюции,—такой ее постановки, при которой наше понятие о ней действительно схватывало бы и покрывало все те факты, какие представляет мировой ход явлений. А между тем идея эволюции далеко не сразу получила такую правильную постановку, или, вернее сказать, она и доныне имеет три разных постановки, между которыми распределяются приверженцы эволюционизма. Мы взглянем здесь на эти три постановки, взяв их в лице наиболее выдающихся их представителей, для того чтобы сопоставить их между собою и сделать соответствующие выводы.

1.

Механическая эволюция.

Спенсер.

Первым, кто самым всеоб'емлющим и, казалось, весьма убедительным образом применил идею эволюции ко всему ходу явлений мира, начиная от явлений неорганических и кончая явлениями органическими и социальными,—кого поэтому преимущественно называют «философом эволюции»—был Спенсер. Идея эволюции Спенсера развита и обоснована им в «Основных началах» его философии. Эта идея одновременно «научная» и «философская, потому что сама философия, по Спенсеру, должна быть «научной». Область философии, говорит он, есть «та же область, которая принадлежит науке». «Название философии, — прибавляет он,—надобно сохранить за знанием, имеющим наивысшую степень обобщения» [1]). Словом, философия, согласно Спенсеру, есть не что иное, как наивысшее обобщение всего человеческого знания.

Но что же дает нам это наивысшее обобщение?

Если подвергнуть анализу все наше знание о мире, то окажется, что в основе всех явлений, в качестве их простейших, дальше уже ни к чему не сводимых элементов, являются три элемента: материя, движение и сила. Спенсер считает, что из них самым основным,—по его выражению,—«основным элементом основных элементов» [2])—является сила, потому что материя и движение суть только «различно обусловленные проявления силы» [3]). Но зато сила, сама в себе, «не познаваема»; ее только и можно познавать по ее «действию», т.-е. по материи и движению. Отсюда естественный вывод, что в основе всего нашего знания лежат только два, а не три, действительно, доступных нашему познанию элемента: материя и движение. Их мы изучаем, относительно них мы строим, как наши более узкие, так и наши более широкие обобщения. Эти обобщения являются «законами природы», и наивысшими из них надо считать закон «неуничтожимости» материи, с одной стороны, и закон «постоянства движения», с другой. Без этих основных мировых законов—невозможны были бы и никакие другие законы, а, следовательно, невозможна

[1]) Спенсер, Основные начала, Спб. 1897, стр. 108.
[2]) Там же, стр. 139.
[3]) Там же, стр. 140.

была бы и самая наука. «От истинности этих двух положений,—говорит Спенсер,—зависит возможность точной науки»[1]). Что же касается положения о «постоянстве силы», которое также принимается Спенсером, то, по Спенсеру, это только «постулат» из положения о «постоянстве движения»[2]), а по существу—«истина», которая лежит за пределами наших опытных сведений»[3]).

Вот основные, наивысшие истины, даваемые нам нашим научным знанием; «это истины, которыми об'единяются конкретные явления, принадлежащие всем отделам природы», и это-то и придает им, по мнению Спенсера, «характер, делающий их частями философии в собственном смысле слова»[4]).

Но, продолжает Спенсер,—«все эти истины—истины аналитические, а никакая аналитическая истина, никакое количество аналитических истин не может быть тем синтезом мысли, который один в состоянии быть истолкованием синтеза предметов. Разложение явлений на их элементы—лишь подготовление к пониманию явлений в состоянии сложного их бытия, открывающегося нам. Узнать законы факторов еще вовсе не значит узнать законы их общей деятельности. Вопрос не в том, как действует какой-нибудь фактор, материя, или движение, или сила,—сам по себе или под какими-нибудь воображаемыми простыми условиями; и даже не в том, как действует какой-нибудь отдельный фактор под сложными условиями действительного существования. Искомая формула должна выражать собою совокупное произведение всех факторов во всех их разнообразных видах. Только формулировав

[1]) Там же, стр. 150.

[2]) Там же, стр. 156.

[3]) Там же, стр. 164.—Спенсер был совершенно чужд той критики понятия «силы», которую мы находим у Энгельса. Да это и не удивительно, так как все естествознание стояло тогда на почве понятия «силы», лишь позже (да и то не вполне) замененного понятием «энергии». «Представление о силе,—говорит Энгельс,—заимствовано, как это признается всеми, из проявлений деятельности человеческого организма по отношению к окружающей его среде. Мы говорим о мускульной силе, о поднимающей силе рук, о прыгательной силе ног, о пищеварительной силе желудка и кишечного тракта, о силе ощущения нервов, о секреторной силе желез и т. д. Иными словами, чтобы избавиться от необходимости указать реальную причину изменения, вызванного какой-нибудь функцией нашего организма, мы сочиняем некоторую фиктивную причину, соответствующую этому изменению, и называем ее силой. Мы переносим затем этот удобный метод и во внешний мир и, таким образом, сочиняем столько же сил, сколько существует различных явлений» («Диалектика природы»,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. II, стр. 245). Чаще всего мы прибегаем к понятию «силы» не там, где мы уже познали «об'ективный закон» явлений, а там, где мы еще его себе не уяснили. «Таким образом,—говорит Энгельс,—прибегая к понятию силы, мы выражаем не наше знание, а наше о т с у т с т в и е знания природы, закона и способа его действия. В этом смысле, в виде краткого выражения еще непознанной причинной связи, в виде уловки языка, оно может перейти в обычное употребление. Что сверх того, то от лукавого» (Там же, стр. 247). В соответствии с этим любопытно, что Спенсер, придавая понятию «силы» «основное» значение, вместе с тем признает ее «непознаваемой», т.-е., в сущности, она и у него прикрывает собою «незнание», но только он отнюдь от нее не отказывается, а, наоборот, возводит в основание всех вещей. Не вполне удовлетворяет Энгельса и понятие «энергии». «Термин «энергия»,—говорит он,—отнюдь не выражает правильно всего явления движения, ибо он подчеркивает только одну сторону его—действие, но не противодействие. Кроме того он способен вызвать мысль о том, будто «энергия» есть нечто внешнее для материи, нечто привитое ей. Но во всяком случае он заслуживает предпочтения перед выражением «сила» (Там же, стр. 245).

[4]) С п е н с е р, Основн. нач., стр. 231.

всю совокупность процесса, достигаем мы того знания, которого ищет философия» [1]).

Таким образом, вслед за анализом должен последовать синтез,—и синтез не менее всеоб'емлющий, чем был анализ, т.-е. охватывающий все мировое целое. Спенсер говорит: «мы должны теперь искать такого закона сочетания явлений, который, по об'ему, был бы равен изложенным в предыдущих главах законам основных факторов явлений. Мы видели, что материя неуничтожима, что движение постоянно, и постоянно количество силы; мы видели, что силы повсюду подвергаются превращениям и что движение, всегда следуя линии наименьшего сопротивления, неизменно имеет ритмичность; нам остается открыть такую же неизменную формулу, которая выражала бы сочетание формулированных нами порознь результатов разных видов действия» [2]).

Спенсер спрашивает: «каков должен быть общий характер этой формулы?».

Его ответ гласит: «Она должна показывать ход изменений, которым подвергаются и материя и движение. Всякое изменение обозначает перераспределение составных частей; определение его, указывая, что именно произошло с заметными или незаметными чувствам частями вещества, должно также показывать, что именно произошло с заметными или незаметными чувствам движениями, совершающимися при перераспределении частей. Далее, если преобразование не идет постоянно в одном и том же направлении и с одною и тою же скоростью, то формула должна показывать условия, при которых оно начинается, прекращается и переходит в обратное направление» [3]).

Словом, «закон, которого мы ищем,—заключает Спенсер,—должен быть законом непрерывного перераспределения материи и движения» (подчеркнуто автором) [4]).

В каком же направлении, или в каких направлениях идет, в действительности, «перераспределение материи и движения»? Спенсер считает, что «повсюду и всегда ход перемен составляет в каждую данную минуту часть одного из двух процессов»: или «интеграции материи и сопровождающего ее рассеяния движения», или «поглощения движения и сопровождающей его дизинтеграции материи» [5]). Первый процесс—есть процесс «эволюций», второй—процесс «распадения».

Обращаясь специально к «эволюции», Спенсер говорит, что она может быть простая или первичная и сложная или вторичная. Первичная, или простая эволюция—есть «производимый рассеиванием движения и интеграцией материи ход изменений от менее связной формы к более связной» [6]). Но при сложной эволюции, на ряду с «первичными перераспределениями материи и движения» происходят еще и «вторичные их перераспределения». А это значит, что «вместе с переходом из разлитого состояния в концентрированное совершается переход из однородного состояния в разнородное. Составные части массы,

[1]) Там же, стр. 231—232.
[2]) Там же, стр. 233.
[3]) Там же, стр 233.
[4]) Там же, стр. 233—234.
[5]) Там же, стр. 240—241.
[6]) Там же, стр. 274.

интегрируясь, становятся и дифференцированными»[1]). Это заставляет переменить или, лучше сказать, дополнить формулу эволюции, сказав, что она есть не только переход от «бессвязности к связности», но и переход «от однообразия к разнообразию», иначе говоря, она есть «изменение бессвязной однородности в связную разнородность, являющееся следствием рассеяния движения и интеграции вещества»[2]). Но и этого мало. К этому надо еще добавить, что, «будучи переходом из однородности в разнородность, эволюция с тем вместе есть переход из неопределенности в определенность»[3]). Наконец, надо добавить и еще одно: что вторичные перераспределения материи сопровождаются, при сложной эволюции, еще и вторичными перераспределениями «остающегося» или «сохраненного» в веществе движения.

В результате всех дополнений получается знаменитая «полная» формула спенсеровской эволюции: «Эволюция есть интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, переводящая материю из неопределенной бессвязной однородности в определенную, связную разнородность и производящая параллельно тому преобразование сохраняемого материею движения»[4]).

Мы видим, как плоска, по сравнению с рельефом мира, эта Спенсеровская формула эволюции. В ней нет ничего, кроме материи и перемещения ее частей, т.-е. механического движения. Она совершенно не отражает разнокачественности явлений и нарастания этой разнокачественности вместе с процессом эволюции. Можно сказать, что факт и проблема появления в процессе эволюции новых явлений и новых качеств для Спенсера совсем не существует. Он говорит: «все, повсюду происходящие, перемены, от тех, которыми медленно преобразуется строение нашей звездной системы, до тех, которые составляют процесс химического разложения—суть перемены относительного положения составных частей»[5]). «Об'яснение явлений жизни ума и общества» должно быть также дано «в терминах материи, движения и силы»[6]). Он думает, что «глубочайшие из тех истин, до каких мы можем достичь, состоят в простом констатировании наиболее широких одинаковостей в наших опытных сведениях об отношениях между материею, движением и силою»[7]). И единственное, что его при всем этом смущает, это то, что кто-нибудь подумает, что «все данные им об'яснения и те об'яснения, какие будут выведены из них, имеют смысл в сущности материалистический». Но против возможности такого упрека он, как ему кажется, победоносно защищается своим агностицизмом. Он говорит: «спор о материализме и спиритуализме не более, как война на словах, в которой спорящие одинаково нелепы, потому что и те, и другие воображают себя понимающими то, чего невозможно понимать никому из людей»[8]).

Таким образом, спенсеровская эволюция есть эволюция того, что не только существует изначала, но и всегда остается неиз-

---

[1]) Там же, стр. 277.
[2]) Там же, стр. 302.
[3]) Там же, стр. 304.
[4]) Там же, стр. 331.
[5]) Там же, стр. 452.
[6]) Там же, стр. 464.
[7]) Там же, стр. 466.
[8]) Там же, стр. 465.

менным по существу, обнаруживая только процессы рассеивания, сосредоточения, дифференциации, интеграции и пр. Это есть эволюция материи, изначальным свойством которой является механическое движение и которая переходит от одних форм этого движения к другим, все более и более сложным. В принципиальном содержании этой эволюции качественно нет ничего, кроме материи и присущего ей механического движения. Это—механическое представление о мире и механическая эволюция.

Но механическое представление о мире и механическая эволюция явно не покрывают действительности. В составе мирового процесса, кроме материи и разных форм ее движения, имеются явления, качественно отличные от механического движения: имеются химические явления, имеется жизнь, имеются психические переживания живых существ. Этих явлений нельзя игнорировать, нельзя считать их за какие-то вторичные или побочные явления,—не феномены, а какие-то эпифеномены—нет, это—настоящие явления, и их существование в мировом потоке нисколько не призрачное, а вполне действительное. Значит, их надо констатировать и поставить на свое место в процессе эволюции, закономерно об'яснив их происхождение. С точки зрения сплошного механического представления о мировом процессе они необоснованы и непонятны. Они показывают, что мировой процесс состоит не из одних дифференциаций и интеграций того, что качественно было с самого начала, но и из появлений в его потоке все новых и новых качеств, отличных от качеств предыдущих. Этого факта и этого характера мирового процесса спенсеровская эволюция совершенно не учитывает, и поэтому она, очевидно, недостаточна.

II.

Творческая эволюция.

Лестер Уорд.

Неудивительно, что против спенсеровского представления об эволюции раздались возражения даже из среды тех, кто не расходился с ним по общему «научному» духу своей мысли. В качестве примера такого возражения мы приведем здесь выступление против Спенсера американского (ныне умершего) социолога Лестера Уорда, признанного главы всей американской социологической школы.

Уорд, прежде чем стать социологом, был крупным биологом, достаточно известным в своей специальной области (палеоботаника). Склонный к широким обобщениям, и именно на почве эволюционного представления о мировом процессе, он обратился от биологических явлений к социологическим и выдвинул, в противоположность спенсеровскому, свое представление о всем ходе мирового развития. Это развитие представляется ему не как сплошное, однородное, хотя и все время усложняющееся, поступательное движение, а как смена эпох, открывающихся одна за другой нарождением новых, прежде не бывших явлений. Первая из этих эпох—переход от универсального эфира к первичным сгущениям материи в виде туманностей. Вторая—образование из

туманностей мировых систем. Третья—появление на небесных телах, в определенный период их развития, сперва жизни, а потом чувства и мысли. «Когда одно вслед за другим,—говорит Уорд,—происходили эти изменения от Хаоса первичных туманностей к всемирному Космосу, от Космоса к Биосу, от Биоса к Логосу, то в промежутках между этими великими стадиями, мы находим долгие периоды, в течение которых творческие продукты еще не приняли настолько определенных форм, чтобы образовать поворотные пункты или кризисы в развитии мира. Но всегда, в конце концов, такая ступень достигалась и появлялся новый творческий продукт, столь решительно отличный от всего, что существовало раньше, и такой значительный в своей природе, что это давало, в некотором роде, новый исходный пункт для всей будущей эволюции. Как будто при каждой такой ступени мир менял свой фронт и двигался дальше уже в новом направлении. Были различные космические кризисы этого рода, и после каждого из них рождался новый мир»[1]).

Последний из таких мировых кризисов—это возникновение человека, а вместе с ним и общества. «Человек,—говорит Уорд,—одаренный всеми свойствами низших продуктов эволюции, но кроме того еще и интеллектом, рождает новый и высший продукт,—общество. То, что отличает его от всех других космических творений, есть его способность к творчеству. Таким образом, социальные явления представляют собою новый и самый последний исходный пункт, а именно его движение к цивилизации» [2]).

Вот концепция эволюции, противопоставленная Лестером Уордом Спенсеру. Она схватывает и констатирует возникновение новых, раньше не бывших в мировом процессе, явлений, она говорит по этому поводу о кризисах, о коренных поворотах в мировом развитии, о сменяющих одна другую мировых эпохах. И в этом не приходится возражать Уорду. Но для об'яснения такого хода эволюции он прибегает к понятию, которого не было у Спенсера, а именно к понятию т в о р ч е с т в а. Понятие творчества—это такое нововведение в теории эволюции, которое не может не обратить на себя самого серьезного внимания и притом, несомненно, с отрицательной стороны. Тем более, что Уорд, в своей системе, придает ему коренное значение.

Понятие творчество совершенно нельзя признать правильным и уместным в «научной» теории эволюции. «Творчество» предполагает «творца», и даже если оно не есть творчество из «ничего», то все же оно предполагает м а т е р и а л, над которым совершается процесс творчества. Иначе говоря, оно неизбежно вводит д у а л и з м в понятие развития: дуализм активного творца и пассивного материала. Кто же этот «творец» у Лестера Уорда?

Таким «творцом» у Лестера Уорда является сама природа. Он говорит: «творит вся природа»[3]), и творит в таком изобилии, что «эволюция—вся насквозь творческая» [4]).

Но как же творит «природа»? Каков путь или способ ее «творчества»?

[1]) L. Ward, Rure sociology, p. 93.
[2]) Там же, p. 95.
[3]) Там же, p. 89.
[4]) Там же, p. 93.

Этот путь, по Лестеру Уорду, есть путь «творческих синтезов». Понятие «творческого синтеза» Уорд заимствовал у Вундта. Он сам говорит об этом, и приводит те слова Вундта, которые явились для него ключом к построению всей его системы. Вот эти слова немецкого ученого и философа, которого, при всей его известности, едва ли можно признать оригинальным и первоклассным мыслителем: «Нет абсолютно ни одного такого образования, которое по значению и ценности своего содержания, не было бы чем-то бо́льшим, чем простым механическим результатом своих составных частей»[1]).

Однако это положение Вундта настолько неопределенно и неясно, что Уорд считает нужным дать ему свое собственное раз'яснение. Смысл слов Вундта, говорит он, сводится к тому «плодотворному положению, которому нас учит главным образом химия, что соединение двух субстанций есть больше, чем простая сумма этих субстанций,—что это настоящая третья и притом отличная от двух первых субстанция. Что свойства этой третьей субстанции каким-то образом произошли от своих составных частей и к ним могут быть сведены (курсив мой. *Н. Г.*), этого,—продолжает он,—никто не отрицает, но человеческое разумение все-таки не может понять возникающего здесь соотношения. Никто, напр., не мог бы заранее сказать, какой род субстанции произойдет даже из такой простой комбинации, как соединение водорода с кислородом в пропорции двух атомов первого с одним атомом второго. Никто не мог бы предсказать, прежде чем это не было испробовано на опыте, будет ли происходящая от этого соединения субстанция газом, как обе ее составные части, или жидкостью, какою она бывает при обыкновенной температуре, или твердым телом, каким она становится при низких температурах. Еще менее мог бы кто-нибудь предсказать, каковы вообще будут ее свойства»[2]).

Уорд думает, что этот, как он выражается, «закон аггрегации или многократного повторного соединения есть универсальный закон, который может быть применен ко всем частям природы». Но только, по его мнению, «этот универсальный химизм или внутреннее слияние элементов, при полной потере ими прежней индивидуальности и проявлении в новой форме,—слияние, совершенно отличное от простого механического смешения или амальгамирования, требует более глубокого изучения. Как скоро мы признаем, что это процесс творческий, хотя при этом и не получается ни одного свойства, которого уже не было бы раньше (курсив мой. *Н. Г.*), то это бросает на все происходящее целый поток света, и мы тогда усматриваем, как это возможно, чтобы бесконечное разнообразие возникало из относительно немногих элементов, или, в действительности, даже из единого определенного субстрата вселенной»[3]).

В подобных «творческих синтезах», по выражению Лестера Уорда, и «заключается главный метод природы»[4]). «Первичные туманности надо рассматривать, как синтетическое творение»[5]).

[1]) Там же, p. 79.
[2]) Там же, p. 80.
[3]) Там же, p. 81.
[4]) Там же, p. 89.
[5]) Там же, p. 94.

«Каждая мировая система есть космическое творение»[1]). «Жизнь, чувство и мысль» суть «творческие продукты»[2]).

В заключение отметим, что, выдвигая свою мысль о «творчестве природы», Уорд отнюдь не желает, через «творчество», поставить природу в связь с «богом». Он говорит: «Ходячее понятие о творчестве неопределенно и смутно. Старое воззрение и воззрение теологическое вообще держится того мнения, что нечто может твориться без всякого материала—творчество из ничего. Но дух не может этого себе усвоить; наперекор всему средневековому теологизму всегда повторялось выражение «ex nihilo nihil fit», и оно никогда не подвергалось серьезному сомнению. Единственная разумная и мыслимая идея творчества была всегда та, что благодаря ему раньше существовавшие вещи претворяются в новую форму»[3]).

Идею «творчества» (achievement) Лестер Уорд положил в основу всей своей социологии, как она сложилась у него к концу его жизни и нашла свое выражение в трактате о «чистой» социологии (Rure sociology).

Как можно видеть из предыдущего, эволюционная позиция Лестера Уорда представляет собою очень яркую и выразительную картину. Как и Спенсер, Уорд хочет остаться в пределах науки. Но он усмотрел ту проблему, которой не видел Спенсер, а именно проблему «разнокачественности» явлений, или, как он выражается, их «бесконечного разнообразия». Он поражен этой проблемой, и он ищет ее разрешения. По дороге ему попадается довольно неопределенное положение Вундта, он за него хватается, переделывает его на свой лад, получает свою формулу «химизма» и истолковывает ее, как формулу «творчества». И ему кажется, что он «бросил этим целый поток света на все происходящее» и что отныне стало совершенно понятным, «как это возможно, чтобы бесконечное разнообразие возникало из относительно немногих элементов или даже из единого субстрата вселенной»!

Конструируя свою теорию эволюции, как эволюции «творческой», Уорд явно непоследователен; он явно не схватывает всей логики того, что он делает,—он не сознает, что, вводя понятие «творчества», он выдворяет себя из той области, которой он вовсе не хочет покидать, а именно из области науки. Правда, он этого опасается, но ему кажется, что он принял против этого достаточные меры. Любопытно взглянуть на эти его меры «предосторожности» против того, чтобы не очутиться в области теологии.

Первая из этих мер—это устранение понятия «творчества из ничего». Но едва ли эта мера достаточна. Да, конечно, она достаточна против «средневековой» теологии, которая именно такое «творчество» и приписывает божеству. Но, ведь, само понятие «творчества» таково, что если даже оно не есть творчество из абсолютного «ничего», то оно все-таки есть привнесение в то, что есть, т.-е. в некий материал, того, чего в нем не было,—и привнесение посторонней рукою. Значит, разница с первым случаем не так уж велика.

И вот, Уорд, как бы чувствуя это, принимает еще и другие меры предосторожности. Но они таковы, что они далеко пере-

[1]) Там же, p. 94.
[2]) Там же, p. 94.
[3]) Там же, p. 81.

хватывают через поставленную цель и, в сущности, уничтожают весь смысл построения Уорда. Эти меры заключаются в ограничении самого понятия «творчества».

Определяя понятие «творчества», Уорд, как мы видели, говорит, что «единственная разумная и мыслимая идея творчества» может быть только та, что «благодаря ему раньше существовавшие вещи претворяются в новую форму». Выражение «новая форма» явно здесь недостаточно и уклончиво; надо говорить не о новой «форме», а о новом «качестве» или новом «явлении». Уорд так иногда и выражается,—мы видели, он говорил о «новых творческих продуктах», о «новых направлениях развития», о целых «новых мирах». Но его пугает эта логика, и он спешит ее ограничить. Он говорит, что свойства вновь происходящей, т.-е. «творческой», субстанции «могут быть сведены к своим составным частям»; что хотя процесс и «творческий», но «при этом не получается ни одного свойства, которого уже не было бы раньше». Боязнь сказать, что эволюция порождает новые свойства, новые качества, новые явления, доводит, наконец, Уорда до того, что там, где новизна качества наиболее разительна, где новая качественность явления выступает для нас с наибольшей силой, он прибегает к приему, который, поистине, является зарыванием головы в песок. Это—по отношению к явлениям психическим или духовным. Вместо того, чтобы констатировать, что «сознание» есть новое, возникающее в процессе эволюции, явление, он говорит: «Дух был случайностью, только сопутствующим следствием других необходимостей, словом,—это Epiphänomenon» [1]). Но, ведь, Epiphänomenon — это абсурд, это внутреннее противоречие. Или есть явление, или его нет. Одно из двух, tertium non datur. Epiphänomen—это только упорство перед явлением, это—закрывание глаз на явление. Что-то есть,—и вместе с тем нет ничего такого, о чем можно было бы сказать, что оно есть. Это—подлинная нелепость, это—форменный отвод глаз. Epiphänomenon есть то понятие, которое просто надо выбросить вон из мышления.

А между тем Уорд к нему прибегает. Почему? Потому, что он боится выйти из пределов естествознания, каким оно было раньше и каким оно в значительной мере остается и доныне, а именно механического естествознания. И этим он, конечно, разрушает самую свою постановку проблемы разнокачественности явлений, проблему возникновения в эволюционном ряду новых качеств, новых явлений.

Такова эта попытка разрешения вопроса об истинном характере эволюции, принадлежащая крупнейшему американскому социологу. Она стоит нерешительно, на перепутьи, она—не отрешилась от внутренних противоречий. Ее заслуга в том, что она, в противоположность теории эволюции Спенсера, ставит проблему разнокачественности явлений. Но она не дает ей твердого и последовательного решения. Она вводит понятие «творчества», но, оставляя его за «природой», этим самым обрезывает ему крылья, а, вместе с тем, не выводит и самой «природы» за пределы «механического». Движение мысли в сторону «разнокачественности» явлений совершенно правильно, но сред-

---

[1]) Там же, p. 142.

ство для научного ее об'яснения—совершенно негодно. Если качественно новые явления возникают, как это принимает Уорд, в самой природе, из ее материалов и ее процессами, то совершенно незачем говорить тут о «творчестве». Надо просто говорить об «изменениях», и притом об изменениях, «закономерно» возникающих в ходе природы. Понятие «творчества», по самому своему существу, не согласимо ни с понятием «природы», ни с понятием «закономерности».

III.

Творческая эволюция.

Бергсон.

В какой мере велика неувязка «природы» и ее «закономерности» с понятием «творчества», это лучше всего показала та теория эволюции, которая так и названа была ее автором «творческой эволюцией» (evolution créatrice): теория эволюции знаменитого Бергсона. Бергсон понятие «творчества» развил, как никто. В его руках «творческая эволюция» получила характер ослепительно блестящего построения, проповедующего метафизику, но якобы учитывающего и науку; никто не придал понятию «творчества столько популярности и широкого обаяния, как Бергсон. Не считаться с ним в этой области невозможно.

Свое понятие «творческой эволюции» Бергсон применяет специально к развитию жизни и живых существ. В основе этой эволюции, говорит он, лежит «жизненный порыв» (elan vital),—т.-е. некий, как он поясняет, «ни откуда не происходящий» или «первоисточный порыв» (elan originel). Роль этого жизненного порыва заключается в том, чтобы «действовать на косную материю» (la matière brute) [1]). По своей природе «жизненный порыв прямо противоположен материи. Сущность его—не материальная, а психологическая. Поэтому и сама жизнь есть явление «психологического порядка» [2]). Она есть или «сознание», или «что-то ему подобное» [3]). «Сознание и является движущим принципом эволюции» [4]). «Все происходит так, как если бы широкий поток сознания проник в материю, неся с собою, как всякое сознание, огромное количество взаимно проникающих друг друга действенностей (virtualités). Он и вовлек материю в организацию» [5]). «У самого истока жизни,—говорит Бергсон,—стоит сознание, или, вернее, сверхсознание» (Supraconscience) [6]).

Характеризуя еще ближе свой «жизненный порыв», Бергсон говорит, что он, будучи «причиной психологического порядка», представляет собою «усилие» (effort), хотя и не «сознательное усилие самого живого существа» [7]), а усилие «гораздо более глубокое», «гораздо более независимое», «общее большинству представителей одного и того же вида», «переходящее от предков к

[1]) Bergson, L'évolution créatrice, 1912, p. 105.
[2]) Там же, p. 279.
[3]) Там же, p. 194.
[4]) Там же, p. 198.
[5]) Там же, p. 197.
[6]) Там же, p. 283.
[7]) Там же, p. 94.

потомкам»[1]). «Усилие,—говорит Бергсон в другом месте,—посредством которого вид преобразует свои инстинкты и вместе с тем преобразуется и сам, должно быть чем-то чрезвычайно глубоким, чем-то, что не зависит исключительно ни от обстоятельств, ни от самих индивидуумов»[2]). «Взятый в общем и целом, жизненный порыв состоит в требовании творчества» [3]). Поэтому «жизненное (le vital) лежит в направлении произвольного (du volontaire)»[4]). Действие жизненного порыва на материю «включает» в себе, по крайней мере, зачаток выбора. А выбор предполагает заранее составленное представление о многих возможностях действия. Надо, чтобы возможности «действия рисовались перед живым существом раньше самого действия»[5]). «Роль жизни заключается в том, чтобы внедрять необусловленность (l'indétermination) в материю. Необусловленными, я хочу сказать, непредвидимыми, говорит Бергсон, являются те формы, которые жизнь творит на протяжении и по мере движения своей эволюции. Все более необусловленной, я хочу сказать, все более свободной, становится и та деятельность, вместилищем которой предназначены служить эти формы»[6]). «Жизненный порыв схватывает материю, которая есть необходимость, и стремится ввести в нее возможно бо́льшую сумму необусловленности и свободы»[7]).

Вот из каких элементов слагается понятие «творчества»; вот что значит ввести в понятие эволюции идею «творчества». Кто сказал здесь А, тот должен сказать и В и С... и Z. Система Бергсона есть наиболее развитая, наиболее продуманная и, именно поэтому, наиболее необузданная теория «творчества» в эволюции. Она всю эволюцию отдает в распоряжение «творчества», а это «творчество» прямо противополагает «косной» материи. Трудно представить себе систему более упорно и открыто дуалистическую. Сам автор ее не только этого не скрывает, но, наоборот, всячески подчеркивает. Свою философию Бергсон характеризует, как «устанавливающую резкое разделение между психической деятельностью и ее материальным воплощением», как «дуализм»[8]). «Мы довели дуализм,—говорит он,—до последних пределов»[9]).

Тем не менее Бергсон претендует и на полное научное значение своей системы. Он явно хочет соблазнить ею не только философов, но и людей науки. Он тщательно изучал все то, что наука дала в области эволюционной биологии (его эрудиция в этом отношении несомненна), и он хочет прямо вдвинуть свою систему в науку, как лучшее об'яснение всех тех фактов, которые наука раскрывает нам в области жизни. Но это заставляет его внести в его основное понятие—понятие «жизненного порыва» —целый ряд ограничений, долженствующих удовлетворить требованиям биологической «действительности». Нам полезно будет взглянуть и на эти «ограничения».

---

1) Там же, p. 95.
2) Там же, p. 185.
3) Там же, p. 273.
4) Там же, p. 244.
5) Там же, p. 105.
6) Там же, p. 137.
7) Там же, p. 273
8) Бергсон, Материя и память, 1914, стр. 3.
9) Там же, стр. 179.

По своей природе «жизненный порыв» Бергсона, как мы уже видели, есть «усилие», но гораздо более «глубокое», чем усилие какого бы то ни было индивидуального существа,—представляющее собою проявление не «сознания», а «сверх-сознания». Это «психическое», «сверх-сознательное», «свободное», «произвольное» усилие входит в материю и действует против нее, наперекор ее «косности», ее «необходимости», ее «детерминизму». Оно хочет вытолкнуть мертвую, косную материю из присущих ее природе рамок и стремится внести в нее «жизнь», которая ей несвойственна. Но оказывается, по Бергсону, что мощь этого «сверхсознательного», «свободного» и пр. усилия отнюдь не безгранична, а, наоборот, весьма ограниченна и крайне условна. «Порыв жизни,—говорит Бергсон,—не может творить с абсолютной самостоятельностью, потому что он встречает перед собой материю. т.-е. движение, обратное своему собственному» [1]). Вместе с тем, этот порыв не может остаться и единым, а он все время распадается на различные и, притом, не одинаково успешные для него направления. «Его бифуркации, в течение эволюционного движения,—говорит Бергсон,—были многочисленны, но было при этом не мало и тупиков, на ряду с двумя или тремя большими дорогами развития, а из этих больших дорог, только одна, та, которая поднимается вдоль позвоночных к человеку, оказалась достаточно широкой, чтобы позволить свободно пройти великому дуновению жизни» [2]).

Итак, «сверх-сознательное» усилие Бергсона отнюдь не сильнее своего противника,—«косной» материи. Оно вступает в борьбу с материей, но в этой борьбе вынуждено, во-первых, рассыпаться, разбросаться на множество направлений развития,—а, во-вторых, в большинстве случаев эти направления развития оказались даже безуспешными, т.-е. непосильными для жизненного порыва; в своей борьбе с материей он многократно, то раньше, то позже, попадал в тупики (Бергсон забывает упомянуть еще и о вымирании многих линий развития) и прекращал свою борьбу, и только в одном случае «дорога» оказалась настолько «широкой», что «дуновение жизни» «свободно» прошло и создало человека.

Все это, конечно, есть явная дань науке, дань установленным наукой биологическим фактам.

Бергсон—философ, и он философию ставит над наукой. Он говорит: «философ должен итти дальше ученого». Но функция философии заключается, по его мнению, не только в том, чтобы «вступить в контакт с творческим усилием», но и в том, чтобы «углубиться в самый процесс творения», а в этом смысле «она есть истинный эволюционизм и, следовательно, истинное продолжение науки» [3]). Словом, Бергсон, не только не «рвет» с наукой, но, напротив, хочет остаться с ней в самом тесном союзе.

Но, конечно, это напрасное, мнимое предприятие при той философии, которая в свою основу кладет понятие «творчества». «Творчество», наоборот, влечет Бергсона совсем в другую сторону: в сторону религии. Не может же, в самом деле, Бергсон не

[1]) Bergson, L'evolution créatrice, p. 273.
[2]) Там же, p. 109.
[3]) Там же, pp. 398—399.

поставить перед собой вопроса: а кто виновник или источник творчества, совершающегося в природе? У Бергсона это уж, конечно, не сама «природа», потому что природа—это «материя», а материя, по Бергсону, «косна» и «мертва». Чтобы была «жизнь», надо, чтобы в материю вошел «жизненный порыв», со всеми теми аттрибутами, которые ему приписывает Бергсон. Но откуда сам «жизненный порыв»? Ответ—для «творчества»—может быть только один: от бога. И Бергсон, со всей своей «научностью», не только не уклоняется от этого ответа, но открыто его дает. «Я говорю,—читаем мы у него,—о центре, из которого изошли миры, как разветвления огромного букета, при чем я не выдаю этого центра за вещь, а только за непрерывность излучения. Бог, определенный таким образом, не имеет в себе ничего раз навсегда законченного; он есть непрестанная жизнь, действие, свобода. Творчество, так понимаемое, не представляет из себя никакой тайны: мы практикуем его в самих себе, когда мы действуем свободно»[1]).

Итак, вот какова полная концепция «творческой эволюции» Бергсона. Есть «природа», заполненная «косной», «мертвой» материей, с ее собственным, т.-е. «механическим» движением. Это—мрачное царство «необходимости». И есть бог, представляющий собою «центр» непрерывного излучения «жизни, действия, свободы, творчества». Жизнь, действие, свобода, творчество вошли в «материю» и началась «борьба»: борьба «творчества» с «косностью», т.-е. бога с материей. Эта борьба началась неизвестно когда, но продолжается и доныне. Когда и чем она кончится—также неизвестно. Но, судя по человеку, дело, как будто, клонится к победе бога над материей, и в этом туре борьбы можно предвидеть уже не «тупик», а широкий «просвет» для «творчества». «Мертвая необходимость» здесь должна окончательно подчиниться «живому», «свободному» творчеству,—это будет решительное торжество «духа» над «материей», и тут Бергсон обещает человеку даже перспективу «бессмертия», притом не «трансцендентного», а «имманентного», т.-е. не вне природы, а внутри нее. Мы сами, значит, станем как боги, или, в лице нас, бог навсегда переселится из своего внеприродного «центра» — внутрь материи[2]).

Из изложенного видно, что «творческая эволюция» Бергсона

[1]) Там же, р. 270.—Нас несколько удивило, что т. Асмус в своей статье, посвященной Бергсону, как будто, все это отрицает. Он говорит, что «Бергсон не дошел до этих выводов», т.-е. до выводов, «возвышающих авторитет веры и религии», и что будто бы «то, чего не сделал сам автор (Бергсон), сделали за него другие» («Адвокат философской интуиции», в «Под Знам. Маркс.» 1926 г., № 3, стр. 84). Замечание т. Асмуса брошено вскользь, и он обещает развить его подробнее в другой статье, но одно, во всяком случае, несомненно, что бога Бергсон не отвергает, а, наоборот включает в свою систему.

[2]) Вот заключительные слова одной из глав книги Бергсона: «Все живые существа держатся и все подчинены одному и тому же мощному порыву. Животное опирается на растение, человек едет верхом (chevauche) на животности, и человечество, как целое, в пространстве и во времени, образует громадную армию, которая скачет (galope) рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, осуществляя стремительную атаку, способную опрокинуть все сопротивления и освободиться от всех препятствий, может быть, даже от смерти» (L'évolution créatrice, pp. 293—294).

есть попытка сочетать науку с религией в форме некоего компромисса между ними, и потому она, воистину, никчемна; она не отказывается от бога, но она связывает ему ноги «природой». Такая эволюция движется не в силу собственного закона, но и не во имя определенной божественной цели. Поэтому все в ней случайно, переменно, колеблется, то приливает, то отливает по «выбору» каждого текущего мгновения. Здесь можно сказать, что было, но никогда нельзя сказать, что будет. Это философия не для тех, кому надо действовать, а для тех, кто имеет возможность без конца «умствовать», никогда не переходя к действиям. Это философия умственной élite, живущей за счет чужого труда, в спокойные времена отсутствия революций, когда можно получать хорошее жалование или хороший гонорар за умственную изысканность, колеблющуюся между всеми «возможностями». Когда же время призывает к действию всех, когда наступает буря общественных переворотов, тогда люди выбирают одно из двух: либо настоящую науку, либо настоящую религию. Тогда блекнет эта сверкающая всеми цветами радуги амальгама науки с религией в виде «творческой» эволюции и тогда вновь становится на очередь неотклонимая для людей науки задача—преодолеть факт появления новых «качеств» в эволюции монистически, а не дуалистически; построивши такую теорию эволюции, которая не была бы механической, но и не предполагала бы чьего-то постороннего вмешательства в ход природы.

Истинный научный монизм может быть только монизмом природы. Тот факт, который мы имеем перед собой, к которому принадлежим мы сами и от которого мы во всем зависим,—которого мы не можем ни устранить, ни отменить, а который мы можем только познавать, чтобы на основании этого познавания им пользоваться,—есть факт природы или материи[1]). Но материя обнаруживает пред нами не только механическое движение, не только физические и химические явления, но и жизнь, и психику. Однако жизнь и психика являются только свойствами материи, достигшей известной ступени организации, и в оторванном от материи виде нам нигде не известны. Учитывая все это, теория эволюции должна быть построена, как монистическая, как материалистическая, без всякого нарушения «необходимости» и «закономерности» всего того, что происходит в природе,—но вместе с тем и с признанием того, что развитие природы приносит не простые количественные усложнения механических форм движения, но и качественно иные явления, выступающие в известной последовательности по мере хода самой эволюции. Это должно быть такое понятие об эволюции, которое, с одной стороны, отвергает механический взгляд на мир, но которое, с другой стороны, не прибегает к понятию творчества. Это—понятие об эволюции, как эволюции природы, без всякого вмеша-

[1]) Ленин: «Для материалиста «фактически дан» внешний мир, образом коего явл ются наши ощущения» (Материализм и эмпириокритицизм, 1920 г., стр. 10).—Цитата из Энгельса: «тот вещественный (stofflich), чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственно действительный мир», «наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктами (Erzeugniss) вещественного, телесного органа, мозга» (Там же, стр. 81).

тельства в нее сверх-природных сил, но эволюции **диалектической**, учитывающей **разнокачественность** явлений и признающей **естественный** переход одних качеств в другие.

IV.

Диалектическая эволюция.

Гегель, Маркс, Энгельс.

Такое понятие об эволюции построено. Поворот в сторону «диалектики» дал человеческой мысли уже Аристотель, но гениальную схему «диалектического развития» начертал Гегель. Правда, схема Гегеля была «мистичной», спиритуалистической, она по существу относилась к развитию «абсолютного духа» или «абсолютной идеи», «диалектика реального мира» предполагалась простым «отблеском» этой «идеи», но это нисколько ее не обесценивает, она вполне применима и к природе, так как, на самом деле, соотношение здесь как раз обратное.

«Диалектика головы», говорит Энгельс, есть «только отражение форм движения реального мира, как природы, так и истории» [1]). «Так называемая об'ективная диалектика,—говорит он в другом месте,—царит во всей природе, а так называемая суб'ективная диалектика, диалектическое мышление есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своими постоянными противоречиями и своим конечным переходом друг в друга, либо в высшие формы» [2]). И еще: «Диалектика является для современного естествознания самой правильной формой мышления, ибо она одна представляет аналог и, значит, метод об'яснения происходящих в природе процессов развития для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой» [3]).

В виду такого соотношения между «диалектикой природы» и «диалектикой головы»,—в виду того, что не первая из них является «отблеском» второй, а как раз наоборот: вторая есть только последствие первой,—вполне уместно и правильно перенести схему Гегеля из сферы «духа» в сферу «природы». Надо только при этом, по остроумному выражению Маркса, поставить ее «с головы на ноги». И Маркс так именно и сделал. Известны слова, написанные им по этому поводу в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала». «Мой диалектический метод, —читаем мы здесь,—не только в корне отличен от гегелевского, но представляет его прямую противоположность. Для Гегеля процесс мысли, который он под названием идеи превращает даже в самостоятельный суб'ект, есть демиург действительности, представляющей лишь его внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как переведенное и переработанное в человеческой голове материальное... Та мистификация,—продолжает Маркс,—которую претерпела диалектика в руках Гегеля,

[1]) Энгельс, Диалектика природы,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. II, стр. 5.

[2]) Там же, стр. 61.

[3]) Там же, стр. 126—127.

отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть рациональное зерно под мистической оболочкой»[1]).

Вот в такой «рациональной» форме гегелевская диалектика и положена Марксом и Энгельсом в основу всего их миросозерцания. Для них мировой процесс есть процесс «развития», но развития «диалектического».

Диалектическое развитие или диалектическая эволюция уже не держится убеждения, что то, что изначально существует, так и остается навсегда неизменным по существу, изменяясь только в расположении и комбинациях своих частей. Нет,—совершенно наоборот: она устраняет из своего состава всякие «неизменные» категории и заменяет их категориями «изменяющимися», «текучими». Она вполне присоединяется к убеждению Гераклита, что «все течет», все изменяется—πάντα ῥεῖ [2]).

Своим предметом и основанием диалектическая эволюция берет *материю* с всегда присущим ей *движением*. Ничего другого она не предполагает и не вводит в свое содержание. Она вполне и исключительно материалистическая и монистическая. Но она движение, присущее материи, понимает не как одно только *механическое* перемещение частей, а как всякое *изменение*, могущее происходить с материей. Энгельс говорит: «У естествоиспытателей движение всегда понимается, как = механическое движение, перемещение. Это перешло по наследству из дохимического XVIII столетия и сильно затрудняет ясное понимание вещей. Движение, в применении к материи, это—*изменение вообще*»[3]). В другом месте он говорит: «Движение материи не сводится к одному только грубому механическому движению, к простому перемещению; движение материи—это также теплота и свет, электричество и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание»[4]). И еще раз: «движение вовсе не есть простое перемещение, простое изменение места, в надмеханических областях оно является также и изменением качества. Мышление есть тоже движение»[5]).

Таким пониманием «движения» материи диалектическая эволюция резко отличается от механической. Механическая эволюция выключает из своего состава все *высшее*, чем ее исходный момент: простое перемещение материи. Она думает, что весь ход развития состоит в сближениях и удалениях, все более и более усложняющихся, однородных частиц материи. Все иные *качества* в явлениях оказываются для нее побочными, даже призрачными,—и существующими, и несуществующими. В этом смысле она, в сущности, не отвечает самой идее развития. Механическая эволюция—не есть *развитие*, не есть качественное развертывание бытия, она есть лишь многократное его *повторение* в различных вариациях. Наоборот, диалектическая эволюция глубоко соответствует самому понятию *развития*. Она,

[1]) *Маркс*, Капитал, М. 1909, стр. XXVIII—XXIX.
[2]) См. *Энгельс*, Анти-Дюринг, 1924, стр. 29.
[3]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 27.
[4]) Там же, стр. 173.
[5]) Там же, стр. 143.

действительно, есть развитие, т.-е. переход того, что развивается, со ступени на ступень, непрерывное изменение его качественного состояния.

Исходным своим моментом диалектическая эволюция, как и механическая, берет простейшее состояние материи, состояние, при котором она обнаруживает только перемещение частей, т.-е. одно механическое движение. Но дальше для нее начинается «диалектика», переход одних качеств в другие,—возникновение, вслед за механическим, других видов движения. Энгельс дает краткую схему этой смены качеств в постепенном ходе эволюции. Мы приведем здесь целиком относящийся сюда отрывок из его «Диалектики природы».

«Систематизацию естествознания, которая теперь становится все более и более необходимой, можно найти,—говорит он,—лишь в связях самих явлений. Так механическое движение небольших масс на какой-нибудь планете кончается контактом двух тел, проявляющимся в двух, отличающихся друг от друга лишь по степени, формах трения и удара. Поэтому мы изучаем сперва механическое действие трения и удара. Но мы находим, что оно этим не исчерпывается: трение производит теплоту, свет и электричество, удар—теплоту и свет, а может быть и электричество. Таким образом, мы имеем превращение молярного движения в молекулярное. Мы вступаем в область молекулярного движения, в физику, и продолжаем свои исследования. Но и здесь мы находим, что молекулярное движение не является завершением исследования. Электричество переходит в химические явления и происходит от химических явлений, теплота и свет тоже, молекулярное движение превращается в атомное движение—область химии. Изучение химических процессов наталкивается на органический мир, как область исследования, как на мир, в котором химические процессы происходят согласно тем же законам, но при иных условиях, чем в неорганическом мире, для об'яснения которого достаточно химии. Все химические исследования органического мира приводят в последнем счете к одному телу, которое, будучи результатом обычных химических процессов, отличается от всех других тел тем, что является самостоятельным, постоянным, химическим процессом,—приводит к белку. Если химии удастся изготовить этот белок в том определенном виде, в котором, очевидно, он возник, в виде так называемой протоплазмы,—в том определенном или, вернее, неопределенном виде, в котором он потенциально содержит в себе все другие формы белка (при чем нет нужды принимать, что существует только один вид протоплазмы), то диалектический переход совершится здесь и реально, т.-е. будет закончен. До тех пор дело остается в области мышления, alias гипотезы. Если химии удастся изготовить белок, то химический процесс выйдет из своих собственных рамок, как мы видели это выше относительно механического процесса. Он проникает в обширную область органической жизни. Физиология есть, разумеется, физика и в особенности химия живого тела; но вместе с тем она перестает быть специальной химией: с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, но, с другой, она поднимается на высшую ступень»[1]).

[1]) Там же, стр. 195—197.

Что касается внутреннего характера диалектического развития, то он также был указан Гегелем и целиком усвоен Марксом и Энгельсом. Этот характер также лишен «механичности» и проникнут «органичностью». Смена «разнокачественных» явлений в диалектическом развитии не есть их простое «рядоположение», а настоящее «происхождение» или «нарождение» последующих из предыдущих. Здесь «последующее «задолго до того, как оно проявится, уже содержится в «предыдущем», оно там зреет, накопляется, пока не переполнит его собою, не прорвет, наконец, его оболочку и целиком заместит собою в процессе «развития». При таком характере развития «неизменные» противоположности основания и следствия, причины и действия, тождества и различия, бытия и сущности» теряют свое значение, «не выдерживают критики»; здесь «анализ показывает наличие одного полюса уже in nuce в другом»; здесь «в определенном пункте один полюс переходит в другой и вся логика развивается лишь из этих движущихся вперед противоположностей» [1]).

Таким образом, диалектическое развитие есть «движение путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своими постоянными противоречиями и своим конечным переходом друг в друга, либо в высшие формы» [2]). Одно из самых коренных «метафизических» противоречий: противоречие «количества» и «качества»—здесь совершенно «снято». Здесь «количество» переходит в «качество» и, наоборот, «качество» переходит в «количество».

При диалектическом понимании развития пред нами, с одной стороны, полное об'яснение появления «нового» в потоке развития (какового об'яснения мы совершенно не имеем в «механической» эволюции), а, с другой стороны, это об'яснение вполне «научное», из условий самого хода развития (а не из «вхождения» в развитие чего-то постороннего, как в «творческой» эволюции). При диалектическом понимании развития мы добиваемся узнать, при каком «количестве» и при каком «состоянии» старого оно переходит в новое, и когда нам это удается, мы констатируем это, как факт, и мы считаем, что этот факт естествен и закономерен, т.-е. необходим; что он, следовательно, повторится при повторении своих антецедентов. И это дает нам возможность предсказывать явления и полагаться на них, т.-е. дает нам уверенность в наших действиях. А это и есть как критерий, так и цена всякой научной теории. При этих условиях наше познание, по выражению Ленина, «отражает об'ективную истину, независимую от человека», и оно «может быть биологически полезным, полезным в практике человека, в сохранении жизни, в сохранении вида» [3]).

Когда происхождение какого-либо «нового» раз'яснено, мы изучаем его собственную «закономерность», приводящую, в свою очередь, к появлению следующего «нового», и т. д. Этим и реализуется идея диалектического развития. «Диалектическое развитие» предстает пред нами, как конкретное развитие мира, или тех или иных его частей.

---

[1]) Там же, стр. 5.

[2]) Там же, стр. 61.

[3]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, 1920, стр. 136.

Схема диалектического развития вовсе не осталась одной только теорией,—наоборот, она нашла себе блестящее подтверждение. как в ходе общественных явлений, так и в ходе явлений природы. Что касается общественных явлений, то здесь весь марксизм является подтверждением и оправданием теории диалектического развития. Не мало подтверждений, нередко поразительных, нашла себе эта теория также и в области естественных явлений, в частности явлений жизни. Но встретила она здесь и трудности, до сих пор еще не побежденные, и потому поддерживающие механическую теорию развития, с одной стороны, и творческую (в ее разных оттенках), с другой. Остановимся вкратце на этих трудностях.

Первая из этих трудностей—это «узел» жизни, это вопрос о появлении живого: как неживая материя превратилась в живую. Что жизнь всегда связана с материей, что жизнь вне материи не существует,—это для науки несомненно. Но касательно появления или происхождения жизни, перед наукой пока стоит один факт: все живое происходит от живого—omne vivum e vivo, или, принимая во внимание, что простейшим носителем или зачатком всего живого является клетка: omnis cellula e cellula—всякая клетка из другой клетки. Превращения неживого в живое мы нигде не наблюдали, а там, где нам казалось, что мы его наблюдали, это опровергнуто. И вот отсюда вопрос: как же живое происходит из неживого, и может ли живое произойти из неживого?

Механическая эволюция смазывает этот вопрос, отодвигает его на второй план, он для нее не есть особый вопрос, ибо жизнь с ее точки зрения, только физико-химический процесс—не больше. Творческая эволюция относится к этому вопросу отрицательно, ибо жизнь для нее вовсе не есть порождение материи, а нечто внесенное в материю извне. Но для диалектической эволюции вопрос о происхождении жизни из неживой материи есть один из коренных и самых существенных вопросов мирового развития. Как же она его ставит и как решает?

Постановка его для диалектического материализма может быть только одна: «в самой природе материи заключено то, что она приходит к развитию жизни, и это возникновение и развитие жизни совершается необходимо всегда, когда имеются в наличности соответствующие условия, стало быть не всегда и не необходимо всюду» [1]).

Значит, по отношению к вопросу о происхождении или первом появлении жизни, мы должны стоять прежде всего на том, что жизнь появилась уже после того, как существовала неживая материя. Так называемая, этернальная теория жизни, т.-е. теория, исходящая из признания того, что жизнь существует от вечности (теория выдвинута Рихтером, была поддержана Гельмгольцем и В. Томсоном, в настоящее время защищается шведским физиком Аррениусом; у нас за нее высказался академик В. И. Вернадский [2]), должна быть отвергнута, как не считающаяся с реальными фактами. Основной из этих фактов давно указан Энгельсом, и он заключается в том, что материальным

[1]) А. М. Деборин, Энгельс и диалектика в биологии,—«Под Знам. Марксизма» 1926, № 3, стр. 14.

[2]) См. его брошюру «Начало и вечность жизни», 1922.

субстратом жизни (это, ведь, нам хорошо известно) является белок. Значит, этернальная теория жизни или игнорирует этот факт, или заключает в себе утверждение, что белок в природе вечен. Но это последнее утверждение не приемлемо. «Белок не вечен, потому что он представляет собою сложное и притом самое непостоянное из соединений углерода. В качестве соединения белок постоянно должен разлагаться на свои элементы». А, с другой стороны, как всякое химическое соединение, он «должен также постоянно возникать наново из своих элементов при определенных условиях» [1]). Вот единственный реальный, научный взгляд на этот вопрос, и он несогласим с гипотезой космической вечности жизни. Вне белка, вне протоплазмы мы жизни не знаем. А протоплазма, по известным нам космическим условиям, не может быть всегда и вечно существующей.

А если так, то надо признать и второе положение, защищаемое Энгельсом с точки зрения диалектического материализма, а именно то положение, что не всегда «живое» происходило от «живого», а что была на земле эпоха, когда «живое» возникло из «мертвого» путем так называемого «самозарождения». Это—теория абиогенеза или архигония, как ее назвал Геккель. Теория эта логически обязательна для науки. Либо здесь, при самом начале жизни, произошел прорыв в область материи какого-то над-природного, вне-материального фактора, либо жизнь зачалась в пределах материи, из нее самой. Тут как раз и есть перепутье между монизмом и дуализмом. Надо идти либо в сторону одного, либо в сторону другого, со всеми последствиями этого решительного шага. Этернальная гипотеза жизни есть простое уклонение, со стороны представителей науки, от этого решительного шага,—попятние, зарывание головы в песок перед лицом одного из коренных вопросов мирового развития.

Но само собою разумеется, что «самозарождение» жизни непосредственно из «материи» нельзя представлять себе в тех формах, в каких его опровергал когда-то Пастер. Это не есть самозарождение жизни в виде тех организмов, которые мы наблюдаем в настоящее время, хотя бы и вооруженным глазом. Это не только не самозарождение червей или лягушек, но и не самозарождение амеб или бактерий. По этому поводу Энгельс справедливо говорит: «Было бы нелепо желать об'яснить возникновение хотя бы одной единственной клетки прямо из мертвой материи, а не из бесструктурного живого белка, было бы нелепо желать принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия. Опыты Пастера в этом отношении бесполезны» [2]). Самые простейшие из известных нам организмов несут в себе чрезвычайно сложную организацию, которая ускользает от всех наших окуляров и об'ективов. Всякая же организация всегда есть продукт длинного развития и постепенных переходов. Поэтому самозарождение жизни надо представлять себе, как зарождение ее в таких простых формах, о которых мы не имеем сейчас никакого определенного представления. И весьма возможно, что оно происходило в бесконечно отдаленную от нас эпоху существования земли.

---

[1]) А. М. Деборин, Энгельс и диалектика в биологии, —«Под Знам. Маркс.» 1926, № 3, стр. 14.

[2]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 43.

когда на земной поверхности существовали условия, каких теперь совсем нет.

Таким образом, в отношении к происхождению жизни, мы можем выдвигать пока только предположения. Но, ведь, и дуализм выдвигает здесь также только предположения, а отнюдь не достоверные утверждения. Значит, весь вопрос только в предпочтении тех или иных предположений,—в конце концов, в выборе между наукой и религией, в выборе между произволом в явлениях и их закономерностью. С точки зрения науки этот выбор предрешен, ибо он должен быть последователен. Если мы признаем закономерность в эволюции организмов, вполне доступных нашему наблюдению, то мы должны простереть ее и на те звенья органической цепи, которых мы все еще не наблюдаем.

И нельзя здесь, ссылаясь на наше незнание, возводить его в принцип, создавать из него систему агностицизма. Да, не знаем, но не видим других препятствий к приобретению нами знания, кроме фактических, и рассчитываем знать. Наука неустанно будет прокладывать здесь путь к знанию, прокладывать его свойственным ей надежным способом: способом эксперимента. Эксперимент уже дал нам в недавнее время возможность довольно далеко проникнуть в одну из самых чудесных и загадочных областей жизни—в область наследственности (современная генетика)—он целиком оправдал здесь материалистически-диалектическое представление о явлениях жизни,—и ничто не дает нам основания думать, что здесь ли, или в других областях жизни, для нашего экспериментального исследования есть предел, которого оно никогда не в состоянии будет перейти.

Вторая трудность, стоящая перед диалектической эволюцией, это вопрос о появлении «психического». «Психическое», в его различных формах, вполне явственно для нас проявляется у высоко развитых живых существ. Вполне естественно, что в его наиболее зачаточных формах мы готовы приписать его и наиболее низко организованным существам. Но присуще ли оно, хотя бы в еще более элементарной,—самой элементарной форме, материи неорганизованной, материи как таковой? Иначе говоря, не должны ли мы представлять себе самое материю, как обладающую не только свойством механического движения, но и свойством ощущения или отражения (конечно, в его самой зачаточной форме)?

Это вопрос, на который мы не имеем теперь даже и тени научного ответа, где поэтому можно выдвигать только одни предположения. Но с точки зрения диалектического (а не механического) материализма нет никаких препятствий к тому, чтобы выдвинуть здесь утвердительное предположение. И не только нет препятствий, но это вполне согласимо с самым духом диалектического материализма, ибо он считает, что все—в самой материи, что ничто не входит в нее извне,—значит, в ней же заложена и возможность всего ее дальнейшего развития, а в том числе и возможность появления в ней психического. Об этом, в сущности, мы и говорим, приписывая материи всегда и изначально не только способность к движению, но и способность к чему-то родственному или сходному с ощущением.

Все это превосходно выражено Лениным. «Материализм,—говорит он,—в полном согласии с естествознанием берет за пер-

вичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и в «фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать (курсив мой. *Н. Г.*) существование способности, сходной с ощущением»[1]). В другом месте, приведя слова Пирсона, что «нелогично утверждать, что вся материя сознательна», Ленин прибавляет: «но логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения»[2]). Еще в одном месте он говорит: «земля существовала тогда, когда не было ни человека, ни органов чувств, ни материи, организованной в такую высшую форму, при которой сколько-нибудь ясно заметно свойство материи иметь ощущения»[3]). Энгельс, в свою очередь, говорит: «в природе материи заключено то, что она приходит к развитию мыслящих существ»[4]).

Таким образом, с точки зрения диалектического материализма здесь выдвигается положительное предположение. Может ли оно когда-нибудь быть подтверждено, или опровергнуто?— Может,—но единственный для этого путь есть путь научного исследования. Опять и здесь мы можем сослаться на очень выразительные слова Ленина. Правда, эти слова относятся не прямо к данному вопросу, но все же к вопросу, тесно с ним связанному. Вот они: «На деле еще остается исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей из тех же атомов (или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос и тем толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным (Курсив мой. *Н. Г.*) исследованиям»[5]).

Таким образом и здесь, как и в области жизни, путь к разрешению всех вопросов один: экспериментальное исследование.

V.

Заключение.

Вот три основные типа эволюции, представленные в современной мысли. Два из них—монистичны и научны, это—эволюция механическая и эволюция диалектическая; третий—дуалистичен и ненаучен (религиозен), это—эволюция творческая. К творческой эволюции склонны не одни философы, но и многие люди науки. К этому типу эволюции надо, ведь, причислить не одну «творческую» эволюцию Бергсона, но и все разновидности витализма; также как к этому типу тяготеют и биологические теории автогенеза. Витализм прямо вводит в природу дуализм, и притом очень близкий к Бергсоновскому, ибо чем, в сущности, отличить «жизненную силу» виталистов от «жизненного порыва» Бергсона? Что же касается теорий автогенеза, то они так противополагают

[1]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, 1920, стр. 37.
[2]) Там же, стр. 87.
[3]) Там же, стр 110.
[4]) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 81.
[5]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 38.

организм окружающей среде, придают ему такую самостоятельность по отношению к остальной природе, что получается тот же дуализм, но только более прикрытый, чем у виталистов.

Эта склонность людей науки к виталистическим и автогенетическим теориям эволюции проистекает, несомненно, из неудовлетворительности механической теории эволюции. Люди науки, прежде всего естествоиспытатели, как выразился Ленин, стихийно тяготеют к материализму и к монизму. Они ищут однозначного об'яснения всех явлений и хотят найти его в природе. Их тип об'яснения—это об'яснение закономерное. Когда они совершают анализ явлений, разлагают их на простейшие элементы, то это приводит их к материальным частицам (атомам, электронам) и к их движениям друг относительно друга. И тут у них безраздельно торжествует материализм, единство природы, закономерность явлений. Но когда они от анализа переходят к синтезу, т.-е. возвращаются к эволюции в ее восходящем порядке, то тут они наталкиваются на появление новых явлений и новых качеств, среди них таких своеобразных и замечательных, как жизнь и психика. И тут их материализм не выдерживает испытания. Он или опускает глаза перед новыми качествами и новыми явлениями, не желает признавать их за настоящие явления, отодвигает их в сторону, как что-то побочное, даже призрачное,—и тогда он становится не серьезным, наивным материализмом. Или он просто изменяет себе и становится на путь дуализма. Жизни, духу он придает самостоятельное значение и самостоятельную роль, и таким образом раздваивает бытие. Правда, это раздвоение оказывается у естествоиспытателей не столь решительным, как у философов типа Бергсона; они свои построения—автогенез, витализм—не доводят до степени такого «творчества», какое описывает Бергсон,—но, ведь, самое важное здесь—основной шаг, само раздвоение, ибо, раз сделанное, оно имеет свою логику, неудержимо влекущую от науки—к религии. Этой логике можно противиться, ее можно не доводить до конца, но она все-таки будет давать о себе знать, и дает о себе знать не только в витализме, но и в автогенезе. Витализм, автогенез разрывают единство природы, единство закономерности. Они хотят свои учения оставить в пределах науки, но сама наука ими раздваивается: наука о жизни отрывается от науки о неорганической природе, чтобы получить какое-то свое особое, самостоятельное положение, несомненно, соблазняющее к союзу с религией.

Таким образом, чтобы получить надлежащую зрелость, чтобы учесть все факты действительности и не выйти из пределов материалистического, природного монизма, научная эволюционная теория должна перестать строиться из одних механических явлений, она должна принять в себя на равных правах также явления физические, химические, жизненные, психические. Она должна все их расположить в один связный эволюционный ряд, т.-е. стать теорией диалектической [1]). Другого исхода здесь нет.

---

[1]) Приведу здесь выразительные слова Энгельса. Указав на то, что естествоиспытатели склонны отождествлять «движение» материи с механическим движением, а не видеть в нем «изменения вообще», Энгельс продолжает: «из этого недоразумения вытекает яростное стремление свести все к механическому движению, чем смазывается специфический характер прочих форм

Он предуказан ходом самой природы. Человеческий ум и здесь должен стать только отражением того, что есть в действительности. Упорство в механическом об'яснении мира есть только перманентный повод к тому, чтобы ему противоречить, отрицая самый монизм природы, т.-е. отрицая вместе с тем и научность. Научная теория эволюции должна пойти через отрицание этого отрицания, но не для того, чтобы вернуться к первоначальному наивному материализму, а для того, чтобы перевести его на высшую ступень: ступень диалектического материализма. Только диалектический материализм может быть истинным отражением, с одной стороны, многообразия и сложности,—разнокачественности природы, а с другой стороны, ее глубокого единства. Теория эволюции и есть та теория, которая связывает единство природы с ее многообразием, ибо она раз'ясняет нам, как из основного единства природы, без вмешательства в нее чего-либо постороннего, произошло многообразие,—произошла не только сложность, но и разнокачественность явлений. Но для того, чтобы дать такое об'яснение, теория эволюции должна стать диалектической.

Не трудно вместе с тем видеть, что только диалектическая теория эволюции может стать подлинной основой для единства и всеобщности науки. Кто хочет порвать всякую связь с мифическим, анимистическим об'яснением мира,—с об'яснением его по образу человека; кому не нужна мнимая помощь и мнимое утешение от мнимо очеловеченной природы; кто мужественно говорит: вот я, или, лучше сказать, вот мы, вот коллектив, вот человечество, вот наши цели, стремления, задачи, и вот она—природа, нас окружающая и нас в себе включающая; кто сознает, что своих целей и задач мы можем достигать только с помощью природы, при условии ее познания; кто уверен в том, что это познание возможно и действительно, ибо вся природа едина и закономерна; кто, словом, стал целиком на почву науки и научного миросозерцания, для кого единство и всеобщность науки являются краеугольным камнем всего его и теоретического, и практического отношения как к миру, так и к самому себе, для того представление о сущем может быть построено только в форме представления о диалектическом его развитии. Механическое развитие тут недостаточно, а «творческое»—ненужно и неверно.

движения. Этим не отрицается вовсе, что каждая из высших форм движения связана всегда необходимым образом с реальным механическим (внешним или молекулярным) движением, подобно тому как высшие формы движения производят одновременно и другие виды движения, химическое действие невозможно без изменения температуры и электричества, органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. д. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае. Мы, несомненно, сведем когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, 1925 г., стр. 27—29).

Новейшая критика дарвинизма.

Ф. Дучинский.

I. С момента появления дарвинизма на научной сцене прошло уже более 65 лет. Прошел срок более, чем достаточный для испытания и проверки на основе накопленного опыта ценности дарвинизма, как научной теории. С первых же дней своего существования дарвинизм подвергся беспощадно-сокрушающей и всесторонней критике. Критическая литература, направленная против него, громадна. История развития научной мысли не знает другой еще теории, кроме марксизма, которая, подобно дарвинизму, являлась бы об'ектом столь многочисленных критических попыток ее опровержения. Уже вскоре после появления дарвинизма не было недостатка в голосах, которые твердили, что он опровергнут целиком и навсегда. У нас Данилевский в 80-х годах заявлял, что, в результате его критики дарвинизма, «все здание теории изрешетилось, а, наконец, и развалилось в бессвязную кучу мусора». Когда всеобщее почти увлечение дарвинизмом ослабло и когда возникли новые эволюционные теории (неоламаркизм, неодарвинизм, теория мутаций, менделизм и др.), число книг и статей, подвергавших критике дарвинизм, не только не уменьшилось, но значительно возросло. Этот бесконечно длинный поток критической литературы тянется вплоть до наших дней.

Казалось бы, что после такого длительного и тщательного критического анализа, опровергавшего не только второстепенные надстройки, но разрушавшего и коренные основы дарвинизма, от него должно было бы остаться одно только историческое воспоминание, он должен был бы целиком и давно уже перейти в область истории идей. Но уже один тот факт, что, после каждых похорон, начинали вновь и вновь хоронить покойника, свидетельствует о его необычайной живучести, о наличии избытка у него жизненной энергии. В действительности же дарвинизм хоронили так часто не на основании об'ективного диагноза, констатирующего завершенным логический цикл развития теории до ее естественного конца—отрицания другой теории. Дарвинизм своим материалистическим содержанием так живо задевал интересы многих категорий людей, что в оценки и приговоры о нем неизбежно привносили элементы суб'ективных суждений, и каждому надгробному слову обеспечен был широкий сочувственный отзвук среди людей, страстно желавших во что бы то ни стало, хотя бы живьем, похоронить ненавистное учение.

Если мы поставим вопрос о современном состоянии дарвинизма, то мы увидим любопытное зрелище. Несмотря на полувековую работу теоретической биологии, несмотря на блестящие

достижения экспериментальной биологии, в частности—генетики, борьба вокруг проблем дарвинизма продолжается с неослабевающей энергией, при этом шансы в пользу торжества идей дарвинизма в этой борьбе не только не уменьшаются, но, наоборот, увеличиваются. С одной стороны, ряд видных ученых на основе новейших экспериментальных исследований возвращается назад к положениям дарвинизма. «После периода отрицания,—говорит Иоллос,—мы вновь возвращаемся к учению о возникновении видов путем естественного отбора» [1]. «Новейшее развитие менделизма,—по словам Гольдшмидта,—ведет снова назад к представлениям Дарвина» [2]. По мнению Филипченко, «теории Дарвина и де-Фриза отнюдь не исключают одна другую, как это многим казалось вначале, а скорее взаимно дополняют друг друга» [3]. Заявления, как видим, ясные и определенные; они не нуждаются в особых комментариях. Современная экспериментальная биология реабилитирует и подкрепляет основные идеи учения Дарвина. Из этого факта ни в малой степени, конечно, не следует, что дарвинизм—эта наиболее целостная система биологических воззрений—не подчинен всеобщему закону эволюции и не нуждается в дальнейшем развитии, изменении и дополнении составных своих элементов. Мало того. Очередную задачу, по нашему мнению, составляет коренной пересмотр идейных основ дарвинизма с точки зрения принципов диалектического материализма. Эта важная работа еще не выполнена.

Но параллельно с ясно выраженным течением в сторону более лучшего обоснования главных положений дарвинизма новейшими данными экспериментальной биологии, мы видим диаметрально противоположное течение, направленное в сторону полного отрицания всякой научной ценности за основными принципами дарвинизма, в сторону подрыва и разрушения коренных его основ. Выражением второго направления является критика дарвинизма в произведениях Берга («Номогенез») и О. Гертвига («Das Werden der Organismen»), если ограничиться указанием более крупных новейших книг антидарвинистов.

Подавляющее большинство критиков дарвинизма принадлежало и принадлежит к лагерю открытых или замаскированных сторонников витализма и автогенеза. Их более или менее резкая и последовательная оппозиция к дарвинизму проистекает из непримиримого противоречия между исходными положениями их виталистической-идеалистической концепции и материалистическими принципами дарвинизма. Одно жизнепонимание враждебно противостоит другому, одно отрицает другое. Примирения между ними не может быть. Понятны идейно-психологические мотивы более или менее резко отрицательного отношения к дарвинизму большинства его критиков.

Но среди антидарвинистов встречаются отдельные ученые, которые более или менее последовательно стоят на почве материалистического истолкования процессов органической эволюции. Исходя из материалистических предпосылок, они находят все же возможным отрицать не только те или другие частные и второ-

[1] V. Jollos. Selektionslehre und Artbildung. S. 21.
[2] Goldschmidt, Einführung in die Vererbungs. wissenschaft, S. 456.
[3] Филипченко, Изменчивость и ее значение для эволюции, стр. 71.

степенные положения дарвинизма, но и всю теорию в самых ее существенных основах.

На одной из таких новейших попыток опровержения, в результате критического исследования основных принципов дарвинизма, я хотел бы фиксировать внимание читателя. Подобная критика дарвинизма находится в книге Дюркена «Общее эволюционное учение» [1]). Данная работа Дюркена заслуживает того, чтобы на содержащейся в ней критике дарвинизма остановить внимание. В пользу этого выбора говорит целый ряд соображений.

Дюркен—крупный биолог, он много работал в области разрешения различных вопросов экспериментальной биологии, его перу принадлежит, кроме многочисленных других работ, солидный труд «Einführung in die Experimentalzoologie», в котором он выясняет на основании экспериментальных исследований внешние и внутренние факторы эмбрионального развития и основные вопросы наследственности. Работая лично в области экспериментальных исследований, Дюркен свои положения и выводы старается обосновать новейшими достижениями биологии. Дюркен—не только не противник эволюционной теории, но, наоборот, он убежденный ее сторонник. Он всецело стоит на точке зрения признания эволюции видов, он развертывает всю аргументацию из различных областей знания, свидетельствующую об эволюционном развитии органического мира. Больше того. По вопросу о механизме эволюционного процесса он, если не вполне, то в значительной мере разделяет материалистические воззрения.

Его книга по эволюционному учению предназначается в первую голову для широких образованных кругов, а не для узких специалистов. Назначение книги определило ее стиль и содержание. В ясной, сжатой и образной форме он освещает основные проблемы эволюции, не загромождая своего изложения рассмотрением второстепенных гипотез. В связи, главным образом, с предназначением книги для массового образованного читателя он уделяет критике широко распространенных взглядов Дарвина особенно видное место. Появление второго издания книги говорит о том, что она нашла благоприятный прием среди того круга читателей, на которого она была рассчитана. Она может сыграть в борьбе с дарвинизмом гораздо большую роль, чем многие другие книги, поскольку автор твердо стоит на почве современных успехов биологии и материалистических принципов.

Совокупность указанных моментов побуждает подвергнуть об'ективному анализу содержащуюся в книге Дюркена ясно и сжато формулированную критику основных идей дарвинизма, отказавшись заранее от предвзятых воззрений и тем самым не предрешая результатов анализа. Предварительно же не бесполезно познакомиться со взглядами Дюркена на процессы эволюции. Они нашли достаточно ясное отражение как в его «Эволюционном учении», так и в «Введении в экспериментальную зоологию».

II. В центральном, наиболее важном и сложном вопросе биологии—в вопросе о наследовании приобретенных признаков—Дюркен становится вполне определенно на сторону привер-

[1]) Bernhard Dürken, Allgemeine Abstammungslehre, Zugleich eine gemeinverständliche Kritik des Darwinismus und des Lamarckismus. Zweite Auflage. Berlin. Verl. von Gebrüd. Borntraeger.

женцев таковаго наследования. Он признает, что современная острая борьба двух направлений в решении этого вопроса сводится к противоположности двух старых пониманий жизненного процесса—преформистского и эпигенетического. Стоя на позиции преформизма, нельзя, по мнению Дюркена, об'яснить эволюционное развитие органического мира. Является невероятным допущение, что уже первое простейшее живое существо содержало в себе все зачатки для дальнейшего развития вплоть до превращения в живущие теперь сложные формы. Непонятно, почему для развития этих зачатков потребовались громадные периоды времени, а не быстро, как в онтогенетическом развитии, происходило их развертывание. Учение о существовании только внутренних факторов развития находится в противоречии с представлением о постепенном процессе эволюции. Указанное противоречие устраняется в том случае, если допустить, что у родоначальных организмов не было всех зачатков, выявившихся в филогенетическом развитии, а что новые зачатки только постепенно в ходе эволюции были приобретены. Поэтому признание действия внешних факторов становится логически неизбежным постулатом теории эволюции.

Не только теоретические соображения, но и опытные данные свидетельствуют о том, что находящиеся в зародышевой плазме наследственные зачатки могут изменяться. В основе эволюции лежит преобразование, новообразование, или потеря наследственных зачатков. Генотип изменяется не только в результате скрещивания, но и вследствие воздействия внешних влияний. Дюркен считает, что прочно установлено наследование измененных зачатков при условии прямого влияния внешних факторов на зародышевую плазму (бластогенная наследственность). Изменение зачатков под непосредственным влиянием внешних условий ведет к определенным изменениям признаков и органов. Но не только этот вид наследственности признает он. Он признает и наследование посредством непрямого влияния, путем соматической индукции, при которой первоначально, вследствие воздействия внешней среды, изменяется сома, тело, а измененные органы тела вторично уже оказывают видоизменяющее влияние на зародышевую плазму. Измененные таким образом признаки и органы становятся наследственно-закрепленными. Соматическую индукцию на основании собственных и чужих опытов он считает доказанной.

Возможность соматической индукции Дюркен обосновывает тем соображением, что если внешние факторы могут непосредственно изменять зародышевую плазму, то измененные признаки тела могут также оказывать изменяющее влияние на зачатки в зародышевых клетках, так как зависимость последних от тела более тесная и непосредственная, чем от условий внешней среды. Кроме того, различение двух путей влияния на зародышевую плазму оказывается чисто условным, в действительности не существующим. Свои взгляды Дюркен подтверждает отдельными примерами, на которых мы не будем останавливаться.

Дюркен различает двоякого рода соматическую индукцию: мерогенную и гологенную. Под мерогенной индукцией разумеется изменение под влиянием функционирования или под воздействием внешних факторов отдельного органа или части организма, которое в свою очередь оказывает видоизменяющее влия-

ние на соответствующие части зародышевой плазмы. При гологенной индукции первично изменяются под влиянием нового образа жизни или внешней среды все признаки организма, которые вторично уже вызывают изменения зародышевой плазмы. Возможно также параллельное, но независимо идущее изменение в определенном направлении отдельной части тела и наследственных зачатков в зародышевой массе (параллельная индукция). На передний план Дюркен выдвигает наследование приобретенных качеств посредством гологенной индукции, когда новые признаки оказывают влияние на половые клетки при участии всего организма. Значение же мерогенной индукции он ограничивает тем заключением, что изменение отдельного органа или признака становится наследственным только путем гологенной индукции, т.-е. измененный орган или признак прежде всего влияет на все особенности тела и только косвенным путем влияние его достигает зародышевых клеток. Параллельная индукция может играть роль только в тех редких случаях, когда не происходит приспособление органа к его функции или организма к окружающей среде. Нельзя допустить, чтобы приспособление органов возникало благодаря непосредственному влиянию внешних условий на зародышевую плазму.

Гены—носители наследственных признаков — чрезвычайно устойчивы в своих особенностях. Они могут быть подавлены в своих проявлениях в течение многих поколений, но при устранении препятствий выступает вновь их действие. Этими особенностями генов об'ясняется то явление, что непродолжительное воздействие не в состоянии изменить качество наследственных факторов. Гологенная индукция может быть действительной только после того, как много поколений подвергалось определенному влиянию. Таким же образом Дюркен об'ясняет отрицательные результаты опытов, ставивших задачей воздействием внешних агентов достигнуть изменения генов. Не все гены доступны влиянию внешних условий. Не все организмы способны к дальнейшему развитию. Рядом с легко изменяющимися формами существуют организмы, стойко сохраняющие свои особенности. Попытки изменить их экспериментальным путем окажутся тщетными.

Приписывая внешним факторам важную роль в процессе эволюции, Дюркен не отрицает значения и внутренних факторов. Изменение наследственных зачатков и зависящих от них качеств может происходить не в любом направлении, но только в том, которое обусловлено предшествующим их состоянием. Каждая последующая ступень эволюции организма представляет только дальнейшее развитие предыдущей. Линии эволюции ограничены теми возможностями, которые имеются в исходной форме. Из специализированной формы может дивергентно возникнуть только ограниченный ряд линий развития. Чем на более высокой ступени развития находится организм, тем ограниченнее круг возможных направлений в его эволюции. Поэтому только те воздействия внешних факторов производят изменения зародышевой плазмы, которые соответствуют предшествующему развитию организмов. Те же влияния, которые не действуют на организм в том направлении, в каком развивался он раньше, остаются безрезультатными.

Существует много особенностей у организмов, происхождение которых не может быть об'яснено действием внешних условий. Несмотря на то, что многие роды и классы животных и растений существуют в совершенно одинаковых условиях внешней среды, они более или менее резко различаются между собою особенностями своей организации. Для об'яснения их возникновения должны быть привлечены внутренние факторы, о природе которых по современному состоянию наших знаний мы не имеем определенных представлений. Во всяком случае мы не имеем оснований для об'яснения происхождения внутренних и внешних особенностей организации различных организмов, живущих в совершенно одинаковых условиях, становится на точку зрения преформизма, ибо тогда мы вынуждены будем отказаться от эволюционного истолкования начальных стадий существования организмов и признать, что первоначально возникшие организмы были уже сложно дифференцированными существами. Для таких заключений нет никаких об'ёктивных данных.

Таковы воззрения Дюркена по основным принципиальным вопросам эволюции. Нельзя не признать, что в основе своей они являются материалистическими. Если частные положения его мировоззрения вызывают некоторые возражения, то с основными идеями его мы не можем не согласиться, стоя на точке зрения диалектического материализма.

Я считал необходимым остановиться на краткой характеристике понимания Дюркеном путей и факторов эволюции не только для более правильного предстоящего анализа его критики дарвинизма, но, главным образом, для того, чтобы господствующим среди современных биологов преформистским взглядам противопоставить иные, вытекающие из принципиально-противоположных, материалистических предпосылок [1]).

Изложенные воззрения Дюркена в существенных, основных положениях совпадают с соответствующими принципами ламаркизма и дарвинизма, поскольку последние теории признают видоизменяющее влияние внешних факторов и наследование вызванных ими изменений. Между прочим, Дюркен подчеркивает в своей книге существование в учении Дарвина элементов ламаркизма. Особенно значительно совпадение указанных взглядов Дюркена с идеями ламаркизма. Невольно встает вопрос: не ламаркист ли он?

В действительности же к ламаркизму Дюркен относится так же отрицательно, как и к дарвинизму. Новейшие успехи биологии показывают, по его мнению, несостоятельность и первой и второй системы воззрений. И ламаркизм, и дарвинизм сыграли свою роль, они имеют историческое значение. Они должны сойти со сцены. Ламаркизм пробудил работу мысли, он поддерживал критическое умонастроение по отношению к дарвинизму и содействовал исследованию многих явлений приспособления и выяснению проблемы зависимости организма от среды. В этом его истори-

---

[1]) Сделать это мне казалось еще более необходимым в связи с теми впечатлениями, которые получены на заседаниях об-ва биологов-материалистов. Некоторые из биологов готовы с необычайной легкостью, подменяя серьезную аргументацию остроумной фразой, решать сложнейшую и труднейшую проблему в автогенетическом смысле, причисляя сторонников наследования приобретенных признаков к обывательской массе.

ческая заслуга. В признании же наследования изменений путем мерогенной индукции, в отсутствии указаний, что одни наследственные факторы изменяются очень медленно под влиянием длительных воздействий, другие же недоступны индуктивным влияниям, что рядом с внешними факторами эволюции действуют не раскрытые внутренние факторы, ведущие к многообразию форм в одинаковых условиях внешней среды—в данных пунктах видит Дюркен слабые стороны ламаркизма.

Считая, что факт эволюции, постепенного происхождения многообразия форм и целесообразности особенностей живых существ, прочно обоснован действительно научной теорией эволюции, Дюркен утверждает, что вопрос о факторах и путях эволюционного процесса не решен еще, что достаточно удовлетворительное об'яснение механизма филогенетического развития отсутствует еще. Задача ближайшего времени заключается в создании на место неудовлетворительных воззрений нового, хорошо обоснованного учения. Для решения большой задачи необходимо освободиться от ложных представлений. «Лучше ясный вопрос, чем ложный ответ».

Великой заслугой дарвинизма, по мнению Дюркена, является то, что благодаря ему в науке восторжествовала эволюционная теория. Дарвинизм, кроме того, дал мощный толчок к развитию биологии и к постановке исследований для выяснения вопросов эволюции. Но дарвинизм, как учение, об'ясняющее процесс видообразования, должен быть отвергнут. «Весь дарвинизм был большой ошибкой».

Каковы же те основания, те мотивы, которые побуждают Дюркена вынести столь решительный и суровый приговор? К анализу «критики дарвинизма», содержащейся в произведении Дюркена, мы и перейдем.

III. Свою критику дарвинизма Дюркен начинает с опровержения положения, что эволюционная теория и дарвинизм одно и то же, что они совпадают и покрывают друг друга. До сравнительно недавнего времени многие биологи отождествляли дарвинизм с эволюционной теорией на том основании, что только дарвинизм является всеоб'емлющей теорией, охватывающей основную совокупность вопросов эволюции. В 15 году Кольцов мог писать: «Все современные биологи—дарвинисты: мне кажется, что великие заслуги Дарвина, всеоб'емлющая разносторонность его теории, и влияние тех или иных положений ее на взгляды каждого из позднейших биологов позволяют нам отождествить термин «дарвинисты» с термином «эволюционисты» [1]). В настоящее время, когда достигла необычайно сильного расцвета генетика, когда возникли новые теории, подавляющее большинство биологов будет считать подобное отождествление дарвинизма с эволюционизмом анахронизмом. Считают, что эволюционная теория включает целый ряд различных теорий и воззрений, в том числе и дарвинизм, пытающихся так или иначе об'яснить процесс эволюции. Дарвинизм—одна из теорий о происхождении видов и о факторах эволюции. В таком понимании об'ема и содержания эволюционной теории несомненно истина заключается. Все сложное, многоэтажное здание эволюционной теории с его разнообраз-

[1]) «Природа» 1915 г., октябрь, стр. 1253.

ными надстройками нельзя отождествлять полностью и целиком с дарвинизмом. Эволюционная теория шире дарвинизма. Но когда Дюркен говорит, что эволюционная теория совершенно независима и резко обособлена от дарвинизма, с этим согласиться трудно.

Эволюционная теория восторжествовала в форме дарвинизма; долгое время дарвинизм являлся безраздельно господствующей теорией эволюции; только дарвинизм является целостной, широко охватывающей проблему эволюции, системой воззрений; несмотря на разнообразие новейших течений эволюционной мысли, ни одно из них ни в малейшей степени не может претендовать заменить дарвинизм; многие направления, углубленно разрабатывая те или другие вопросы (менделизм, учение об изменчивости, учение о естественном отборе), не только не разрушают дарвинизм, но сильнейшим образом подтверждают и обосновывают отдельные его положения. Каждая к тому же попытка отречения от основных материалистических принципов дарвинизма ведет к возрождению в более или менее открытой форме воззрений о постоянстве видов (учение Лотси) или к воссозданию виталистических представлений преформизма—автогенеза (в произведениях многих критиков дарвинизма). В этом смысле правы те, которые говорят, что с дарвинизмом стоит и падает эволюционное учение. Таким образом, с некоторыми ограничениями, в условном смысле можно отождествлять дарвинизм с эволюционной теорией.

Дарвинизм—целостная, можно сказать, универсальная биологическая теория. Она об'ясняет происхождение многообразной совокупности форм организмов с их бесконечным разнообразием целесообразных приспособлений. Для об'яснения процесса эволюции дарвинизм исходит из признания действия естественных причин и факторов. Но дарвинизм—не только учение о факторах эволюции, он вместе с тем обосновывает и доказывает самый факт эволюционного происхождения видов. Об'яснение механизма эволюции и доказательство самого эволюционного развития—две стороны великой проблемы эволюции—неразрывно и тесно между собой связаны в теоретической системе дарвинизма. Дарвин не резко обособлял составные элементы своего учения. Обоснование теории естественного отбора является в дарвинизме вместе с тем доказательством самого явления эволюции. Поэтому понятно, что в произведениях великих дарвинистов («Происхождение видов» Дарвина, «Дарвинизм» Уоллеса, «Теория Дарвина» Романеса и др.) излагается не только учение о естественном отборе, но и приводятся доказательства эволюции. Чулок находит фатальным, что в «теории Дарвина находится две существенно различные части: 1) доказательство правильности положения, что организмы постепенно образовались и развились, и 2) гипотеза отбора для причинного об'яснения этого явления» [1]. Деперэ под дарвинской теорией понимает не только доказательства эволюции видов, но и учение о естественном отборе. Таково мнение и других.

Многие биологи ограничивают содержание дарвинизма, искусственно отрывают учение об отборе от всей системы и под дарвинизмом разумеют исключительно теорию естественного отбора.

---

[1]) T s c h u l o k, Descendenzlehre, S. 280.

Некоторые еще более суживают об'ем его, и из теории естественного отбора выбрасывают фактор видоизменяющего воздействия внешней среды и наследование приобретенных особенностей и сохраняют один только голый принцип селекции. Дарвинизм превращается тогда в неодарвинизм.

Выделение вопроса факторах эволюции из общей теории эволюции следует считать методологически вполне допустимой операцией, поскольку в теории отбора сконцентрировано то специфическое, что отделяет дарвинизм от других воззрений, о движущих причинах эволюции. Не нужно только упускать из виду, что такой искусственный отрыв одной стороны вопроса от другой произволен. С этой точки зрения можно не возражать против подобной операции, произведенной Дюркеном. В своей «критике дарвинизма» он рассматривает только теорию естественного отбора.

Первоначально Дюркен подвергает дарвинизм методологической оценке, потом переходит к критическому анализу его составных элементов.

Дюркен правильно говорит, что вопросы методологии в области науки или любой теории не нечто второстепенное, а самое основное и существенное. «Естественно-научные воззрения стоят и падают вместе с методом, посредством которого они были получены». Он правильно понимает, что доказать методологическую несостоятельность дарвинизма означает доказать ошибочность его, как научной теории.

Под дарвинизмом большинство ученых разумеет научную биологическую теорию, наиболее удовлетворительно об'ясняющую процесс органической эволюции. Наименование теории прочно утвердилось за дарвинизмом. Дюркен решительно ополчается против этого традиционного названия и стремится доказать, что дарвинизм—не теория, а только гипотеза. Правильно ли это?

По определению Дюркена, гипотеза есть более или менее произвольное предположение, которое опирается только на немногие факты. Задача гипотезы заключается в об'яснении мало известных нам явлений той или иной области. Гипотеза предваряет изучение причинных связей между явлениями. Метод построения гипотезы—метод дедукции: заранее принятое общее положение стремятся согласовать с немногими известными фактами и их об'яснить, исходя из этого положения. Факты подыскиваются для подтверждения предвзятого мнения. Э. Мах в «Познании и заблуждении» дает следующее определение гипотезы: «Предварительное предположение для лучшего понимания фактов, которое лишено еще фактического доказательства, мы называем гипотезой».

Под теорией Дюркен понимает обобщение, в котором нашло выражение существенное общее, свойственное отдельным фактам данной области и об'единяющее их в нечто единое. Для построения теории необходимо предварительное точное наблюдение отдельных фактов. Теория вытекает из изучения многих явлений (индукция). Только индуктивный метод, по мнению Дюркена, является естественно-научным методом.

Дюркен правильно отмечает, что в биологической литературе в отношении употребления терминов «теория» и «гипотеза» господствует большое смешение понятий. Не строго разграничивают оба эти понятия. Часто говорят о теории там, где следовало бы

говорить только о гипотезе. В научной литературе часто употребляют также в различном смысле слова «учение» и «теория». Одни их отождествляют, другие же их противопоставляют и говорят о превращении теории в учение в том случае, если она получила большее подтверждение.

Переходя непосредственно к эволюционной теории, мы видим такие же противоречия, такую же разнообразную терминологию. Несколько примеров. Плате возражает против наименования эволюционной теории учением на том основании, что эволюция организмов не может быть доказана с такой же ясностью, как химический состав воды из H_2+O. Абель говорит, наоборот, не об эволюционной теории, а об эволюционном учении, «как о непоколебимом факте, который теперь не нуждается больше ни в каких дальнейших доказательствах, обоснованиях и подтверждениях». Чулок, в противоположность Абелю, называет эволюционное учение «непоколебимой теорией». Гегенбаур в свое время считал, что дарвинизм «усовершенствовал учение в теорию». Другие с одинаковым значением и правом употребляют слова «учение» и «теория», между ними не делают различия. «Эволюционное учение—единственная вообще в науке правомерная теория». Вейсман говорит: «учение или теория».

Затем, если большинство под эволюционной теорией понимает идею эволюции, другие вкладывают в нее различный смысл. Одни говорят об эволюционной теории только по отношению к факторам развития, некоторые же под этим названием об'единяют и идею превращения видовых форм и движущие причины эволюционного развития. Вейсман пишет: «Воззрение, которое выводит органический мир из немногих простейших первобытных форм, является не теорией, но гипотезой, на которой только тогда строится теория, когда пытаются открыть причины, под влиянием которых происходит превращение одной формы в другую». В то время, как одни биологи называют дарвинизм гипотезой с Dürken, Tschulok и др.), другие говорят о «дарвинской эволюционной теории» (Lotsy) или о «теории Дарвина» (Daequé, Depéret, Weismann, Romanes и др.).

Из приведенных примеров видно, какое большое разнообразие существует между биологами в понимании одних и тех же вопросов и как различно применяются ими одни и те же термины. Это явление проистекает, с одной стороны, от отсутствия ясности и точности в определении понятий «учение», «гипотеза», «теория», от недостаточно резкого разграничения этих понятий друг от друга; с другой же стороны, оно зависит от методологически малой разработанности вопроса о содержании эволюционной теории и от суб'ективно-пристрастной оценки дарвинизма, как научной теории.

Но вернемся к книгам Дюркена и посмотрим, достаточно ли убедительно он аргументирует свое утверждение, что дарвинизм—гипотеза.

Естественно-научная методология требует, чтобы научные теории строились на основе предварительного исследования фактического материала, чтобы теоретические обобщения вытекали из исследовательской работы, а не предшествовали ей. Естественно-научный метод—метод индукции, а не метод дедукции. Метод же обоснования дарвинизма исключительно дедуктивный. При-

ции видообразующего действия естественного отбора — не логически неизбежный вывод из изученной массы явлений, но его признание предшествовало этому изучению. Факты подыскивались позже для подтверждения этого принципа. Дарвин свои взгляды позаимствовал у Мальтуса и перенес их на явления природы. В дарвинской литературе выявляется тот же метод дедукции. Поэтому дарвинизм не теория, а только гипотеза.

Указанный Дюркеном путь образования теории Дарвина не соответствует историческим фактическим данным. Идея эволюции, как известно, впервые зародилась в голове Дарвина во время пятилетнего кругосветного путешествия на корабле «Бигль» в результате произведенных им многочисленных наблюдений. В течение двадцати лет собирал он разнообразный материал путем личных наблюдений и опытов над животными и растениями и путем переписки с многочисленными лицами. В его произведениях нагроможден громадный фактический материал, в них сосредоточена масса конкретных доводов и доказательств. «Еще никогда,—говорит Вейсман,—эволюционная теория не была так основательно подготовлена, и в этом заключается несомненно большая доля ее успеха» [1]). В таком же смысле рисуют методику работы Дарвина другие авторы. «Не из книг пришла ему в голову идея,—говорит о Дарвине Ламперт,—победа которой сделала его имя бессмертным, но сама природа была его учительницей» [2]). Делаж и Гольдсмит проводят резкое различие между «Ламарком, быстро доходившим до широких обобщений, и Дарвином, больше всего боявшимся поспешных выводов и старательно собиравшим факты, которых ему всегда казалось недостаточно. Таким образом, Дарвин пришел к созданию своей теории совершенно независимо, не путем философских умозаключений, а путем наблюдений над громадным количеством фактов что и придало его выводам необыкновенную убедительность» [3]). И Дюркен вынужден заявить, что Дарвин «мог опираться на обширнейшие исследования» и «богатые наблюдения», и что он пытался сделать свое учение «выражением действительности». Если мы обратимся к самому Дарвину, который с великой скромностью говорил о себе одну правду, то относительно метода, применявшегося им при построении теории, он пишет: «Нахожу, что я настолько привык мыслить индуктивным методом, что не могу с уважением относиться к дедуктивным доводам. Я должен исходить из достаточного множества фактов, а не из принципа, за которым я всегда вижу обман и дедукцию» [4]).

Но если Дарвин самостоятельно нашел ключ для об'яснения происхождения культурных пород животных и растений в искусственном отборе, то все же факт остается фактом, что учение о естественном отборе было открыто им после прочтения произведения Мальтуса «О народонаселении». Об этом моменте Дарвин пишет, что к восприятию заключенной в книге Мальтуса основной идеи он «был подготовлен продолжительными наблюдениями над образом жизни растений и животных». «Но я так боялся,— говорит он,—подчиниться влиянию предубеждения, что решился

[1]) Weismann, Vorträge über Deszendenztheorie, Dr. Aufl., S. 25.
[2]) Lampert, Die Abstammungslehre, 41.
[3]) Делаж и Гольдсмит, Теория эволюции, стр. 15.
[4]) Lampert, Die Abstammungslehre, 34.

говорить только о гипотезе. В научной литературе часто употребляют также в различном смысле слова «учение» и «теория». Одни их отождествляют, другие же их противопоставляют и говорят о превращении теории в учение в том случае, если она получила большее подтверждение.

Переходя непосредственно к эволюционной теории, мы видим такие же противоречия, такую же разнообразную терминологию. Несколько примеров. Плате возражает против наименования эволюционной теории учением на том основании, что эволюция организмов не может быть доказана с такой же ясностью, как химический состав воды из H_2+O. Абель говорит, наоборот, не об эволюционной теории, а об эволюционном учении, «как о непоколебимом факте, который теперь не нуждается больше ни в каких дальнейших доказательствах, обоснованиях и подтверждениях». Чулок, в противоположность Абелю, называет эволюционное учение «непоколебимой теорией». Гегенбаур в свое время считал, что дарвинизм «усовершенствовал учение в теорию». Другие с одинаковым значением и правом употребляют слова «учение» и «теория», между ними не делают различия. «Эволюционное учение—единственная вообще в науке правомерная теория». Вейсман говорит: «учение или теория».

Затем, если большинство под эволюционной теорией понимает идею эволюции, другие вкладывают в нее различный смысл. Одни говорят об эволюционной теории только по отношению к факторам развития, некоторые же под этим названием об'единяют и идею превращения видовых форм и движущие причины эволюционного развития. Вейсман пишет: «Воззрение, которое выводит органический мир из немногих простейших первобытных форм, является не теорией, но гипотезой, на которой только тогда строится теория, когда пытаются открыть причины, под влиянием которых происходит превращение одной формы в другую». В то время, как одни биологи называют дарвинизм гипотезой (Dürken, Tschulok и др.), другие говорят о «дарвинской эволюционной теории» (Lotsy) или о «теории Дарвина» (Daequé, Depéret, Weismann, Romanes и др.).

Из приведенных примеров видно, какое большое разнообразие существует между биологами в понимании одних и тех же вопросов и как различно применяются ими одни и те же термины. Это явление проистекает, с одной стороны, от отсутствия ясности и точности в определении понятий «учение», «гипотеза», «теория», от недостаточно резкого разграничения этих понятий друг от друга; с другой же стороны, оно зависит от методологически малой разработанности вопроса о содержании эволюционной теории и от суб'ективно-пристрастной оценки дарвинизма, как научной теории.

Но вернемся к книгам Дюркена и посмотрим, достаточно ли убедительно он аргументирует свое утверждение, что дарвинизм—гипотеза.

Естественно-научная методология требует, чтобы научные теории строились на основе предварительного исследования фактического материала, чтобы теоретические обобщения вытекали из исследовательской работы, а не предшествовали ей. Естественно-научный метод—метод индукции, а не метод дедукции. Метод же обоснования дарвинизма исключительно дедуктивный. При-

ции видообразующего действия естественного отбора — не логически неизбежный вывод из изученной массы явлений, но его признание предшествовало этому изучению. Факты подыскивались позже для подтверждения этого принципа. Дарвин свои взгляды позаимствовал у Мальтуса и перенес их на явления природы. В дарвинской литературе выявляется тот же метод дедукции. Поэтому дарвинизм не теория, а только гипотеза.

Указанный Дюркеном путь образования теории Дарвина не соответствует историческим фактическим данным. Идея эволюции, как известно, впервые зародилась в голове Дарвина во время пятилетнего кругосветного путешествия на корабле «Бигль» в результате произведенных им многочисленных наблюдений. В течение двадцати лет собирал он разнообразный материал путем личных наблюдений и опытов над животными и растениями и путем переписки с многочисленными лицами. В его произведениях нагроможден громадный фактический материал, в них сосредоточена масса конкретных доводов и доказательств. «Еще никогда,—говорит Вейсман,—эволюционная теория не была так основательно подготовлена, и в этом заключается несомненно большая доля ее успеха» [1]). В таком же смысле рисуют методику работы Дарвина другие авторы. «Не из книг пришла ему в голову идея,—говорит о Дарвине Ламперт,—победа которой сделала его имя бессмертным, но сама природа была его учительницей» [2]). Делаж и Гольдсмит проводят резкое различие между «Ламарком, быстро доходившим до широких обобщений, и Дарвином, больше всего боявшимся поспешных выводов и старательно собиравшим факты, которых ему всегда казалось недостаточно. Таким образом, Дарвин пришел к созданию своей теории совершенно независимо, не путем философских умозаключений, а путем наблюдений над громадным количеством фактов что и придало его выводам необыкновенную убедительность» [3]). И Дюркен вынужден заявить, что Дарвин «мог опираться на обширнейшие исследования» и «богатые наблюдения», и что он пытался сделать свое учение «выражением действительности». Если мы обратимся к самому Дарвину, который с великой скромностью говорил о себе одну правду, то относительно метода, применявшегося им при построении теории, он пишет: «Нахожу, что я настолько привык мыслить индуктивным методом, что не могу с уважением относиться к дедуктивным доводам. Я должен исходить из достаточного множества фактов, а не из принципа, за которым я всегда вижу обман и дедукцию» [4]).

Но если Дарвин самостоятельно нашел ключ для об'яснения происхождения культурных пород животных и растений в искусственном отборе, то все же факт остается фактом, что учение о естественном отборе было открыто им после прочтения произведения Мальтуса «О народонаселении». Об этом моменте Дарвин пишет, что к восприятию заключенной в книге Мальтуса основной идеи он «был подготовлен продолжительными наблюдениями над образом жизни растений и животных». «Но я так боялся,— говорит он,—подчиниться влиянию предубеждения, что решился

[1]) Weismann, Vorträge über Deszendenztheorie, Dr. Aufl., S. 25.
[2]) Lampert, Die Abstammungslehre, 41.
[3]) Делаж и Гольдсмит, Теория эволюции, стр. 15.
[4]) Lampert, Die Abstammungslehre, 34.

в течение некоторого времени не делать даже краткого наброска своих мыслей»[1]). Несомненно, что обобщающая идея не предшествовала исследованию конкретных фактов и явлений, но Дарвина «осенила мысль» после того, как им произведены были «продолжительные наблюдения». Чтение произведения Мальтуса явилось только последним толчком в кристаллизации теоретических воззрений Дарвина.

Что у Дарвина, как у многих других ученых, делавших крупные открытия, были предшественники, предвосхищавшие в неясной форме его идеи, в этом нельзя сомневаться. Достаточно для примера сослаться на Франклина, мнение которого о тенденции животных и растений к перенаселению и о происходящем вследствие этого уничтожении отдельных организмов приводит Мальтус. Но это обстоятельство ни в малейшей степени не умаляет великой заслуги Дарвина и не понижает ценность его теории. «Что пред ним только робко и отрывочно осмеливались высказывать, то он выковал в единое целое»[2]). При построении теории он руководствовался не предвзятым мнением, а выводы его вытекали из непосредственного изучения явлений окружающей природы и выяснения существующих между ними закономерных связей и зависимостей.

Лучшим подтверждением правильности избранного Дарвином методологического пути служит тот факт, что одновременно с ним к созданию тождественного учения о естественном отборе пришел его соотечественник Уоллес в результате одного только длительного наблюдения и исследования явлений тропической природы. Не будь Дарвина, знакомого с взглядами Мальтуса, дарвинизм был бы открыт Уоллесом.

Метод индуктивного исследования является несомненно основным методом построения естественно-научных теорий. Но один метод индукции не в состоянии решить все проблемы биологии. Добытые посредством индукции результаты не всегда оказывались непогрешимыми, они иногда, при дальнейшем расширении круга исследуемых явлений, нуждались в просмотре и перестройке. В этом смысле говорит Энгельс: «По мнению индуктивистов, индукция является непогрешимым методом. Это настолько неверно, что ее якобы надежнейшие результаты ежедневно опровергаются новыми открытиями»[3]). Один метод индукции оказывается недостаточным. При решении некоторых вопросов становится неизбежным привлечение дедуктивного метода. Дюркен, который считает только индукцию естественно-научным методом, вынужден признать, что «идеальное применение одного только индуктивного метода встречает затруднения, так как наши знания отдельных явлений большей частью недостаточны. Нельзя в общем обойтись совершенно без дедукций, т.-е. без построения гипотез, но они допустимы постольку, поскольку являются продолжением приобретенных при помощи индукции теорий»[4]).

Чулок различает двоякого рода гипотезы: содержание одних из них может быть предметом опытного исследования, содержание других не может быть подвергнуто опытной проверке, так как

[1]) Автобиография Ч. Дарвина, стр. 25.
[2]) Daequé, Der Deszendenzgedanke und seine Geschichte, S. 102.
[3]) Архив Маркса и Энгельса, т. II, стр. 59.
[4]) Dürken, Einführung in die Experimentalzoologie, S. 352.

явления, которые пытаются об'яснить вторые гипотезы, протекали в давно прошедшие времена или вообще не могут быть подвергнуты непосредственному исследованию. Гипотезы первого рода подвергаются в дальнейшем своем развитии опытной проверке на конкретно-доступном материале. Если содержание гипотез согласуется с наблюдаемыми и изучаемыми явлениями, тогда они превращаются в факты, в эмпирические правила. В случае противоречия гипотез с явлениями и существующими между ними связями, они отбрасываются и теряют всякую научную ценность. Проверка состоятельности гипотез второго рода происходит другим путем. Так как область затрагиваемых ими явлений не может быть предметом непосредственных наблюдений, то правильность их устанавливается посредством сопоставления со всем содержанием научного знания. Если будет доказано существование противоречия между гипотезой и опытными данными науки, то она решительно отвергается. Когда же такого противоречия нет, а, наоборот, имеется полное совпадение между ними, тогда гипотеза теряет признаки гипотезы и становится теорией. Содержащееся в гипотезе положение, не получая характера бесспорно установленного факта, становится прочно обоснованной теорией, позволяющей разрозненно существующие явления свести к высшему единству, установить закономерные связи и зависимости между ними [1]).

Может ли дарвинизм быть причислен к одной из двух категорий гипотез, указанных в схеме Чулока? Дарвинизм, как известно, состоит из следующих основных элементов: доказательств эволюции и теории естественного отбора. Происхождение всех высших и сложных форм от простейших организмов настолько прочно обосновывается бесчисленными доводами из различных областей знания, что ни Дюркен, ни многие другие критики дарвинизма не решаются отрицать за данной составной частью эволюционного учения характер научной теории. Спор вращается только вокруг теории естественного отбора. Естественный же отбор происходит в результате явлений изменчивости, наследственности и борьбы за существование. Изменчивость организмов относится к числу универсальных, хорошо изученных посредством точных методов, явлений. Изменчивость—доступный непосредственному наблюдению и опыту факт. Изменчивость проявляется в трех формах: модификации, мутации, комбинации. Таким же несомненным фактом является и другой исходный пункт учения о естественном отборе—наследственность. В существовании у организмов тенденции к перенаселению, в способности их к геометрической прогрессии размножения и в вытекающей из перенаселения борьбы за существование между ними легко может убедиться каждый посредством простых наблюдений и опытов. Борьба за существование такой же бесспорный факт, как и два предыдущие. А где имеются хорошо проверенные и доказанные на многочисленном конкретном материале факты, там нельзя говорить о гипотезе. Остается только с этой точки зрения рассмотреть учение о естественном отборе.

Вейсман, один из наиболее последовательных сторонников принципа естественного отбора, говорит: «Непосредственно наблю-

[1]) Tschulok, Deszendenzlehre, S. 69.

дать процесс естественного отбора нельзя, так как он протекает всегда очень медленно и наша способность наблюдения недостаточно обширна и тонка» [1]). Высказанное им положение не помешало ему, однако, быть горячим апологетом естественного отбора. Какие же основания были у него для защиты теории отбора? Точка зрения естественного отбора великолепно об'ясняет происхождение целого ряда биологических явлений (явление покровительственной окраски, мимикрии, приспособление цветов к посещению насекомых и проч.). Естественный отбор или выживание наиболее приспособленных логически неизбежно вытекает из предпосылок—фактов: изменчивости, наследственности и борьбы за существование. Прежде, чем была выяснена роль естественного отбора в природе, было доказано значение искусственного отбора при получении человеком различных пород домашних животных и сортов культурных растений. От хорошо изученного процесса, протекавшего пред глазами людей, Дарвин перешел к установлению фактора естественного отбора, играющего в природе аналогичную искусственному отбору роль. Масса косвенных доводов подтверждает правильность учения о естественном отборе. Ни одно другое учение не может так хорошо об'яснить путь появления самых разнообразных приспособлений у организмов, как учение об естественном отборе. Но имеются и прямые, хотя и немногочисленные, доказательства верности теории естественного отбора. Правильность ее доказана уже опытным путем. Достаточно сослаться на исследования над пострадавшими от бури воробьями, на опыты над зеленой и бурой разновидностями богомола, над куколками крапивницы, над различно окрашенными цыплятами и др. [2]). Можно ли после кратко указанных прямых и косвенных доказательств говорить о том, что учение об естественном отборе только гипотеза, а не теория. Если мы допустим, что первоначально учение Дарвина об естественном отборе носило характер гипотезы, то дальнейшее подтверждение его правильности различными доводами, об'яснение селекционным принципом разнообразных биологических явлений не свидетельствует ли убедительно о превращении гипотезы в прочно обоснованную теорию?

Любопытное явление. На протяжении всей длинной борьбы вокруг дарвинизма ни одно его положение не опровергалось и не отрицалось так часто и так решительно, как принцип естественного отбора. В настоящее же время многими биологами, в частности неодарвинистами и генетиками, из всего комплекса воззрений дарвинизма удерживается только один фактор отбора, как не вызывающий никаких сомнений в его действительно важной роли в процессе эволюции [3]). А раз принцип отбора выдержал испытание критики на протяжении многих десятилетий, получил подтверждение в опытных исследованиях и является почти общепризнанным в научных кругах, то не существует никаких достаточных данных для отрицания за дарвинизмом характера научной теории.

---

[1]) Weismann. Vorträge über Deszendenztheorie, S. 48.

[2]) Подробности в книге Plate, «Selektionsprinzip», S. 184—186.

[3]) «Мы видим в настоящее время, после периода отрицания, возвращение на основе экспериментальных исследований о наследственности к учению о происхождении видов путем естественного отбора» (Иоллос).

Вторым смертным грехом методологического порядка Дюркен считает в дарвинизме привнесение им в свои доказательства и об'яснения суб'ективных оценок и суждений. Методологическую несостоятельность дарвинизма Дюркен видит в том, что не только суб'ективные оценки внесены им в естественно-научное исследование, но последние стали основой всего учения Дарвина. Поэтому метод дарвинизма соответствует перенесению человеческих оценок на явления природы, «дарвинизм оставил почву точного естественно-научного исследования».

Приведенное возражение против дарвинизма выдвигалось задолго до Дюркена. Целый ряд видных биологов видел крупную ошибку дарвинизма в том, что он рассматривал организмы и их органы с точки зрения их целесообразности, полезности или вредности. Телеологическая точка зрения ошибочна, не научна. Точное исследование выясняет только причины явлений и сводит явления к действию физико-химических сил. Такие положения высказывали Келликер, Негели, Клебс, Флейшман и др.

Нельзя отрицать, что элементы антропоморфизма и телеологии часто содержатся в суждениях дарвинистов о целесообразности различных приспособлений у организмов. Человеческие представления переносятся на явления, протекающие в мире животных и растений. Говорят: «окраска и запах цветов служат для привлечения насекомых», «растение ведет суровую борьбу с другими растениями», «естественный отбор содействует выживанию лучше приспособленных организмов». Употребляя подобные выражения, как бы производят замену причинного об'яснения явлений их «очеловечением». Но ни один вдумчивый дарвинист, высказывающий аналогичные суждения, не забывает, конечно, что в мире растений и животных существуют особые взаимоотношения организмов, и явления протекают иначе, чем в человеческом обществе. Антропоморфические же выражения употребляют обычно для большей образности и яркости представлений. Корень вопроса лежит в данном случае не в тех или иных выражениях, а в самом существе возражения. Вопрос заключается в том, правильно ли дарвинизм об'ясняет происходящие в природе явления. Живут ли различные организмы в одинаковых физико-химических и биологических условиях? Обладают ли они тождественными признаками в строении и отправлении тела? Не гибнут ли одни организмы, у которых те или другие особенности выражены сильнее или слабее, чем у остальных? На поставленные вопросы дарвинизм дает удовлетворительные ответы. Положенные в основу дарвинизма факты и явления продолжают оставаться непоколебленными. Прочно установленные дарвинизмом процессы и явления, протекающие в природе, ни в малой степени не изменятся, будем ли мы придерживаться принятой терминологии и характеризовать их, как «борьбу за существование» и «естественный отбор», или введем в употребление другие словесные формулировки.

Великой заслугой Дарвина является то, что он об'яснил происхождение органической целесообразности естественными причинами, именно, как результат взаимодействия внешней среды и организмов. Под органической целесообразностью дарвинизм разумеет то относительно совершенное приспособление организмов к внешним условиям, которое позволяет им выживать в

борьбе за существование. Каждый организм способен целесообразно реагировать на воздействие внешних условий, т.-е. он приспособляется применительно к изменениям окружающей среды. Каждый организм представляет из себя сложное сочетание целесообразных приспособлений, делающих его жизнеспособным и стойким. Целесообразные приспособления не единичны у организмов, а сосредоточены у него во множестве. Плате различает 8 главных форм органической целесообразности: 1) коррелятивную, выражающуюся в согласованной работе и взаимодействии частей единого целого, 2) структурную—во внутреннем строении органов, обусловливающем их определенную работу, 3) внешнюю, состоящую в целесообразных приспособлениях, посредством которых каждый организм вступает в отношения с окружающей его средой, 4) рефлекторную и инстинктивную, проявляющуюся совокупностью ощущений, рефлексов и инстинктов, 5) регуляторную, позволяющую организму преодолевать до известного предела вредные воздействия, 6) функциональную, ведущую к укреплению деятельных органов при их упражнении и к ослаблению при неупотреблении, 7) сохраняющую вид, представляющую разнообразные приспособления для поддержания вида, но не индивида и 8) онтогенетическую, сказывающуюся в закономерном и независимом друг от друга развитии отдельных частей организма. Можно не соглашаться с предложенной Плате классификацией видов органической целесообразности. Нельзя проводить, например, резких границ между отдельными категориями целесообразных приспособлений; одно и то же приспособление выполняет часто различные задачи. Можно и по иному признаку произвести группировку приспособлений (активные, пассивные и др.). Нас в данном случае интересует не эта сторона вопроса.

Важно было показать, что организм—комплекс разнообразных приспособлений и что последние—необходимое условие существования организмов, без них жизнь невозможна. Целесообразное не нечто трансцендентное и метафизическое, а только выражение относительного совершенства приспособленности организма к условиям его существования. Приспособленность же — продукт длительного эволюционного развития под влиянием взаимодействия организма с окружающей средой. Приспособленность, как мы оттеняли, лишь относительна: она проявляется только в рамках определенных нормальных конкретных условий, при резком нарушении которых приспособленность превращается в свою противоположность. Рядом с массой необходимых для жизни организма целесообразных приспособлений существуют бесполезные или вредные рудименты бывших приспособлений (червеобразный отросток слепой кишки и др.). Целесообразное приспособление в процессе исторического развития вида перестает им быть, становится излишним и даже вредным.

Делались многочисленные попытки установить полную аналогию между жизненными явлениями и процессами, протекающими в неживой природе. Некоторые ученые (Оствальд, Фишер и др.) приписывают целесообразность и явлениям неорганического мира, так как в последних проявляется сложное взаимодействие разнообразных физико-химических сил, удерживающих данное состояние в равновесии. Подобные попытки проведения полного параллелизма между живым и мертвым грешат тем, что упу-

скают из виду существующие качественные, принципиальные различия между процессами живой и неживой природы.

Все процессы жизни тесно связаны с материальным ее субстратом—с протоплазмой, сложным белковым соединением. Качественная особенность жизни не только в необычайной сложности структуры белковой молекулы, но и в двух основных специфически жизненных явлениях, резко отграничивающих органический мир от неорганического: в обмене веществ (процессы ассимиляции и диссимиляции) и в раздражимости или чувствительности. Из первичных и основных проявлений жизни вытекает способность организмов к самосохранению, основывающаяся на той сумме более или менее совершенных (целесообразных) приспособлений, которыми они обладают. Жить—значит обладать способностью к самосохранению; самосохранение же возможно только при том условии, что организм целесообразно реагирует на внешние воздействия и целесообразно к ним приспособляется.

Когда мы проводим границу между мертвым и живым, когда мы говорим о качественных отличиях живой протоплазмы от мертвой материи, мы ни в малой степени не забываем, что протоплазма—органическое вещество—возникла в результате длительного процесса химического синтеза, что количественные процессы превратились в качественные отличия.

Едва ли можно делать вывод «об оставлении дарвинизмом почвы точного естественно-научного исследования» на том основании, что дарвинисты говорят о полезных или выгодных для организма приспособлениях. Несомненно, Дюркен прав, когда пишет, что значение многих органов и особенностей организмов нам неизвестно. Полезные особенности при одних условиях становятся вредными при другой обстановке. Но, ведь, задача науки заключается в том, чтобы раскрыть назначение отдельных органов в жизни организмов. О полезных особенностях говорят с об'ективной точки зрения: критерием полезности является об'ективный признак—выживание, самосохранение организмов. Что содействует самосохранению, то полезно и выгодно. В свои оценки происходящих в мире растений и животных явлений человек привносит свою точку зрения, но не следует упускать из виду, что сам человек—только последнее звено в длинной цепи органического развития.

Таким образом, дарвинизм в понятие органической целесообразности вкладывает чисто материалистическое содержание. Вопрос о причинах происхождения целесообразных приспособлений—одна из основных проблем эволюционной теории. Дарвинизм указывает в своей теории естественного отбора естественные причины образования многих приспособлений. Наука не располагает другой теорией, более удовлетворительно чем дарвинизм, об'ясняющей происхождение приспособительных явлений в строении, в отправлениях и реакциях организмов.

Методологически слабой стороной дарвинизма Дюркен считает и его основные понятия борьбы за существование и естественного отбора. Помимо того, что они проникнуты антропоморфизмом, они не только не дают простых и общих формул для об'яснения эволюционного развития, но они затушевывают необычайную сложность явлений природы. Понятие борьбы за существо-

вание охватывает разнообразные формы ее проявления. Оно сложное понятие; содержащееся в нем простое и единое об'яснение широкого круга явлений только кажущееся. Неопределенность и неясность понятий вообще характерны для дарвинизма.

Для Дарвина и дарвинистов хорошо было известно, что «борьба за существование»—основное, всеобщее явление в мире организмов и что формы борьбы за существование чрезвычайно разнообразны. Дарвин подчеркнул «широкий смысл выражения—борьба за существование». Он говорит: «Я должен предупредить, что применяю это выражение в широком и метафорическом смысле»[1]). Этим понятием он охватывал различные формы зависимости организмов друг от друга и от мертвой природы. Некоторые дарвинисты попытались классифицировать виды борьбы за существование. Плате различает, кроме массового уничтожения организмов под влиянием могучих факторов природы, следующие виды борьбы за существование: 1) борьба с климатическими условиями, болезнями и другими подобными силами, при которой побеждают более сильные конституции (Konstitutionalkampf), 2) междувидовая борьба, которая происходит между особями различных видов или разновидностей (Interspezial—oder Intervarietalkampf) и 3) внутривидовая борьба, происходящая между особями одного и того же вида за место, пищу, свет и т. д. (Interspezialkampf). Каждый из трех основных видов борьбы в свою очередь об'единяет различные и многообразные ее формы. Межвидовая и внутривидовая борьба проявляется в форме прямой и непрямой борьбы. Прямая борьба со своей стороны расчленяется на ряд форм. Но каждая из последних детально расчлененных форм борьбы представляет, однако, сложное сочетание разнообразно проявляющихся видов борьбы, об'единенных в одну группу только на основании одного какого-нибудь общего признака. Если мы даже возьмем несколько растений одного и того же вида, растущих в одинаковых, повидимому, условиях, то при точном исследовании легко можно будет убедиться, что физико-химические и биологические условия их существования значительно различны, и они будут определять различно протекающие в каждом индивидуальном случае процессы выживания или вытеснения растений, т.-е. формы борьбы. Процессы борьбы за существование, обуславливаемые в каждом случае всей суммой особых конкретных условий, индивидуальны, специфичны, неповторяемы. В состоянии борьбы за существование находятся все организмы, но течение и ход борьбы бывают различны в индивидуальных ее проявлениях. За исключением случаев массовой гибели организмов под влиянием сильно действующих факторов (пожар, наводнение, извержение вулкана и др.), трудно теоретически представить полное тождество одинаковых комбинаций и всей массы индивидуальных особенностей организмов и разнообразных условий внешней среды, которыми определяются течение и исход борьбы.

Строго индивидуальные признаки каждого явления борьбы за существование ни в малой степени не упускаются из поля зрения дарвинистами. Но это не мешает им, идя индуктивным путем, абстрагировать из всего многообразия форм и проявлений

---

[1]) Ч. Дарвин, Происхождение видов, стр. 45.

то общее и основное, что свойственно процессу, и это общее и единое выразить краткой формулой «борьба за существование». Выражение же «борьба за существование» означает, что каждый организм, поскольку он живой, а тем самым питается, дышит, растет, размножается, он нуждается в определенных условиях существования, и при наличности тенденции к чрезвычайно быстрому размножению организмов обладающие более совершенными приспособлениями для поглощения воды, пищи, света и т. д. выживают и вытесняют тех, которые имеют менее совершенное строение и функции. Как бы мы ни называли интересующее нас повсеместное явление, факт остается фактом: одни организмы гибнут, другие выживают и занимают их место.

Думаю, что в результате произведенного краткого анализа можно сделать заключение, что новое, выдвинутое Дюркеном против дарвинизма, возражение методологического характера нельзя признать основательным. Путь построения обобщающих формул дарвинизма—методологически научный путь.

Сказанное в защиту понятия борьбы за существование относится и к другому основному понятию дарвинизма—к понятию естественного отбора. Чрезвычайно сложный процесс, вызываемый взаимодействием различных причин и протекающий по многообразным и извилистым путям, кратко называется естественным отбором. Употребляя это метафорическое выражение, дарвинисты опять-таки не думают упростить необычайную сложность явления, мало доступного по своему характеру непосредственному исследованию. Им нужна такая словесная формула, которая сжато характеризовала бы основные моменты изучаемого явления: с одной стороны, процесс протекает под влиянием естественных сил природы без регулирующего его ход воздействия человека; с другой стороны, он ведет к тому результату, который на человеческом языке именуется отбором лучше приспособленных. Назовем ли мы естественный отбор «выживанием лучше приспособленных», как его характеризовал Спенсер и как часто называют его и дарвинисты, от этого, конечно, самый процесс не изменится в своем существе. Всю же сложность и многообразие охватываемых понятием естественного отбора явлений не сможет выразить никакая даже самая пространная словесная формула. Или же наука должна отказаться от абстрактной синтетической работы построения обобщений и теорий, и ограничить свою задачу только анализом и изучением разрозненных фактов и явлений? Едва ли к этому могут стремиться ученые типа Дюркена. Если же в опытах популяризации дарвинизма, часто граничащих с его вульгаризацией, необычайная сложность об'ясняемых дарвинизмом явлений упрощается до простых схем и голого скелета, то в этом меньше всего повинна теория Дарвина.

От выяснения значения искусственного отбора в выведении многочисленных сортов растений и пород животных Дарвин перешел к установлению учения об естественном отборе. В противоположность искусственному отбору Дарвином был открыт протекающий в природе естественный отбор. И искусственный и естественный отбор основываются на двух основных биологических явлениях: на изменчивости и наследственности. Оба вида отбора совпадают в двух только исходных прочно установленных пунктах. Но лежащими в основе и искусственного и есте-

ственного отбора фактами изменчивости и наследственности основное сходство их и ограничивается. Дальше выступают те черты отличия, которые ложат между ними непроходимую грань и которые подчеркивались Дарвином и дарвинистами (Вейсманом, Плате и др.). При искусственном отборе направляющую роль играет воля человека, ставящего сознательно или бессознательно определенные цели. Задача достигается сравнительно быстро путем полной изоляции отдельных экземпляров животных и растений и недопущения скрещивания их с остальной массой. Человек посредством искусственного отбора влияет на изменения одной какой-либо особенности организма и часто приводит к созданию мало жизнеспособных в естественных условиях новых форм. Направление же естественного отбора регулируется борьбой за существование, ведущей к гибели всех мало приспособленных к данным условиям внешней среды. Процесс естественного отбора в противоположность искусственному отбору протекает чрезвычайно медленно на протяжении громадных периодов времени. Могучая сила естественного отбора действует на все особенности всей массы организмов и на всех стадиях их развития и содействует выработке качеств, необходимых им в борьбе за существование. Достаточно сопоставить основные моменты действия искусственного и естественного отбора, чтобы увидеть существенную между ними разницу. Но, отмечая пункты их различия, не следует затушевывать и существующее между ними отмеченное выше сходство. Поэтому нельзя согласиться с утверждением Дюркена, что «это две несравнимые друг с другом величины».

С точки зрения признаваемого дарвинистами могучего видоизменяющего влияния естественного отбора, действующего одновременно на все внешние и внутренние признаки организма в сторону их более совершенного приспособления к условиям окружающей среды, оказывается несостоятельным то возражение Дюркена, что большинство примеров естественного отбора может быть истолковано в различном смысле. Он приводит даваемое Дарвином об'яснение происхождения быстроты бега у волков. Дарвин в своем примере применяет обычный научный прием при изучении явлений: он берет одну способность волка—быстроту бега—и об'ясняет ее развитие для лучшего понимания изолированно, независимо от других свойств его. Но для Дарвина было, конечно, ясно, что одновременно с способностью быстрого бега у волков развивались и другие, выгодные для существования качества: тонкость и острота обоняния, ум, крепкие зубы и т. д.

Особенно слабым в методологическом отношении пунктом в системе воззрений Дарвина Дюркен считает учение о половом отборе, т.-е. учение о борьбе между самцами из-за самок и выборе самками более сильных и наделенных различными привлекательными для самок качествами самцов. Опять-таки, по мнению Дюркена, в учении о половом отборе пытаются для понимания сложного явления дать простое об'яснение. Понятие полового отбора охватывает настолько разнообразные явления, что уже по чисто методологическим соображениям оно не может дать удовлетворительного об'яснения происхождению явлений полового диморфизма. Кроме того, без достаточных оснований самкам животных приписывается способность производить эстетическую оценку и выбор среди конкурирующих самцов.

Как известно, учение о половом отборе представляет дополнительную надстройку в теоретическом построении Дарвина, оно не находится в неразрывной органической связи с основными положениями его учения. Поэтому понятно, что многие последовательные дарвинисты не являются сторонниками учения о половом отборе. Уже сподвижник Дарвина, Уоллес об'яснял происхождение многих особенностей самцов более энергичной, чем у самок, жизнедеятельностью их организма. В позднейшее время была выдвинута Гюнтером и Фаусеком «теория угрозы», видевшая во вторичных половых признаках самцов средства угрозы и устрашения соперников. В наше время явление полового диморфизма пытаются истолковать в свете учения о деятельности желез внутренней секреции. Но, несмотря на все новейшие попытки об'яснить появление вторичных половых признаков, многое в области этих сложных явлений продолжает оставаться невыясненным.

Согласимся частично с той общей оценкой теории полового отбора, которую дает Дюркен, признаем вместе с ним, что она не может об'яснить явление полового диморфизма. Согласимся и с его частными возражениями, сводящимися к тому, что более яркая окраска самцов в брачный период находится не в связи с привлечением самок, а с более энергичным обменом веществ и с более сильным возбуждением нервной системы, что птицы не могут различать синюю и сине-зеленую окраски, что выбор самками самцов в действительности еще ни разу не наблюдали, что бабочки отличаются крайней близорукостью и самцы бабочек при отыскании самок, выделяющих пахучие вещества, руководствуются не органами зрения, а органами обоняния, что борьба между самцами не обязательно приводит к устранению от размножения слабейших, что согласно новейшим данным учения о наследственности может не быть соответствия между телесными качествами и наследственными задатками и что побежденный соперник может обладать лучшими наследственными признаками по сравнению с победившим самцом. Но если мы согласимся с известными ограничениями с приведенными утверждениями Дюркена, то подрывают ли они теорию дарвинизма? Нисколько. Многие дарвинисты или совершенно отвергают добавочную надстройку—учение о половом отборе под основным зданием—теорией естественного отбора, или же принимают ее с внесением целого ряда поправок и оговорок. Отвергая учение о половом отборе, дарвинисты тем самым расширяют сферу действия естественного отбора, распространяя его на часть явлений полового диморфизма.

Но у нас, кроме того, нет достаточных оснований отрицать целиком учение о половом отборе. Самки не обладают эстетическим чувством и не могут производить с эстетической точки зрения оценку и выбор самцов. Но они отдают предпочтение тем самцам, которые более действуют на них возбуждающим образом. Различные же зрительные, слуховые, обонятельные восприятия играют роль возбуждающих средств. Все те изменения в средствах возбуждения и в поведении самцов, которые сопровождаются более усиленным привлечением самок, подлежат отбору и постепенному их накоплению в длинном ряду поколений. Происхождение орудий борьбы между самцами находит также более

ственного отбора фактами изменчивости и наследственности основное сходство их и ограничивается. Дальше выступают те черты отличия, которые ложат между ними непроходимую грань и которые подчеркивались Дарвином и дарвинистами (Вейсманом, Плате и др.). При искусственном отборе направляющую роль играет воля человека, ставящего сознательно или бессознательно определенные цели. Задача достигается сравнительно быстро путем полной изоляции отдельных экземпляров животных и растений и недопущения скрещивания их с остальной массой. Человек посредством искусственного отбора влияет на изменения одной какой-либо особенности организма и часто приводит к созданию мало жизнеспособных в естественных условиях новых форм. Направление же естественного отбора регулируется борьбой за существование, ведущей к гибели всех мало приспособленных к данным условиям внешней среды. Процесс естественного отбора в противоположность искусственному отбору протекает чрезвычайно медленно на протяжении громадных периодов времени. Могучая сила естественного отбора действует на все особенности всей массы организмов и на всех стадиях их развития и содействует выработке качеств, необходимых им в борьбе за существование. Достаточно сопоставить основные моменты действия искусственного и естественного отбора, чтобы увидеть существенную между ними разницу. Но, отмечая пункты их различия, не следует затушевывать и существующее между ними отмеченное выше сходство. Поэтому нельзя согласиться с утверждением Дюркена, что «это две несравнимые друг с другом величины».

С точки зрения признаваемого дарвинистами могучего видоизменяющего влияния естественного отбора, действующего одновременно на все внешние и внутренние признаки организма в сторону их более совершенного приспособления к условиям окружающей среды, оказывается несостоятельным то возражение Дюркена, что большинство примеров естественного отбора может быть истолковано в различном смысле. Он приводит даваемое Дарвином об'яснение происхождения быстроты бега у волков. Дарвин в своем примере применяет обычный научный прием при изучении явлений: он берет одну способность волка—быстроту бега—и об'ясняет ее развитие для лучшего понимания изолированно, независимо от других свойств его. Но для Дарвина было, конечно, ясно, что одновременно с способностью быстрого бега у волков развивались и другие, выгодные для существования качества: тонкость и острота обоняния, ум, крепкие зубы и т. д.

Особенно слабым в методологическом отношении пунктом в системе воззрений Дарвина Дюркен считает учение о половом отборе, т.-е. учение о борьбе между самцами из-за самок и выборе самками более сильных и наделенных различными привлекательными для самок качествами самцов. Опять-таки, по мнению Дюркена, в учении о половом отборе пытаются для понимания сложного явления дать простое об'яснение. Понятие полового отбора охватывает настолько разнообразные явления, что уже по чисто методологическим соображениям оно не может дать удовлетворительного об'яснения происхождению явлений полового диморфизма. Кроме того, без достаточных оснований самкам животных приписывается способность производить эстетическую оценку и выбор среди конкурирующих самцов.

Как известно, учение о половом отборе представляет дополнительную надстройку в теоретическом построении Дарвина, оно не находится в неразрывной органической связи с основными положениями его учения. Поэтому понятно, что многие последовательные дарвинисты не являются сторонниками учения о половом отборе. Уже сподвижник Дарвина, Уоллес об'яснял происхождение многих особенностей самцов более энергичной, чем у самок, жизнедеятельностью их организма. В позднейшее время была выдвинута Гюнтером и Фаусеком «теория угрозы», видевшая во вторичных половых признаках самцов средства угрозы и устрашения соперников. В наше время явление полового диморфизма пытаются истолковать в свете учения о деятельности желез внутренней секреции. Но, несмотря на все новейшие попытки об'яснить появление вторичных половых признаков, многое в области этих сложных явлений продолжает оставаться невыясненным.

Согласимся частично с той общей оценкой теории полового отбора, которую дает Дюркен, признаем вместе с ним, что она не может об'яснить явление полового диморфизма. Согласимся и с его частными возражениями, сводящимися к тому, что более яркая окраска самцов в брачный период находится не в связи с привлечением самок, а с более энергичным обменом веществ и с более сильным возбуждением нервной системы, что птицы не могут различать синюю и сине-зеленую окраски, что выбор самками самцов в действительности еще ни разу не наблюдали, что бабочки отличаются крайней близорукостью и самцы бабочек при отыскании самок, выделяющих пахучие вещества, руководствуются не органами зрения, а органами обоняния, что борьба между самцами не обязательно приводит к устранению от размножения слабейших, что согласно новейшим данным учения о наследственности может не быть соответствия между телесными качествами и наследственными задатками и что побежденный соперник может обладать лучшими наследственными признаками по сравнению с победившим самцом. Но если мы согласимся с известными ограничениями с приведенными утверждениями Дюркена, то подрывают ли они теорию дарвинизма? Нисколько. Многие дарвинисты или совершенно отвергают добавочную надстройку—учение о половом отборе под основным зданием—теорией естественного отбора, или же принимают ее с внесением целого ряда поправок и оговорок. Отвергая учение о половом отборе, дарвинисты тем самым расширяют сферу действия естественного отбора, распространяя его на часть явлений полового диморфизма.

Но у нас, кроме того, нет достаточных оснований отрицать целиком учение о половом отборе. Самки не обладают эстетическим чувством и не могут производить с эстетической точки зрения оценку и выбор самцов. Но они отдают предпочтение тем самцам, которые более действуют на них возбуждающим образом. Различные же зрительные, слуховые, обонятельные восприятия играют роль возбуждающих средств. Все те изменения в средствах возбуждения и в поведении самцов, которые сопровождаются более усиленным привлечением самок, подлежат отбору и постепенному их накоплению в длинном ряду поколений. Происхождение орудий борьбы между самцами находит также более

или менее удовлетворительное об'яснение в учении о половом отборе.

Ограничиваясь приведенными немногочисленными замечаниями, скажем в заключение, что никакая другая теория так удовлетворительно не об'ясняет многие явления в области полового диморфизма, как теория полового отбора. Но несомненно также, что многое в области этих сложных явлений нуждается в дальнейшем изучении, раскрытии и истолковании.

После произведенного нами краткого анализа выдвинутых Дюркеном против дарвинизма методологических возражений, думается, нет никаких оснований утверждать вместе с Дюркеном, что дарвинизм выявил свою несостоятельность в методологическом отношении, и уже в силу одного этого обстоятельства он должен быть отвергнут. Мы пришли к обратному выводу. Путь создания теории Дарвина, путь образования отдельных его понятий—путь построения научных понятий и теорий. Дарвинизм удовлетворяет методологическим требованиям, пред'являемым к научным теориям.

IV. От критики дарвинизма с методологической точки зрения Дюркен переходит к критическому анализу того фактического базиса, на котором построено все здание дарвинской теории.

Первый факт, из которого исходит дарвинизм, это—тенденция организмов к геометрической прогрессии размножения и проистекающая из нее борьба за существование. Это исходное положение дарвинизма пользуется почти всеобщим признанием ученых. Не может отрицать явление острой борьбы за существование и Дюркен, но он ставит вопрос о том, проявляется ли она в дарвинском смысле и решает ее отрицательно.

По мнению Дюркена, для эволюционного развития главное значение имеет прямая или косвенная борьба между организмами одного и того же вида при том условии, если большинство их в результате этой борьбы погибает. В действительности же большинство гибнет еще в стадии зародышевых клеток (икра лягушки, цветы деревьев, мужские половые клетки). С приведенными положениями Дюркена согласится каждый дарвинист. Но нельзя согласиться с тем толкованием, которое он дает отдельным фактам.

Он думает, что качественные особенности зародышевых клеток не имеют никакого значения для их дальнейшей судьбы. Об отборе зародышевых клеток, наделенных благоприятными качествами, не может быть и речи, так как их участь решает внешняя ситуация. Так ли это? Условия внешней среды играют в жизни организмов и их зародышей несомненно решающую роль. Если внешние условия развития зародышей вполне неблагоприятны, то они все гибнут. Но если зародышевые клетки будут поставлены в совершенно одинаковые относительно благоприятные условия, все же окажется, что одни из них скорее сольются в процессе оплодотворения и скорее разовьются, чем другие, третьи же погибнут в стадии половых клеток или на первых стадиях развития. Развивающиеся в одинаковых условиях икринки не все ведут себя одинаково: одни сразу же гибнут на разных стадиях развития, другие же завершают полный цикл развития. Из массы сперматозоидов при условии нахождения их в одинаковых внешних условиях немногие только сливаются с яйцеклетками; из многих цветов некоторые не подвер-

гаются перекрестному опылению. Это происходит вследствие индивидуальных отличий зародышевых клеток и цветов. Одни из них обладают большей жизнеспособностью, большей стойкостью против неблагоприятных условий, чем другие. Одни из цветов наделены сильнее выраженными приспособлениями для привлечения насекомых, чем другие. Сочетание внешних условий может быть до чрезвычайности разнообразным и различным для каждого почти организма. Но борьба за существование и отбор, которые начинаются уже на стадии зародышевых клеток, определяются не только внешней средой, но и индивидуальными особенностями последних. Оставлять без внимания индивидуальные отличия организмов и их зародышей значит извращать весь процесс борьбы и отбора.

Дарвинисты не станут возражать против того утверждения Дюркена, что многие организмы гибнут, не оставляя после себя потомства. Некоторые из них неспособны к размножению, другие хотя и откладывают яйца, но последние не развиваются. Подрывает ли эти факты учение о стремлении организмов к перенаселению и вытекает ли из него закон борьбы за существование? Разумеется, нет. Пути и формы борьбы за существование чрезвычайно сложны и разнообразны. Никто из вдумчиво относящихся к происходящим в природе явлениям не может представлять процесс борьбы упрощенно и прямолинейно. Закон борьбы за существование характеризует основной процесс, выражает типичное в явлении, не охватывая всех возможных исключений из общего правила.

Дюркен признает, что важнейшим препятствием к перенаселению организмов является неблагополучная внешняя среда, которая ведет их к гибели независимо от их индивидуальных качеств. Большинство семян луговых растений гибнет под влиянием внешних условий еще до момента выявления скрытых в них признаков растений. Масса рыб гибнет во время икрометания, когда они собираются большими стаями, независимо от их индивидуальных качеств. Рыбная молодь во множестве гибнет вследствие неблагоприятной ситуации. Мелкие индивидуальные отличия не играют роли. Утверждение Дюркена остается аподиктическим, не подтверждается никакими опытными данными. И в данных примерах проявляется отбор, но только не ясно и не прямолинейно выраженный и медленно протекающий. Семена, которые способны дольше противостоять вредным влияниям и сохранять потенцию прорастания, которые наделены лучшими приспособлениями для распространения, будут преимущественно пред другими сохраняться. Мальки рыб, способные быстрее плавать, не удаляющиеся из мелких мест водоемов, лучше покровительственно окрашенные, будут иметь больше шансов выжить, чем остальные рыбки. Значит ли это, что хорошо защищенные, положим, покровительственной окраской будут обязательно выживать по сравнению с животными, лишенными такой окраски? На этот вопрос дает хороший ответ Вейсман: «...самая лучшая защитная окраска не представляет абсолютной защиты и не сохраняет всех от гибели, но всегда только некоторых, даже немногих» [1]. В приведенных словах хорошо выражена точка зрения дарвини-

[1] A. Weismann, Vorträge über Deszendenztheorie, S. 68.

стов—диалектических материалистов, приписывающая отдельным положениям их учения только относительное значение, лишающая последние всякого абсолютного смысла. Выживание организмов зависит не только от той или другой их особенности, но определяется в каждом случае всей совокупностью индивидуальных признаков и всей суммой условий окружающей среды. Дарвинизм не приписывает отбору в борьбе за существование того всеобщего и универсального значения при всех условиях, о котором говорит Дюркен. Процесс борьбы и результат отбора обусловливаются всеми данными конкретными условиями.

Остановимся еще на одном примере, приводимом Дюркеном для подтверждения того положения, что гибель организмов часто происходит без разбора под влиянием неблагоприятных условий. При заражении туберкулезом, люди умирают независимо от их индивидуальных особенностей. Внешние условия существования людей играют, конечно, чрезвычайную роль при заболевании, в течении и в исходе болезни, но та или иная конституция людей играет также немаловажную роль. Как известно, туберкулезом заражается большинство людей, но гибнет только сравнительно небольшой процент. При одних и тех же внешних условиях одни гибнут, другие живут. В одной и той же семье некоторые умирают от туберкулеза, другие оказываются стойкими. Небольшой процент людей обладает врожденным иммунитетом против той или другой инфекции. Во время различных эпидемий происходит своеобразный естественный отбор: одни гибнут, другие выживают. У людей этот отбор сильно затушевывается той искусственной средой (в данном случае особенно успехами медицины и гигиены), в которой люди живут и теми имущественными различиями, которые среди них существуют. В мире же животных и растений процесс отбора протекает в неприкрытой форме.

V. После бесплодных попыток разрушить важнейшую основу дарвинизма—учение о борьбе за существование, Дюркен переходит к критическому разбору теории естественного отбора и выдвигает против нее целый ряд существенных возражений.

Первое его возражение состоит в том, что дарвинизм не в состоянии об'яснить первоначальное появление тех или других органов. Теория естественного отбора говорит о возникновении многообразия форм, о происхождении органов и всех качеств путем отбора. В действительности же естественный отбор предполагает существование различных образований. Что не существует еще, не может являться об'ектом действия естественного отбора. Но разве дарвинисты утверждают, что первоначальные разнообразные, идущие в самых различных направлениях, изменения организмов, их органов вызываются действием естественного отбора? Естественный отбор—вторичный и вместе с тем чрезвычайно важный фактор. Он не вызывает изменений, появления новых особенностей. Он «оперирует» с теми изменениями, которые происходят под влиянием других факторов. Вопрос о причинах наследственной изменчивости, имеющей значение для эволюции, как во времена Дарвина, так и в наше время, продолжает оставаться невыясненным и нераскрытым еще. Дарвин пытался приподнять завесу над этим «темным» вопросом. Он все больше и больше склонялся к тому убеждению, что измен-

чивость появляется в результате воздействия условий внешней среды и упражнения и неупражнения органов.

Мы не знаем, каков был путь образования таких сложных органов, как глаз, и под влиянием каких первичных причин происходило изменение первоначальных зачатков их в сторону все большего усложнения. Можно думать, что глаз—продукт чрезвычайно сложного и длительного активного приспособления организма и его первоначального зрительного зачатка к внешней среде. Изменение одной части органа сопровождалось коррелятивным изменением других групп клеток. Коррелятивной изменчивости Дарвин отводил, как известно, видную роль в своем учении. Естественному отбору в процессе образования глаза, как и различных других органов, принадлежала только регулирующая и контролирующая роль, направлявшая развитие глаза ко все большему его усложнению и совершенству, как выражению все лучшей приспособленности его к специфической функции. Путь образования сложных органов—путь все более усложняющегося развития первоначальных простых зачатков под воздействием внешних факторов, вследствие активного их приспособления и отбора более совершенных комбинаций составляющих их элементов. Отбор—не всемогущий фактор, не он творит первичные изменения и разнообразные сложные их сочетания, он фактор вторичного порядка, играющий решающую роль в относительно совершенном приспособлении органов и организмов к внешней среде.

Дюркен прав, когда говорит, что если считать отбор единственным фактором эволюционного развития, то нельзя будет об'яснить происхождение тех особенностей, которые бесполезны в борьбе за существование и не представляют никакой отборной ценности. Таковы, по мнению его, различное число члеников конечностей у разных семейств жуков, разнообразная форма листьев, разнообразный волосяной покров у животных. Разнообразие подобных особенностей не дает их обладателям никаких преимуществ в борьбе за существование. Но прежде всего следует заметить, что естественный отбор не является единственным и первичным фактором эволюции, как мы уже говорили. Затем мы чрезвычайно мало еще раскрыли биологическое значение многих признаков. Мы еще мало изучили приспособительное значение разнообразной формы листьев, различного характера волосяного покрова и т. д. Кроме того, дарвинизм учит, что если признаки, возникшие под влиянием первичных факторов, безразличны в борьбе за существование, то они не подвергаются отбору. Этим, может быть, отчасти об'ясняется разнообразие форм при относительно тождественных условиях существования.

Животные различных систематических групп (млекопитающее, птицы, насекомое, черви) хорошо приспособлены к их жизненным условиям. Дюркен говорит, что крупные различия между указанными группами не могли возникнуть путем отбора в борьбе за существование. Но и постепенное, все далее идущее обособление родственных групп организмов удовлетворительно об'ясняет дарвинский принцип «расхождения признаков». Чем организмы дальше уклоняются друг от друга, чем более разные области обитания занимают они, тем реже и слабее сталкиваются они между собой. Борьба за существование и отбор

ведут ко все большему отклонению первоначальных родственных форм и приспособлению их к разным условиям существования. Жестокая борьба за жизнь заставляет организмы приспособляться к самым разнообразным условиям среды. Естественный отбор, как мы сказали, не вызывает уклонений, он только регулирует процесс приспособления.

Дюркен находит невероятным, чтобы незначительные уклонения были бы полезны их обладателям и чтобы они могли подлежать отбору. И это возражение, как и многие другие, в значительной степени зависит от той неспособности критика диалектически мыслить, которую он проявляет. Представим себе следующий случай. Среди экземпляров ярко окрашенного вида бабочек появляется одна бабочка, наделенная слабо выраженной защитной окраской. Если это будет признак доминантный, она передаст его первому и большинству особей следующих поколений. Предположим, что из 20 особей первого поколения с слегка защитной окраской выживут только 2 бабочки и дадут новое поколение, а из каждых 20 бабочек с яркой окраской не будет уничтожена птицами 1 бабочка. Если даже новая окраска будет связана с такими незначительными преимуществами для носителей ее в борьбе за существование, то несомненно, что она все же будет представлять отборную ценность, и через сравнительно небольшой ряд поколений отбор даст вполне реальные результаты в смысле вытеснения одних бабочек другими. Но, ведь среди слабо окрашенных в защитный цвет бабочек могут появиться отдельные экземпляры с более покровительственно окрашенным рисунком, которые и будут вытеснять не только ярко окрашенных, но и с слабой защитной окраской. Мы не имеем ни малейших оснований отрицать биологическую пользу даже слабо выраженных изменений. Допустим, что мелкие уклонения не отбираются, так как они не играют никакой роли в борьбе за существование. Но если под влиянием каких-либо случайных условий количество обладателей уклончивых признаков возрастет, то можно с большой долей вероятности предполагать, что среди последних появятся особи, у которых уклонение будет выражено сильнее и оно в борьбе за существование будет подхвачено и закреплено отбором. Кроме того, на основании новейших экспериментально установленных данных мы знаем, что мутационные изменения, имеющие первостепенное значение для эволюции, могут колебаться в широких пределах—от едва уловимых при тщательном исследовании до резко выраженных скачков (мутации бескрылые, безглазые у дрозофилы).

Дюркен не в состоянии понять, как можно с точки зрения теории естественного отбора об'яснить присутствие у организмов вредных особенностей. У птицы-носорога большой клюв и над ним большой рог. Рог не только не полезен птице, но вреден, так как мешает ей при полете. Клюв чрезвычайно ломкий. Подобная хрупкость клюва и образование рога не могли быть результатом естественного отбора, оставляющего наиболее приспособленных. Но уже один факт существования птицы-носорога говорит о том, что ее особенности, вредные с точки зрения Дюркена, в действительности не играют существенной вредной роли в борьбе за существование. Иначе птица вымерла бы, как многие другие виды животных, когда они оказались неприспособленными к

изменившимся условиям жизни. Кроме того, мы точно еще не знаем, не оказывает ли прямую помощь птице в борьбе за существование рог, полый внутри, содержащий воздух. Последняя особенность делает его очень легким и служит проявлением приспособленности его к полету птицы.

То же в значительной мере можно сказать и относительно другого примера, приводимого Дюркеном для доказательства несостоятельности теории отбора. Стрижи обладают настолько короткими ногами и длинными крыльями, что если случайно птицы падают на землю, то они не в состоянии снова взлететь в воздух. Указанная особенность вредна птицам. Дюркен забывает только указать, что короткие ноги оказываются вредным признаком только при том условии, когда птица упадет на землю. Но это случается редко. Превосходно-летающие птицы, питающиеся насекомыми, которых они ловят в воздухе, они только в случае какой-либо аварии попадают на землю. Гнезда свои они устраивают в отвесных берегах рек, в отвесных стенах обрывов, обвалов. Они хорошо приспособлены к образу их жизни. В условиях их существования короткие ноги не являются вредным признаком. Но дарвинизм и не говорит об абсолютном совершенстве организмов и об абсолютно совершенной приспособленности их к разным условиям внешней среды. Организмы только относительно приспособлены к обычным условиях их жизни. Только при этом условии обеспечено относительное самосохранение вида. Нет и не может быть таких органических форм и таких органов, которые были бы одинаково хорошо приспособлены к разнообразным условиям среды. Естественный отбор - это учение об относительной приспособленности организмов к конкретным определенным внешним условиям под влиянием борьбы за существование.

После высказанных положений ясно выступает необоснованность утверждения Дюркена, что несовершенно организованных существ вообще не должно бы существовать. В этом лишний раз сказывается неспособность критика дарвинизма диалектически мыслить. По его мнению, если естественный отбор является фактором приспособления организмов к среде, то последние должны быть совершенно организованы. Если же мы этого не замечаем, то естественный отбор не играет приписываемой ему дарвинистами роли. Из основного дефекта в методе мышления Дюркена проистекают все его абсолютные положения, утверждения и заключения.

Высшие организмы произошли при содействии естественного отбора из низших существ. Поэтому, заключает критик, высшие организмы должны быть более совершенно приспособлены к борьбе за существование, чем низшие. Зубная система должна быть более совершенной у высших видов и у человека, чем у низших. У акулы зубы однородные и острые. Когда зуб выпадает, его место занимает новый. Эта выгодная в борьбе за жизнь особенность низшей рыбы утеряна высшими позвоночными. Естественный отбор бессилен был сохранить смену зубов в течение всей жизни высшего организма. У некоторых же млекопитающих (муравьед) даже совершенно нет зубов. И в данном случае проявляется склонность Дюркена к упрощенному мышлению, к мышлению по голым схемам и абсолютным формулам. Эволюция

зубной системы очень хорошо показывает всю относительность и условность наших понятий «высший» и «низший». У высшего организма (человека) могут быть менее совершенные органы (зрение, слух, обоняние и др.), чем у низших позвоночных. Естественный отбор содействует только приспособленности организма к условиям его существования. Отсутствие зубов у муравьеда, разнообразная система зубов у травоядных, хищных, грызунов и др. групп млекопитающих свидетельствует о приспособленности органов к их функциям, о приспособленности зубов к захватыванию и пережевыванию того или другого определенного рода пищи. Зачем муравьеду зубы, когда он свою пищу (муравьи) свободно может проглатывать. Зачем другим млекопитающим многократная смена зубов, когда постоянные зубы удовлетворительно работают до самой старости животных.

Дюркен сравнивает различные формы размножения, наблюдаемые у низших и высших организмов. Одни откладывают яйца, другие рождают живых детенышей. Второй вид размножения произошел под влиянием естественного отбора из первого. Рождение живых детенышей должно быть более совершенным видом размножения. В действительно же Дюркен находит обратное явление. Откладка яиц не связана ни с какой опасностью. Рождение же живых детенышей грозит жизни матери целым рядом опасностей (кровотечения, инфекция). С изложенными мыслями автора трудно согласиться. У птиц нередко бывают воспаления яйцеводов, влекущие за собой опасное для жизни задержание яиц. У свободно живущих в природе животных, которые подчинены действию естественного отбора, процесс рождения детенышей протекает обычно так же естественно, как кладка яиц, и не сопровождается теми сравнительно частыми осложнениями, которые наблюдаются у домашних животных и особенно у человека. При сравнении двух видов размножения можно самое большее говорить только об относительно более выгодной для организма кладке яиц, чем живорождение. Но и тот и другой вид размножения не является абсолютно совершенным, не связанным с рядом отрицательных моментов. Известно, что основная масса организмов гибнет в стадии яйца или на самых ранних стадиях постэмбрионального их существования. Известно, какое большое число икринок рыб и земноводных гибнет, какое большое число птичьих гнезд разоряется. Если бы млекопитающиеся клали яйца в гнезда и насиживали их в течение часто многих месяцев, сколько у них продолжается период беременности, то только немногие могли бы уцелеть и совершить полный цикл эмбрионального развития. Легко представить себе, какое большое число яиц должны были бы откладывать самки млекопитающих и какую большую величину должны были бы иметь яйца. Становится понятным, что при том длинном и сложном пути развития, который проходят эмбрионы высших млекопитающих, живорождение является относительно более совершенным видом размножения, чем у яйцекладущих или рождение недозрелых детенышей у сумчатых. При наличности острой борьбы за существование живородящие животные имеют преимущества перед яйцекладущими. Но следует к тому же забывать, что индивид существует для вида, природа заботится о самосохранении вида, а не отдельной особи.

Принципу естественного отбора не противоречит существование рядом с высшими формами и низших систематических групп. Естественный отбор не обязательно ведет к усложнению организации. Он может содействовать упрощению организации или консервировать данную форму в зависимости от состояния внешней среды. Кишечные паразиты упростили свою организацию в связи с благоприятными для них условиями существования. Сумчатые животные не совершили дальнейшей эволюции в сторону высших млекопитающих в связи с отсутствием конкуренции со стороны последних. Они только приспособились к различным природным условиям их жизни. Эволюция организмов под влиянием естественного отбора совершается не в одном направлении по восходящей линии. Пути развития органического мира чрезвычайно разнообразны и извилисты. Дивергенция признаков ведет к эволюции в разнообразных направлениях применительно к различным условиям существования организмов.

Одним из более убедительных доводов для подтверждения правильности теории естественного отбора служит даваемое дарвинизмом об'яснение происхождения явления покровительственной окраски и мимикрии у животных. Дюркен пытается подорвать в корне и этот аргумент в пользу естественного отбора. Не будем возражать против того его взгляда, что во многих случаях значение красящего вещества или пигмента в организме не ограничивается только сообщением животному определенной окраски или рисунка. Физиологическое значение его может быть и иное. Но нельзя не возразить против тех приемов, при помощи которых Дюркен старается обесценить приводимые дарвинистами для доказательства теории естественного отбора примеры покровительственной окраски. Древесная лягушка и хамелеон способны менять свою окраску приспособительно к тому фону, на котором они сидят. Эта способность менять окраску, по мнению Дюркена, не имеет значения в борьбе за существование и не могла произойти путем отбора. Почему? Да потому, что живущие на светлых скалах о. Капри ящерицы окрашены с верхней стороны почти в черный цвет, другие же ящерицы на сером фоне бывают преимущественно светло-зелеными, а на зеленом—темно-коричневыми. Можно думать, что в приведенных примерах мы имеем явление так называемой предупреждающей окраски, когда животные защищены своей нес'едобностью, или ядовитостью, а бросающаяся в глаза окраска предупреждает об этом их врагов. Среди представителей нашей местной фауны мы знаем много животных, наделенных предостерегающей окраской. Опыты кормления ими других животных доказали правильность толкования биологического значения их окраски. Если бы те ящерицы, на которых ссылается Дюркен, не были защищены своей нес'едобностью, они были бы уничтожены.

Дюркен сильно ограничивает биологическое значение покровительственной окраски, как средства защиты. Но и он вынужден заявить: «Нельзя отрицать, что соответствие между окраской и окружающим фоном доставляет известную защиту». Несмотря, однако, на защитную роль окраски птицы находят на коре деревьев покровительственно окрашенных насекомых. Многие враги насекомых руководствуются при отыскании добычи не только зрением, но главным образом, обонянием. Опаснейшие враги насеко-

мых—наездники—находят покровительственно окрашенных гусениц бабочки-капустницы при содействии обоняния. Обладающего защитной окраской зайца лиса отыскивает при помощи обоняния. Подобное возражение Дюркена в значительной мере основано на непонимании самых основ дарвинизма. Никто из вдумчивых его сторонников не может утверждать, что защитная окраска гарантирует безопасность животных на все 100%. Ясно, что речь может итти только об относительно полезном значении защитной окраски для ее обладателя. Если два животных—покровительственно окрашенное и обладающее бросающейся в глаза окраской—будут поставлены в одинаковые условия борьбы за жизнь, значительные преимущества будут на стороне первого. Первое будет преимущественно выживать пред вторым.

Тот факт, что во многих случаях защитная окраска вызывается прямым влиянием отраженных световых лучей, не исключает значения естественного отбора, как фактора, содействующего образованию покровительственной окраски. Только те животные имели больше шансов на выживание, клетки тела которых способны были реагировать на воздействие отраженного света образованием пигмента, соответствующего окраске места нахождения животного.

Особенно решительно отрицает Дюркен значение явления мимикрии, как доказательства теории отбора. Сходство беззащитного животного с животным, вооруженным жалом, ядом или другим средством защиты существует большей частью, по его мнению, только для наблюдателя. Но и где оно действительно существует, оно все же возникло не как средство защиты. Частично нельзя не согласиться в данном случае с возражениями Дюркена. Многие не в меру усердные не критически мыслящие дарвинисты пытаются всякое даже отдаленное сходство между животными беззащитными и защищенными истолковать как явление мимикрии. Некоторые даже находят, что глухая крапива подражает жгучей. Это, конечно, преувеличение. К числу таких искусственных примеров относятся и подвергающиеся критике со стороны Дюркена: сходство бабочек из семейства белянок с семейством геликонд, сходство насекомых (клопов, жуков) с муравьями. Отрицать же защитное значение сходства между некоторыми бабочками и осами или шершнями на том основании, что некоторые птицы уничтожают все же последних, нет достаточных оснований. Кроме птиц, существует целый ряд других врагов, в частности среди насекомых. Едва ли можно сомневаться, что против врагов-насекомых (стрекоз и др.) осы, шершни, шмели, наделенные к тому же предостерегающей окраской, хорошо защищены. На основании отдельных неудачных примеров нельзя отрицать всякую биологическую роль явления мимикрии.

Дюркен при критике значения мимикрии повторяет ту же ошибку, которую он делал многократно и раньше. Он рассуждает так. Если мимикрия—средство защиты, то оно должно спасать животное всегда, при всех условиях и от всех врагов. Если покровительственно окрашенные и мимикрирующие формы произошли путем естественного отбора, то все незащищенные окраской животные должны были быть давно уничтожены. Но так как незащищенные окраской виды существуют, то происхождение покровительственно окрашенных и мимикрирующих форм

путем отбора не было необходимым. Автор проявляет удивительную склонность к абсолютному, метафизическому мышлению, к мышлению абстрактными формулами: да, да, нет, нет. Он не хочет понять, что каждый вид приспособлен к своим условиям существования строго специфически. Каждый вид наделен различными средствами приспособления. Средства борьбы за существование чрезвычайно разнообразны. Они не сводятся только к защитным окраскам наружных покровов. Уже факт существования того или иного вида свидетельствует о том, что он обладает достаточно действительными способами самосохранения.

По мнению Дюркена, какое бы явление или особенность мы ни рассмотрели, везде выступает недостаточность и несостоятельность дарвинизма. Для большего научного дискредитирования учения об естественном отборе Дюркен останавливается еще на выяснении вопроса о происхождении инстинкта заботы о потомстве у млекопитающих и на «рабовладельческих» отношениях в общинах муравьев. Вопрос о происхеждении различных инстинктов чрезвычайно сложный и трудный. Невозможно в отдельных случаях раскрыть пути закономерного развития и образования тех или иных инстинктивных действий. Дарвинизм, само собой разумеется, не может претендовать на достаточно удовлетворительное раз'яснение причин и путей происхождения инстинктивных явлений. Но что естественный отбор играл не менее решающую роль и в образовании инстинктов, как и в происхождении различных других особенностей животных, в этом едва ли можно сомневаться. Инстинкты—это только средства приспособления организма к среде, это сильнейшее орудие в борьбе за существование. Только те организмы выживали, которые наделены были целесообразными (относительно совершенными) инстинктивными действиями. Только те млекопитающие могли оставить после себя потомство, у которых был развит инстинкт заботы о потомстве. И из последних в острой борьбе за существование сохраняли свое потомство те, которые были наделены более сильно выраженным подобным инстинктом. Путем естественного отбора шло постепенное развитие из первоначальных слабых задатков разнообразных инстинктов.

Нам остается еще рассмотреть два последних возражения против дарвинизма. Оба они уже давно преодолены дарвинистами.

Исследования Иоганнсена и др. доказали, что отбор может только выделить из популяции (смеси различных рас) чистую уже существующую линию, но он бессилен создать новую расу. Все попытки путем отбора сместить и изменить вершину вариационного ряда в пределах выделенной чистой расы будут бесплодны. Роль отбора скромная, и она ограничивается очень узкими рамками существующих уже рас. Отбор не является тем могучим творческим фактором, каковым его считают дарвинисты. Так ли это? Опыты Иоганнсена свидетельствуют об ограниченной роли отбора, если он происходит на протяжении небольшого отрезка времени. Да, отбор несомненно ничего нового не создает. Естественный отбор только регулирует выживание приспособленных форм. Но если каждая разновидность, каждая раса представляет смесь наследственно различных линий, то спрашивается, каким же образом последние появились? Не существовали же они все изначально, не возникли же они все сразу, вдруг. Можно указать

мых—наездники—находят покровительственно окрашенных гусениц бабочки-капустницы при содействии обоняния. Обладающего защитной окраской зайца лиса отыскивает при помощи обоняния. Подобное возражение Дюркена в значительной мере основано на непонимании самых основ дарвинизма. Никто из вдумчивых его сторонников не может утверждать, что защитная окраска гарантирует безопасность животных на все 100%. Ясно, что речь может итти только об относительно полезном значении защитной окраски для ее обладателя. Если два животных—покровительственно окрашенное и обладающее бросающейся в глаза окраской—будут поставлены в одинаковые условия борьбы за жизнь, значительные преимущества будут на стороне первого. Первое будет преимущественно выживать пред вторым.

Тот факт, что во многих случаях защитная окраска вызывается прямым влиянием отраженных световых лучей, не исключает значения естественного отбора, как фактора, содействующего образованию покровительственной окраски. Только те животные имели больше шансов на выживание, клетки тела которых способны были реагировать на воздействие отраженного света образованием пигмента, соответствующего окраске места нахождения животного.

Особенно решительно отрицает Дюркен значение явления мимикрии, как доказательства теории отбора. Сходство беззащитного животного с животным, вооруженным жалом, ядом или другим средством защиты существует большей частью, по его мнению, только для наблюдателя. Но и где оно действительно существует, оно все же возникло не как средство защиты. Частично нельзя не согласиться в данном случае с возражениями Дюркена. Многие не в меру усердные не критически мыслящие дарвинисты пытаются всякое даже отдаленное сходство между животными беззащитными и защищенными истолковать как явление мимикрии. Некоторые даже находят, что глухая крапива подражает жгучей. Это, конечно, преувеличение. К числу таких искусственных примеров относятся и подвергающиеся критике со стороны Дюркена: сходство бабочек из семейства белянок с семейством геликонд, сходство насекомых (клопов, жуков) с муравьями. Отрицать же защитное значение сходства между некоторыми бабочками и осами или шершнями на том основании, что некоторые птицы уничтожают все же последних, нет достаточных оснований. Кроме птиц, существует целый ряд других врагов, в частности среди насекомых. Едва ли можно сомневаться, что против врагов-насекомых (стрекоз и др.) осы, шершни, шмели, наделенные к тому же предостерегающей окраской, хорошо защищены. На основании отдельных неудачных примеров нельзя отрицать всякую биологическую роль явления мимикрии.

Дюркен при критике значения мимикрии повторяет ту же ошибку, которую он делал многократно и раньше. Он рассуждает так. Если мимикрия—средство защиты, то оно должно спасать животное всегда, при всех условиях и от всех врагов. Если покровительственно окрашенные и мимикрирующие формы произошли путем естественного отбора, то все незащищенные окраской животные должны были быть давно уничтожены. Но так как незащищенные окраской виды существуют, то происхождение покровительственно окрашенных и мимикрирующих форм

путем отбора не было необходимым. Автор проявляет удивительную склонность к абсолютному, метафизическому мышлению, к мышлению абстрактными формулами: да, да, нет, нет. Он не хочет понять, что каждый вид приспособлен к своим условиям существования строго специфически. Каждый вид наделен различными средствами приспособления. Средства борьбы за существование чрезвычайно разнообразны. Они не сводятся только к защитным окраскам наружных покровов. Уже факт существования того или иного вида свидетельствует о том, что он обладает достаточно действительными способами самосохранения.

По мнению Дюркена, какое бы явление или особенность мы ни рассмотрели, везде выступает недостаточность и несостоятельность дарвинизма. Для большего научного дискредитирования учения об естественном отборе Дюркен останавливается еще на выяснении вопроса о происхождении инстинкта заботы о потомстве у млекопитающих и на «рабовладельческих» отношениях в общинах муравьев. Вопрос о происхеждении различных инстинктов чрезвычайно сложный и трудный. Невозможно в отдельных случаях раскрыть пути закономерного развития и образования тех или иных инстинктивных действий. Дарвинизм, само собой разумеется, не может претендовать на достаточно удовлетворительное раз'яснение причин и путей происхождения инстинктивных явлений. Но что естественный отбор играл не менее решающую роль и в образовании инстинктов, как и в происхождении различных других особенностей животных, в этом едва ли можно сомневаться. Инстинкты—это только средства приспособления организма к среде, это сильнейшее орудие в борьбе за существование. Только те организмы выживали, которые наделены были целесообразными (относительно совершенными) инстинктивными действиями. Только те млекопитающие могли оставить после себя потомство, у которых был развит инстинкт заботы о потомстве. И из последних в острой борьбе за существование сохраняли свое потомство те, которые были наделены более сильно выраженным подобным инстинктом. Путем естественного отбора шло постепенное развитие из первоначальных слабых задатков разнообразных инстинктов.

Нам остается еще рассмотреть два последних возражения против дарвинизма. Оба они уже давно преодолены дарвинистами.

Исследования Иоганнсена и др. доказали, что отбор может только выделить из популяции (смеси различных рас) чистую уже существующую линию, но он бессилен создать новую расу. Все попытки путем отбора сместить и изменить вершину вариационного ряда в пределах выделенной чистой расы будут бесплодны. Роль отбора скромная, и она ограничивается очень узкими рамками существующих уже рас. Отбор не является тем могучим творческим фактором, каковым его считают дарвинисты. Так ли это? Опыты Иоганнсена свидетельствуют об ограниченной роли отбора, если он происходит на протяжении небольшого отрезка времени. Да, отбор несомненно ничего нового не создает. Естественный отбор только регулирует выживание приспособленных форм. Но если каждая разновидность, каждая раса представляет смесь наследственно различных линий, то спрашивается, каким же образом последние появились? Не существовали же они все изначально, не возникли же они все сразу, вдруг. Можно указать

мых—наездники—находят покровительственно окрашенных гусениц бабочки-капустницы при содействии обоняния. Обладающего защитной окраской зайца лиса отыскивает при помощи обоняния. Подобное возражение Дюркена в значительной мере основано на непонимании самых основ дарвинизма. Никто из вдумчивых его сторонников не может утверждать, что защитная окраска гарантирует безопасность животных на все 100%. Ясно, что речь может итти только об относительно полезном значении защитной окраски для ее обладателя. Если два животных—покровительственно окрашенное и обладающее бросающейся в глаза окраской—будут поставлены в одинаковые условия борьбы за жизнь, значительные преимущества будут на стороне первого. Первое будет преимущественно выживать пред вторым.

Тот факт, что во многих случаях защитная окраска вызывается прямым влиянием отраженных световых лучей, не исключает значения естественного отбора, как фактора, содействующего образованию покровительственной окраски. Только те животные имели больше шансов на выживание, клетки тела которых способны были реагировать на воздействие отраженного света образованием пигмента, соответствующего окраске места нахождения животного.

Особенно решительно отрицает Дюркен значение явления мимикрии, как доказательства теории отбора. Сходство беззащитного животного с животным, вооруженным жалом, ядом или другим средством защиты существует большей частью, по его мнению, только для наблюдателя. Но и где оно действительно существует, оно все же возникло не как средство защиты. Частично нельзя не согласиться в данном случае с возражениями Дюркена. Многие не в меру усердные не критически мыслящие дарвинисты пытаются всякое даже отдаленное сходство между животными беззащитными и защищенными истолковать как явление мимикрии. Некоторые даже находят, что глухая крапива подражает жгучей. Это, конечно, преувеличение. К числу таких искусственных примеров относятся и подвергающиеся критике со стороны Дюркена: сходство бабочек из семейства белянок с семейством геликонид, сходство насекомых (клопов, жуков) с муравьями. Отрицать же защитное значение сходства между некоторыми бабочками и осами или шершнями на том основании, что некоторые птицы уничтожают все же последних, нет достаточных оснований. Кроме птиц, существует целый ряд других врагов, в частности среди насекомых. Едва ли можно сомневаться, что против врагов-насекомых (стрекоз и др.) осы, шершни, шмели, наделенные к тому же предостерегающей окраской, хорошо защищены. На основании отдельных неудачных примеров нельзя отрицать всякую биологическую роль явления мимикрии.

Дюркен при критике значения мимикрии повторяет ту же ошибку, которую он делал многократно и раньше. Он рассуждает так. Если мимикрия—средство защиты, то оно должно спасать животное всегда, при всех условиях и от всех врагов. Если покровительственно окрашенные и мимикрирующие формы произошли путем естественного отбора, то все незащищенные окраской животные должны были быть давно уничтожены. Но так как незащищенные окраской виды существуют, то происхождение покровительственно окрашенных и мимикрирующих форм

путем отбора не было необходимым. Автор проявляет удивительную склонность к абсолютному, метафизическому мышлению, к мышлению абстрактными формулами: да, да, нет, нет. Он не хочет понять, что каждый вид приспособлен к своим условиям существования строго специфически. Каждый вид наделен различными средствами приспособления. Средства борьбы за существование чрезвычайно разнообразны. Они не сводятся только к защитным окраскам наружных покровов. Уже факт существования того или иного вида свидетельствует о том, что он обладает достаточно действительными способами самосохранения.

По мнению Дюркена, какое бы явление или особенность мы ни рассмотрели, везде выступает недостаточность и несостоятельность дарвинизма. Для большего научного дискредитирования учения об естественном отборе Дюркен останавливается еще на выяснении вопроса о происхождении инстинкта заботы о потомстве у млекопитающих и на «рабовладельческих» отношениях в общинах муравьев. Вопрос о происхождении различных инстинктов чрезвычайно сложный и трудный. Невозможно в отдельных случаях раскрыть пути закономерного развития и образования тех или иных инстинктивных действий. Дарвинизм, само собой разумеется, не может претендовать на достаточно удовлетворительное раз'яснение причин и путей происхождения инстинктивных явлений. Но что естественный отбор играл не менее решающую роль и в образовании инстинктов, как и в происхождении различных других особенностей животных, в этом едва ли можно сомневаться. Инстинкты—это только средства приспособления организма к среде, это сильнейшее орудие в борьбе за существование. Только те организмы выживали, которые наделены были целесообразными (относительно совершенными) инстинктивными действиями. Только те млекопитающие могли оставить после себя потомство, у которых был развит инстинкт заботы о потомстве. И из последних в острой борьбе за существование сохраняли свое потомство те, которые были наделены более сильно выраженным подобным инстинктом. Путем естественного отбора шло постепенное развитие из первоначальных слабых задатков разнообразных инстинктов.

Нам остается еще рассмотреть два последних возражения против дарвинизма. Оба они уже давно преодолены дарвинистами.

Исследования Иоганнсена и др. доказали, что отбор может только выделить из популяции (смеси различных рас) чистую уже существующую линию, но он бессилен создать новую расу. Все попытки путем отбора сместить и изменить вершину вариационного ряда в пределах выделенной чистой расы будут бесплодны. Роль отбора скромная, и она ограничивается очень узкими рамками существующих уже рас. Отбор не является тем могучим творческим фактором, каковым его считают дарвинисты. Так ли это? Опыты Иоганнсена свидетельствуют об ограниченной роли отбора, если он происходит на протяжении небольшого отрезка времени. Да, отбор несомненно ничего нового не создает. Естественный отбор только регулирует выживание приспособленных форм. Но если каждая разновидность, каждая раса представляет смесь наследственно различных линий, то спрашивается, каким же образом последние появились? Не существовали же они все изначально, не возникли же они все сразу, вдруг. Можно указать

только два пути их образования: некоторые из них возникли путем мутации, многие же образовались посредством скрещивания. Но мутации и скрещивание продолжают и дальше оставаться формообразующими факторами. Все вновь и вновь будут возникать новые мутации, дающие новый источник для увеличения многообразия форм посредством скрещивания. Среди выделенных естественным отбором чистых разновидностей будут появляться таким путем новые формы, которые будут подхватываться естественным отбором, если будут обладать выгодными особенностями. Мутационные изменения и процессы скрещивания будут доставлять все новый материал для отбора. Изложенная точка зрения позволяет понять эволюцию органического мира.

Последнее возражение Дюркена состоит в том, что дарвинскому представлению о видообразовании путем постепенного накопления мелких уклонений, связывающих в непрерывную цепь крайние члены эволюционного ряда, противоречат палеонтологические данные. Остатки и отпечатки вымерших форм дают картину прерывистого развития, протекавшего в форме последовательных ступеней, не связанных между собою непрерывным рядом постепенных переходов. Но учение Дарвина не только не отрицает, но допускает возможность скачкообразного процесса эволюции. Геологическая летопись настолько еще не полна, в отдельных открытых палеонтологических рядах существуют настолько еще большие пробелы, что пока преждевременно делать какие-либо общие выводы. Кроме того, палеонтологии известны уже примеры развития отдельных форм в виде непрерывных рядов, члены которых связаны друг с другом незаметными переходами (таков вымерший вид улитки Planorbis multiformis).

Из приведенного нами беглого анализа выдвинутых против дарвинизма Дюркеном возражений вытекает с несомненностью тот вывод, что ему не удалось пошатнуть ни одно из принципиальных положений дарвинизма. Заключения Дюркена о том, что весь дарвинизм представляет одну большую ошибку и что его нужно сдать в архив, что он окончательно развалился по всей линии,— оказались совершенно необоснованными. Не представляло большой трудности опрокинуть выставленные против дарвинизма доводы. Почти все они вытекали из неправильного понимания существенных основ последнего. Непонимание же это основывалось на неспособности Дюркена мыслить диалектически, на его неспособности отказаться от абсолютных форм мышления. Но и сам критик, после столь решительных приговоров, в заключении своей книги вынужден признать, что отбор играет некоторую подчиненную роль в возникновении отдельных образований. Особенно же от отбора в известной мере зависит географическое распространение животных и растений. Дюркен предоставляет будущим исследователям решить, какую побочную роль в отдельных случаях играет отбор. Подобные заключительные заявления критика свидетельствуют, по моему мнению, лучше всяких доводов о несостоятельности его позиции и безнадежности новых попыток опровергнуть дарвинизм.

Итак, новая, неизвестно уже которая по счету, попытка опровержения дарвинизма окончилась полным крахом. Думаю, что это удалось мне доказать, хотя мной далеко не была развернута вся аргументация в защиту дарвинизма.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

И. П. РАЗУМОВСКИЙ. Курс теории исторического материализма. Изд. 2. Госуд. Издательство. 1927. Стр. VIII+535.

В своем «предисловии ко второму изданию» автор говорит, что им были приняты во внимание «все указания критики». Действительно, многие вопросы, неверно или недостаточно освещенные в первом издании, получили сейчас правильную, марксистскую трактовку, как это видно будет ниже из разбора отдельных глав. И тем не менее, несмотря на переработку и дополнение, в книге остались многие дефекты первого издания, лишающие ее пока что возможности стать тем «стандартизованным» учебником, в котором нуждается студенчество, изучающее исторический материализм.

Само собой разумеется, что одним учебником дело ограничиться не может. Изучающие теорию исторического материализма должны, конечно, знакомиться в определенном методическом порядке с классической литературой основоположников. Однако это не устраняет необходимости учебника, который должен играть роль «путеводителя» по классикам.

Очень часто знакомство с классиками по первоисточникам чрезвычайно затрудняется для учащегося целым рядом обстоятельств: полемический характер трудов наших учителей, разбросанность философско-социологических положений по различным трудам и т. п. Это вызывает необходимость пользоваться хрестоматийными пособиями, дающими в известном тематическом порядке соответствующие отрывки из классиков.

И в том, и в другом случае—может ли студент пользоваться первоисточниками или вынужден прибегать к хрестоматии или книге для чтения—учебник должен содержать в себе такое изложение дисциплины, которое дало бы ему возможность углублять свои познания по классикам. Из этого положения вытекает то, что учебник не должен представлять собой «курса» в смысле полного (стенографического) содержания читаемых лекций.

В «Письме в редакцию» [1]) т. Разумовский, полемизируя с автором статьи, посвященной первому изданию «Курса», т. Лупполом [2]), говорит, что автор стремился дать руководство типа французского «manuel» и немецкого «Lehrbuch». Между тем, еще в первом издании автор дал не «manuel», а «Курс», в основу коего была положена запись лекций, читанных в Саратовском государственном университете, как это видно из предисловия.

---

[1]) «Под Знаменем Марксизма» № 4, 1925.

[2]) См. И. Луппол, О новом учебнике по историческому материализму,—«П. З. М.». № 12, 1924.

В упомянутом «Письме» т. Разумовский пишет, что книга (1-е издание) «имеет ряд недостатков» и что «основным таким недостатком является большая с ж а т о с т ь и проистекающая отсюда с у х о с т ь изложения, недостаточное количество конкретных примеров и т. д.» (разбивка во всех цитатах принадлежит автору). Об'ясняет он эти недостатки боязнью «чрезмерного расширения книги».

Очевидно, эта боязнь покинула автора при переработке книги: второе издание по об'ему в д в а р а з а больше первого. Это «чрезмерное расширение» дало, правда, возможность более углубленно проработать отдельные главы—и это нужно отметить, как достижение второго издания—но, с другой стороны, оно не устранило отмеченного самим автором недостатка конкретных примеров, не выправило в достаточной мере «гелертерского» языка.

По поводу последнего автор отмечает в «Предисловии ко второму изданию» сложность задачи «упростить форму» не в ущерб «содержанию». Но задача заключается не в упрощении формы, а в таком изложении содержания, которое не отличалось бы «сухостью» и «сжатостью». Это достигается, с одной стороны, стилем, и с другой—наличием живых конкретных примеров. А их-то мало приводится, как и в первом издании, несмотря на то, что удвоенный размер книги позволял внести в этом отношении значительные улучшения. Тяжеловесно-академическим остается по прежнему стиль изложения. И хотя автор думает, что «в книгу в этом смысле внесены значительные улучшения» [1]), но последние, очевидно, н е д о с т а т о ч н о «значительны», ибо они не изменили общего характера книги в отношении ее языка.

К внешним недостаткам книги нужно отнести ее загроможденность цитатами. Этот недостаток отмечался уже критикой первого издания. И вместо того, чтобы выправить этот дефект, т. Разумовский еще больше его усугубил. Расширение книги произошло, главным образом, за счет увеличения количества цитат, занимающих добрую четверть, а то и треть книжного текста. Такое изобилие цитат грозит превратить книгу из учебника в какую-то «книгу для чтения». Между тем, как по замыслу и характеру она является, именно, учебником.

Совершенно неоспоримо, что в учебнике, тем более в учебнике по теории исторического материализма, цитаты из классиков не только уместны, но и необходимы. Однако в рецензируемой книге мы имеем их в таком изобилии, что они затемняют изложение проблем и их увязки между собой, и, децентрируя внимание читателя, мешают, таким образом, усвоению предмета. От значительного сокращения цитат дело только выиграло бы.

Нужно еще отметить, что удвоение размеров книги привело к сильному повышению ее цены (экземпляр первого издания стоил 1 р. 60 к., а второго—3 р. 80 к.). Если подсобной литературой (в том числе и классической) учащийся может и должен пользоваться в кабинете и читальне, то учебник в силу своего характера должен быть у него на руках. Между тем, стоимость книги делает ее прямо недоступной для огромнейшего большинства нашего пролетарского студенчества.

«Курс» состоит из 9 глав, разбитых вполне целесообразно на озаглавленные разделы, указателя рекомендуемой литературы и указателя имен.

Литература разработана достаточно подробно и указана применительно к каждой главе и разделу. Это большой методический плюс, оказывающий несомненную услугу нашему студенту, а подчас и препода-

[1]) Предисловие ко второму изданию.

вателю, особенно в провинциальных вузах, где в силу целого ряда об'ективных условий преподаванием исторического материализма заняты товарищи, не имеющие ни достаточной к этому подготовки, ни достаточного опыта.

Среди перечисленных, как полезных, учебных пособий следовало бы отметить еще: Адоратского «Научный коммунизм Карла Маркса», Фингерта «Основы диалектического материализма, в отрывках из произведений классиков марксизма» (в двух выпусках), Столпнера и Юшкевича «История философии в марксистском освещении» (статьи и отрывки из марксистских произведений в двух частях), наконец, этих же авторов—«История материализма в произведениях его представителей и историков» (вышли пока из печати две части I тома) [1].

Прежде, чем приступить к разбору отдельных глав, нужно сделать несколько общих замечаний.

Излагая то или иное положение марксизма и противопоставляя ему идеалистическое утверждение, автор попутно удаляется в исторические экскурсы, приводя конкретные примеры из учений идеалистических философов и давая тут же материалистическую критику их (напр., в изложении учения о причинности, детерминизме и т. п.). Так как это делается до ознакомления учащегося с содержанием данного философского направления, то упоминание исторического имени не только ничего не дает для уяснения марксистского положения и критики соответствующего идеалистического утверждения, но скорее способно затруднить это уяснение. Хотя «автор ориентировался на студента старшего курса»—читаем мы в предисловии,—но это отнюдь не должно предполагать знакомство этого студента с Аристотелем или Блаженным Августином до прохождения им глав книги, дающих исторический обзор.

В книге имеется в изобилии мелкий шрифт. Введение такового может иметь лишь одну цель: более углубленную и детальную трактовку отдельных проблем, не являющуюся, однако, обязательной для усвоения учащимся. Но это предполагает, во-первых, такое сочетание текста, чтобы он, будучи прерван мелким шрифтом, не терял своей логической увязки и стройности, дабы читатель не вынужден был для усвоения целого, усваивать также и набранное мелким шрифтом. Между тем как сплошь да рядом эта-то логическая увязка отсутствует, если выключить мелкий шрифт. Во-вторых, местами шрифт не вполне соответствует важности излагаемого вопроса.

Так, например, в главе III мелким шрифтом напечатано изложение и критика Беркли (стр. 94—95), критика Фейербаха (стр. 101), а крупным шрифтом Штраус и Бауэр (стр. 99), Бюхнер, Фогт и Молешотт (стр. 103). Разве знание марксовой критики Фейербаха [2]) менее важно для нашего студента, чем знание Штрауса и Бауэра, изложенных к тому же весьма поверхностно и отрывисто? Или Беркли менее важен (для понимания эмпириомонизма, а через него и современных философских ревизий марксизма), нежели «естествоиспытатели»? Мы думаем, что нет.

---

[1]) Мы обращаем внимание читателя на последнюю книжку, как особенно полезную, судя по появившимся двум выпускам, в качестве хрестоматийного пособия по изучению исторического подготовления диалектического материализма. Т. к. эти выпуски появились сравнительно недавно, то т. Разумовский, возможно, не успел включить их в список рекомендуемой литературы.

[2]) Кстати, нужно отметить, что первый тезис Маркса о Фейербахе здесь приведен в правильном переводе, взятом из первой книги «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». В первом издании этот тезис давался в неточном переводе Плеханова, на что было обращено внимание т. Лупполом в его статье.

В главе IV 3-й раздел, посвященный Гегелю, наполовину состоит из мелкого шрифта. Если учесть, что современная борьба на философском фронте со всякого рода «антисхоластами» и прочими «ревизорами» марксово-ленинской диалектики требует «от нас самого серьезного внимания к вопросам истории философии [1]) и, в частности, к великой исторической роли Гегеля» (из предисловия автора), то ослабление внимания учащегося к Гегелю путем набора мелким шрифтом ничем не оправдывается.

Мы ограничимся приведенными примерами для того, чтобы, не уделяя этому вопросу несоразмерно много места, указать на необходимость в дальнейших изданиях книги соблюдать больше внутренней соразмерности шрифтов, а также и вообще сократить мелкий шрифт, коим слишком изобилует второе издание.

Перейдем к содержанию книги.

Первая глава представляет собой вступление в «Курс», она излагает сущность марксизма и его составные элементы. Следующие три главы трактуют теорию диалектического материализма, включая сюда и исторический обзор его подготовления. Главы V—VII посвящены собственно теории исторического материализма. Наконец, глава VIII содержит очерк развития общественных формаций и пролетарской революции, а глава IX—очерк развития теории.

Данная автором вступительная глава весьма ценна тем, что она в отличие от многих учебников, дает читателю ясное и стройное представление о единстве и целостности марксизма, как мировоззрения, научной теории и метода. В согласии с В. И. Лениным автор различает в марксизме три составных части: 1) общие философско-методологические предпосылки—диалектический материализм; 2) экономическое учение и 3) научный коммунизм.

Отмечая, что принципы диалектического материализма проверяются путем применения их к естествознанию (диалектика природы) и распространяются на познание общественной жизни, что дает нам исторический материализм в собственном смысле этого слова, автор пишет: «Эти основные и важнейшие элементы марксизма обычно об'единяются в изложении исторического материализма, и, действительно, лишь в совокупности своей они представляют вполне законченное единство» (стр. 3).

Это совершенно правильное утверждение нам нужно тем более подчеркнуть, что существует еще и поныне путаница в названии нашей дисциплины: в некоторых вузах она преподается под названием «диалектического материализма», в других—«исторического материализма», в третьих—«основ марксизма и ленинизма»,—содержанием же всех этих курсов является теория исторического материализма. Местами даже вводится одновременно все три вышеозначенных курса [2]).

---

[1]) Это утверждение т. Разумовского нам следует иметь в виду и в дальнейшем.

[2]) Попытка «узаконить» для украинских вузов такое «разделение функций» была сделана на Всеукраинской конференции обществоведов в 1926 г. Эта попытка, однако, не имела успеха.

Тут, думается нам, будет уместно указать также и на существующую в вузах тенденцию вводить на ряду с теорией исторического материализма, политической экономией (с экономполитикой), обнимающей, само собой разумеется, и ленинское учение об империализме, и историей партии также ленинизм, как отдельный предмет преподавания. Мы считаем, что это есть нездоровое увлечение политграмотой «на высшей основе».

В курс исторического материализма должно входить (в рецензируемой нами книге это есть) и учение о классах, классовой борьбе, классовом соот-

Специальный раздел в разбираемой главе посвящен вопросу о теории исторического материализма и социологии. Более пространно и, вместе с тем, более туманно и запутанно, чем в первом издании, автор проводит тот взгляд, что «вполне законно» двоякое понимание социологии: с одной стороны, «наука об обществе—социология—может быть рассматриваема с той стороны, с какой она представляет развитие в конкретных общественных связях и отношениях ее научной теории, методологии общественного познания (стр. 16). В этом смысле марксистская социология совпадает с теорией исторического материализма, как методологии обществознания (последняя представляет собой принципы диалектического материализма в применении к познанию общественно-исторического процесса).

Но,—думает т. Разумовский,—«возможен и иной взгляд на науку с точки зрения не отправных посылок, но изложения результатов научного познания». В этом случае марксистская социология будет включать в себя, кроме методов познания и научной теории, «также и более специальные, установленные при помощи этих методов законы, а также определенные группы фактов, рассматриваемых и специальными общественными науками, но уже подвергнутых единой научной систематизации: отдельные виды производственной организации, отдельные формы семьи, права и т. п., рассматриваемые в обществе, как в некоем развивающемся целом» (стр. 16). Таково «несколько более широкое понимание» социологии.

В первом издании т. Разумовский отличал таким образом понимаемую социологию от теории исторического материализма. Он писал: «Понимаемая в этом смысле социология (речь идет о только что приведенном определении социологии. *Г. М.*) окажется несколько шире, чем теория исторического материализма, которая будет играть для социологии вышеуказанную роль нервной системы [1]).

Сейчас он и эту «широкую» социологию отождествляет с историческим материализмом.

«Теория исторического материализма, рассматриваемая уже не со стороны метода, а со стороны того материала, к которому прилагается метод («широкая» социология, *Г. М.*). раскрывается перед нами лишь в процессе генетического развития самого своего общественно-исторического материала, лишь как теория общественно-исторического процесса» (стр. 16). В этом случае учение о методе (не теория ли исторического материализма?) будет «играть роль основного ядра нервов и щупальцев».

Что же получается у т. Разумовского?

«Узкая» социология=теория исторического материализма=научная теория (методология) обществознания и учение о ее развитии—это служит «нервной системой» для «широкой» социологии=теория исторического материализма=теория общественно-исторического процесса=научная теория обществознания.

Надуманность «широкого понимания» марксистской социологии явно очевидна. Ссылка на Плеханова и Ленина не только не подтверждает, а прямо опровергает автора.

ношении (блоке), и о политических партиях, и о революциях (в том числе и пролетарской) и т. п.—вообще, все философско-социологические воззрения ленинизма. Таким образом, для ленинизма, как отдельного предмета преподавания, при наличии в учебном плане исторического материализма, политической экономии и истории партии, места не остается.

[1]) Первое издание, стр. 8.

«Социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей удается понять возникновение целей у общественного человека..., как необходимое следствие общественного процесса, обусловливаемого в последнем счете ходом экономического развития» [1]).

Философский материализм должен быть распространен и на познание общественно-исторической жизни, должен быть «достроен доверху», должен проявиться и как «материализм исторический»—приводит автор В. И. Ленина в главе V на стр. 210. И ниже, там же он выводит: «исторический материализм есть поэтому, несомненно, специфическое применение, приложение к познанию общественной жизни диалектического материализма».

Итак, и по Плеханову, и по Ленину (и по Разумовскому—местами) марксистская социология есть теория исторического материализма, которая в свою очередь есть научная теория (методология) обществознания. Только в качестве таковой социология становится, по мнению В. И. Ленина, наукой. Следовательно, нет иной социологии, как науки, кроме теории исторического материализма, понимаемой в вышеуказанном смысле.

Мы задержались на этом вопросе потому, что здесь т. Разумовский не только не выправил своей ошибки, как это им было сделано по некоторым другим вопросам, но еще больше ее усугубил.

Неудовлетворительна попрежнему и внутренняя структура части, посвященной теории диалектического материализма.

Начинается она с «основных предпосылок марксистской методологии» (глава II), несмотря на то, что автор сам признает методологию синтезом, в плоскости которого марксистской теорией познания, т.-е. диалектическим материализмом, разрешаются одновременно проблемы онтологии и гносеологии [2]).

Казалось бы, что именно в конце, после изложения материализма и диалектики, следует в качестве вывода дать методологию диалектического материализма. А у т. Разумовского она предшествует, в результате чего получается:

Во-первых, логическая невыдержанность—«снимание» методологией онтологии и гносеологии не выявляется, хотя и утверждается. Во-вторых, автор вынужден повторяться. Так, например, содержание II главы, занимающей 46 страниц, частично повторяется на нескольких страницах в главе IV, разделе 5-м (детерминизм, каузальность, монизм, об'ективизм, критерий практики). Это повторение неизбежно, если начать с методологии, что, очевидно, неверно.

На последнее обстоятельство было обращено внимание т. Лупполом [3]). Тов. Разумовский в своем упоминавшемся выше «Письме в редакцию» ничего не ответил по этому вопросу. Можно было думать, что он и здесь «разделяет в значительной мере воззрения рецензента». Этого, однако, не видно в переработанном втором издании.

Иначе обстоит дело с вопросом о «различении» диалектического материализма и материалистической диалектики (гл. III и IV). Тов. Разумовский выбросил из рецензируемого издания 11-й раздел главы III, бывший в первом издании под заглавием «Диалектический материализм и материалистическая диалектика». Этим самым—нужно с удовлетво-

---

1) Плеханов.—Основные вопросы марксизма. Цитата взята из рецензируемой книги, стр. 17.

2) См. об этом стр. 115.

3) «П. З. М» № 12, 1924, стр. 107.

рением констатировать—устранено путаное «различение», проводившееся в выпущенном разделе.

«Теория познания марксизма,—это диалектический материализм», поскольку мы берем соотношение между бытием и мышлением, как отправной пункт нашего познания. Но она есть «вместе с тем и материалистическая диалектика, если мы рассматриваем самый путь познания». Далее: «это две стороны одного и того же метода, обуславливающие одна другую и не представляющие чего-либо вполне законченного одна без другой». Последовательный материализм может быть только диалектическим, как и последовательная диалектика, должна стать материалистической. Эти утверждения (стр. 122) вполне правильно освещают проблему соотношения между материализмом и диалектикой.

Но, «преодолев» на сей раз «различение», тов. Разумовский повторяет в изложении отрыв материализма от диалектики. И не удивительно, что вышеприведенные утверждения приводятся не там, где речь идет о теории познания (гл. III, разд. 5), а в разделе 1-м главы IV, посвященном общей характеристике материалистической диалектики.

Отдельное изложение материализма и диалектики, конечно, неизбежно в педагогических целях и имеет в виду последовательную логическую интонацию то одного, то другого об'екта анализа. Но у т. Разумовского изложение материализма и диалектики сопровождается одновременно историческим обзором. В силу этого отрыв материализма от диалектики настолько усугубляется, что читатель никак не может получить стройного представления о диалектическом материализме и его историческом развитии.

Автор исходит из того положения, что «в изложении марксистской философии с исторической последовательностью нужно соединить и логическую последовательность основных философских понятий, освещая поэтому более ранние философские учения под углом зрения выявления в них важнейших моментов марксистской философии, под углом зрения исторической преемственности их основных руководящих идей» (стр. 70).

А для этого требуется, по нашему мнению, предварительное изложение основных теоретических принципов марксистской философии, под углом зрения которых можно было бы освещать более ранние философские учения, т.-е. дать обзор исторического подготовления марксистской философии. Иначе говоря, нужно изложить раньше материализм, диалектику, общую методологию диалектического материализма [1]), а потом дать исторический обзор, т.-е. показать диалектический процесс развития теории диалектического материализма [2]).

Тов. Разумовский излагает отдельно историю материализма и отдельно историю диалектики, несмотря на то, что, по его же мнению, история диалектики «прежде всего есть история развития диалектического материализма» (стр. 135).

---

[1]) См. выше по вопросу о методологических предпосылках.

[2]) Попутно нам хочется высказать следующее соображение. Следует давать в нашем курсе обзор исторического подготовления не только философских, но и социологических воззрений марксизма. В рецензируемой книге эта задача разрешена во 2-м разделе V главы и отчасти в последней главе «Очерк развития теории», как это ниже будет показано. Но нельзя ведь отрывать социологические воззрения от философских у одного и того же мыслителя, хотя бы и в историческом аспекте. Поэтому наиболее целесообразное построение курса нам представляется таким образом: раньше излагается

От этого нарушается не только историческая, но и логическая последовательность. Учащийся читает, например, о «первоогне» Гераклита, а почему именно огонь, а не вода или воздух являются «первоматерией» у него, читатель узнает лишь на три десятка страниц ниже (в следующей главе), где говорится о «всеобщем потоке».

Мы взяли наугад Гераклита. Но то же относится и к Демокриту, и к Спинозе, и к французам, и к Канту, и к Гегелю—ко всем философам, начиная от гилозоистов и кончая интуитивистами и прагматистами: нельзя излагать эти философские учения, не давая марксистской критики их (ведь нужно «выявление в них важнейших моментов марксистской философии»); а последняя невозможна без диалектики, с которой читатель знакомится лишь в следующей главе.

Как, в самом деле, будешь критиковать без знания диалектики (предположительно, еще отсутствующего) механический материализм XVII и XVIII веков, «непознаваемость» Кантова ноумена, Гегелевский «разум» и «полезность» Джемса. Тут либо обойдешься без критики и тогда не будет никакого «выявления», либо дашь критику с точки зрения материалистической диалектики. Но эта критика будет слабо воспринята учащимся, поскольку он не знаком еще с диалектикой.

И то и другое имеет место в книге т. Разумовского. И это ее существенный недостаток.

Отметим еще некоторые погрешности, вытекающие из неправильного построения разбираемой части курса.

Во II главе, как уже отмечено выше, говорится о методологических предпосылках. Глава начинается с обстоятельного изложения проблемы опыта, как источника познания. В этом разделе говорится также об об'ективизме и суб'ективизме, что в иной форме повторяется в III главе, где речь идет о материализме и идеализме. В сопоставлении с об'ективизмом дается критика фатализма и «чистого» об'ективизма.

Получается некоторая неувязка: с одной стороны, критикуется фатализм до изложения материалистического детерминизма, о котором в дальнейшем говорится два раза—в следующем разделе и в следующей главе. С другой—«чистый» об'ективизм опровергается диалектическим материализмом, излагаемым в следующих главах.

Автор пишет: «В марксизме находят свое диалектическое «примирение», а вместе с тем и свое «отрицание», обе односторонности—фаталистический об'ективизм и суб'ективизм—о б е н а п о ч в е п о с л е д о в а т е л ь н о г о о б'е к т и в и з м а, диалектического материализма» (стр. 33). Но этой почвы, на которой происходит «примирение», читатель еще не знает, вследствие чего оно для него в высшей степени туманно.

Проблема причинности и случайности изложена во 2-м разделе подробно и ясно, как и весь этот раздел. Ошибки, имевшие место в первом издании, исправлены. Цитатами из Энгельса, главным образом из «Диалектики природы», автор раз'ясняет марксистское понимание причинности. Очень удачным следует считать комментарии к энгель-

---

теория (диалектический и исторический материализм), затем дается история теории и, наконец, в виде 3-й части курса—буржуазно-ревизионистская критика теории и ее антикритика. Это дало бы, кстати, возможность уделить в курсе более серьезное внимание вопросам истории философии, о чем автор пишет в предисловии к рецензируемой книге.

Нужно, правда, заметить, что в вузах, где в учебном плане отведено небольшое количество часов для исторического материализма, проведение таким образом построенного курса представляет технические трудности и в них предпочтительнее общепринятая схема построения курса.

совой цитате из «Диалектики природы»: «Чтобы понять отдельные явления, мы должны вырвать их из всеобщей связи и рассматривать их изолированным образом, а в таком случае изменяющиеся движения являются перед нами—одно как причина, другое как действие».

Попытка буржуазной философии подменить причинную связь функциональною, находит должный отпор у автора. Это тем более нужно отметить, что в первом издании сам автор относился «терпимо» к такому толкованию причинности.

Ясно и правильно изложен также марксистский взгляд на случайность. Оспаривая «стремление научной философии вовсе покончить со случайностью», автор замечает: «Правильное понимание каузальности и детерминизма поэтому вовсе не изгоняет понятия «случайности», которое остается правомерным в определенных пределах» (стр. 48). Случайность включена в причинную связь явлений как природных, так и общественных. Последнее автор подтверждает известной цитатой из письма Маркса к Кугельману от 17 апреля 1871 г. (о роли случайности в истории).

Содержание 3-го раздела разбираемой главы (рациональная переработка опыта) была бы более уместна в разделе, трактующем марксистскую теорию познания. Там следовало указать, как диалектический материализм разрешает гносеологический спор между сенсуализмом и рационализмом. Но этого там нет, к сожалению.

Наконец, чтоб покончить с главой, заметим еще, что этот последний раздел чрезмерно растянут, что неблагоприятно отражается на ясности изложения.

По поводу следующих двух глав, излагающих материализм и диалектику, мы сделаем несколько отдельных замечаний в добавление к вышеприведенным общим соображениям.

Говоря о двух основных направлениях в философии, автор не останавливается на отличиях об'ективного идеализма от суб'ективного и разновидностях последнего (соллипсизм, агностицизм). Поэтому следующая дальше критика Беркли, Юма, Канта и др. недостаточно четко воспринимается читателем. Подчеркнутое отличение суб'ективного идеализма от об'ективного яснее подтвердило бы проводимую на стр. 75 мысль о близости между последовательным, об'ективным идеализмом и материализмом.

Отметим тут, кстати, одно неверное утверждение: «последовательный, об'ективный идеализм неминуемо приводит великих философов-идеалистов к пантеизму» (стр. 75).

Этак ведь и Гегеля и Платона в пантеисты записать придется!

Излагая материалистическое учение о восприятиях внешнего мира, автор пишет:

«Мир оказывается мрачным и однообразным, сводится к различным формам непрерывного и вечного движения: и удивительно ли, что наше сознание, которое *только одно способно* (здесь курсив наш. *Г. М.*) населить его красками, звуками, запахами и пр., что оно представляется человеку *творящим* мир, вносящим в него жизнь, стройность, красоту, порядок некоторое разумное начало».

Мысль выражена несовсем удачно. Если мир красок, звуков и т. д. есть результат нашего сознания, то последнее и есть творец мира — так не только «представляется человеку», но так будет воспринято учащимся, к нашему—с т. Разумовским—неудовольствию.

Очень хорошо подчеркнуто автором правильное отношение к философскому идеализму, который нельзя рассматривать, как одну только

философскую «поповщину». В подтверждение этой мысли приводится великолепная цитата из Ленина («К вопросу о диалектике»), который характеризует идеализм, между прочим, как «пустоцвет, растущий на живом дереве живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, об'ективного, абсолютного человеческого познания».

В разделе о «теории познания», предшествующем главе о диалектике, сплошь и рядом говорится о последней (трудно оторвать, как это сделал т. Разумовский в изложении, теорию познания от диалектики, которая и есть, по Ленину, теория познания марксизма). На эту методическую погрешность мы уже указывали выше. Здесь можно ее подтвердить еще на примере с релятивизмом, критику которого автор вынужден дать с точки зрения неизложенной еще диалектики, без которой непонятна исторически обусловленная предельность приближения наших знаний к абсолютной истине.

Последний раздел третьей главы («Марксизм в борьбе с другими теоретико-познавательными течениями») следовало бы даже при сохранении неправильной архитектоники этой части книги, перенести на конец следующей главы («материалистическая диалектика»).

Последняя, несомненно, наиболее богатая по своему содержанию. Автор широко и хорошо использовал для выяснения категорий диалектики Энгельса и Ленина. Заслуживает быть отмеченным и то положительное обстоятельство, что целый раздел посвящен диалектике Гегеля, что приобретает сугубо важное значение пред лицом современного механистического ревизионизма «антигегельянской» («анти-Деборинской» — тоже) школы.

Хорошо об'ясняет автор обратный переход качества в количество. Цитируя Энгельса [1]) по вопросу о взаимодействии качества и количества, автор пишет:

«Когда в развитии предмета мы достигаем «узлового пункта», определяющего то или иное его качество, то именно *развитие, углубление, закрепление этого качества являются неизбежным для дальнейшего количественного роста*».

Ни в одном учебнике по историческому материализму, кроме рецензируемого, мы не имеем более или менее толкового раз'яснения обратного перехода качества в количество, который, обычно, просто утверждается.

Как методическую погрешность этой главы, вытекающую все из того же «первородного» структурного греха, нужно отметить следующее.

Категории диалектики определяются в двух разделах — до и после исторического обзора. В первом случае выясняется четыре «основных положения» диалектики: постоянство движения, всеобщность связи, переход количества в качество и конкретность истины. Во втором говорится о трех «основных законах» диалектики: переход количества в качество и обратно, развитие в противоречиях («взаимное проникновение противоположностей») и отрицание отрицания.

Этот перерыв в изложении основных категорий диалектики нарушает стройность их раз'яснения и затрудняет усвоение диалектического развития этих категорий. Лучше было бы об'единить изложение диалектики в первом разделе, предшествующем историческому обзору.

Вопрос о триаде, упоминаемой впервые попутно при изложении александрийской школы неоплатоников, освещается в изложении гегелевской диалектики и в разделе «Диалектика природы».

---

[1]) «Диалектика природы», стр. 145.

Утверждая, что «закон» отрицание отрицания «свойственен развитию вообще, составляя его неот'емлемую особенность, и лишь иначе выражает—как и закон количеств и качеств—тот же ход развития», автор замечает:

«Однако самое усложняющееся развитие природы и общества ведет к тому, что этапы «триады» в сложных явлениях расчленяются и обособляются один от другого, почему мы и начинаем ею характеризовать особо сложные случаи развития» (стр. 193).

Выясняя триаду, как частный случай отрицания отрицания, автор, однако, не дает здесь—этого нет и в другом месте—критики «критических» попыток трактовать гегелевскую триаду, как универсальный закон диалектики. А это тем более важно, что в целом ряде учебников по историческому материализму диалектика излагается так, что от нее подчас в голове учащегося остается одна только «триада» (незнание «на высшей основе»).

Главу о материалистической диалектике завершает раздел, посвященный диалектической и формальной логике. Мы тут имеем частичное повторение того, о чем уже говорилось в третьем разделе II главы—об абстракции и анализе. Между тем, как основные законы формальной логики не даны, что является недостатком. Раздел, довольно сложный по содержанию, изложен весьма тяжелым языком.

Несколько замечаний нам остается сделать еще по поводу историко-философской части. При данной структуре курса она изложена в достаточной мере полно. Ее общим недостатком является то, что автор не везде увязывает возникновение философского направления с социально-экономической обстановкой эпохи. Местами не выведена ясно логическая преемственность между различными философскими учениями. Эти моменты следовало бы подробнее осветить.

Хороша страница (83), посвященная Спинозе [1]), хотя несколько чрезмерно автор подчеркивает его пантеизм.

Напрасно автор повторяет в рецензируемом издании свое утверждение о Дидро, как «менее оригинальном в своих положениях философе, подвергшееся уже критике т. Луппола. Ведь у него (Дидро) «мы находим столь близкие к диалектическому материализму мысли» (стр. 91), что опровергает вышеприведенное утверждение. Автор указывает—в отличие от первого издания—на переход Дидро от деизма к атеизму.

Мы так долго останавливались на первой части «Курса», ибо она вызывает больше всего возражений, главным образом, методического порядка, как это видно из вышеизложенного. Нам остается сейчас остановиться вкратце на второй части, посвященной материалистическому пониманию истории.

Первое, на что здесь нужно указать—это еще более чрезмерное, чем в первой части, нагромождение цитат, занимающих местами свыше половины текста, частые повторения одних и тех же положений—это создает невероятную растянутость изложения и, несомненно, затрудняет усвоение.

В главе «Экономический базис общественной жизни» автор излагает сущность материалистического понимания истории. Глава начинается с раз'яснения отправных предпосылок, знакомя читателя попутно и весьма бегло с учением о производительных силах и производственных отношениях. Затем дается анализ общественного процесса, кото-

[1]) В виду современных попыток пересмотра марксистской оценки спинозизма, на учение последнего следует обратить достаточное внимание учащихся.

рому предшествует краткий критический обзор исторических и социологических теорий, начиная от Геродота и кончая Максом Вебером. Этот обзор занимает, кстати сказать, всего около 9 страниц мелкого шрифта, так что от него навряд ли что остается в голове у учащегося, тем более, что критика предшествует изложению марксовой теории общества.

Автор правильно подходит к вопросу об обществе с точки зрения его исторических формаций, последние же он рассматривает, исходя из производственных отношений.

«Марксистское определение «общества вообще» поэтому представляет собой вывод из учения, из об'ективного—анализа целого ряда общественных форм» (стр. 233). А основным признаком всякой общественной формы «остаются сами меняющиеся и развивающиеся производственные отношения, та или иная, **некоторая**, их совокупность» (стр. 236).

Поэтому и было бы методологически более правильно, если бы автор начал анализ общественного процесса не с общества и его формации, а с процесса труда («развитие общества есть развитие общественного труда», говорит автор на стр. 264), с производительных сил и производственных отношений. Между тем, учение о них излагается лишь в следующих разделах.

Хорошо раз'яснена сущность категорий производительных сил. Особенно ценными являются указания автора на историческое развитие орудий труда (стр. 244) и зависящую от этого обусловленность роли рабочей силы человека, как важнейшей производительной силы (стр. 248). В большинстве учебников эти моменты опущены. То же относится и к выяснению диалектической взаимозависимости между производством и потреблением (стр. 257).

Сомнительной ценности нам кажется попытка автора (лишь один раз, правда, встречающаяся) трактовать производственные отношения не только как отношения людей друг к другу (в процессе производства), но и как «отношения людей к преобразуемой ими природе, средствам производства» (стр. 253). Несколько выше автор приводит известную цитату Маркса из предисловия «К критике политической экономии», из которой ясно, что отношения людей к природе заключаются в их воздействии на нее (производство), которое имеет место через посредство их отношений друг к другу. **Последние** же Маркс—и вместе с ним все классики марксизма—называет производственными отношениями.

«Новшество» т. Разумовского в этом вопросе совершенно излишне.

Полнее и лучше, чем в первом издании, изложена диалектика производительных сил и производственных отношений в разделе «общая схема социального развития» [1]). На примере первобытной и антагонистических общественных формаций показано их «отождествление в «различении» и «различение» в «отождествлении».

Неправильно, по нашему мнению, сделал автор, отнесши разделы, дающие критику теории факторов [2]) и трактующие вопросы о взаимоотношении «базиса» и «надстроек» и роли личности в истории, на конец седьмой главы («общественное бытие и общественное сознание»). Эти моменты (в том числе и критика теории факторов и суб'ективной

---

[1]) В указателе литературы для преподавателей следовало бы упомянуть книжку Н. Перлина «Исторический материализм, опыт методологического построения» (Госизд. Украины), в которой хорошо разработана проблема диалектики произв. сил и производ. отношений.

[2]) Нужно отметить, как положительный момент, что в этих разделах дается также критика фрейдизма в социологии.

школы в социологии) должны быть в изложении выведены непосредственно из учения о производительных силах и производственных отношениях. На разборе же отдельных конкретных «надстроек» нужно их проверять, подвергая их одновременно более углубленной проработке.

Учение о классах и государстве изложено в шестой главе.

Основным дефектом этой главы мы считаем изложение учения о государстве не после, а до раздела, посвященного развитию и борьбе классов. Вследствие этого автор вынужден повторяться, дабы не устранить специфического характера государства, как аппарата классового насилия, вырастающего на почве классовой дифференциации общества.

Второй недостаток заключается в том, что вопросы теории пролетарской революции освещены детально лишь в отдельной главе, посвященной обзору развития общественных формаций. Вот почему в главе о классах и государстве отсутствуют анализ классовой структуры советского общества, учение Ленина о рабоче-крестьянском блоке, о строительстве партии, ее взаимоотношениях с пролетариатом и взаимоотношениях последнего с трудящимися массами, о роли партийных вождей (о последнем трудно было, конечно, автору писать, поскольку роль личности в истории выясняется лишь в следующей главе), об увязке национального вопроса с проблемой «смычки», наконец, о революции и о восстании, как «скачке» от непосредственно-революционной ситуации к революции (проблема восстания вообще не освещена). Все эти вопросы методологически правильнее увязывать с учением о классах и государстве, а не выделять в специальный раздел [1]).

Хорошо проработана глава о формах общественного сознания и их классовой сущности, особенно раздел о праве. В последнем автор, между прочим, выясняет роль сословия, как оболочки класса, о чем было бы более уместно говорить в разделе о классах.

В отличие от первого издания автор дает сейчас более правильное определение идеологии. Нельзя видеть, пишет автор, «в идеологических формах одни лишь иллюзии нашего сознания, голые абстракции, не имеющие реальных корней в исторической действительности», ибо «эти формы существуют не сами по себе, но как идеологические *формы*, как *формы проявления реального экономического содержания*» (стр. 341).

Автор подчеркивает диалектическое единство идеологической формы и материального содержания и приходит к выводу, что «идеология *отрицается* и в то же время *сохраняется* в марксизме» (стр. 353), поскольку мы ее «преодолеваем», как «чистую», «самостоятельную» идеологию.

Обстоятельный раздел посвящен высшим формам идеологии. Устранено недоразумение, вытекавшее из формулировки, имевшейся в первом издание по вопросу о «смене» религии философии, подчеркнута необходимость партийной точки зрения в философии.

Предостерегая против вульгаризаторских попыток «об'яснять» данное философское учение «*непосредственно* из материальных условий производства» (стр. 390), автор на следующей странице сам грешит несколько по этой части, утверждая, например, что «Декарт, рассматривавший животных, как живые механизмы, стоит на точке зрения мануфактурного периода». Это место следовало бы больше развить и, пожалуй, перенести в историко-философскую часть.

---

[1]) У автора это очевидно вытекает из его «широкого» понимания социологии, на что было указано т. Лупполом в критике первого издания книги.

Говоря о пролетарском искусстве, автор недостаточно останавливается на этом вопросе, имеющем несомненный интерес в связи с его спорными моментами.

Главу VIII, посвященную отдельному историческому обзору экономических форм, мы считаем излишней в учебнике по теории исторического материализма (о теории пролетарской революции, изложенной в этой главе, мы говорили уже выше).

Ценной мы считаем дополнительную главу IX «очерк развития теории». В ней дается обзор учений предтеч Маркса и Энгельса и их последователей. Целесообразно включено также и учение Дицгена, которое, непонятно по каким причинам, изложено после Каутского и других ревизионистов: ведь противопоставление рабочего Дицгена мелкобуржуазным теоретикам ревизионизма не потеряло бы своей логичности от сохранения исторической последовательности.

Книгу завершает раздел, посвященный истории марксизма в России. В нем хорошо выяснены роли Плеханова и, особенно, Ленина в борьбе за торжество марксизма и его методологии. «Курс» заканчивается образным освещением Ленина, в лице которого развитие человеческого общества достигает одной из своих наиболее ярких вершин—наивысшей для переживаемой нами современности» (стр. 524).

Разбирая отдельные главы и разделы книги т. Разумовского, мы старались проследить те достижения, которыми она выгодно отличается не только от других учебников по историческому материализму, но и от ее первого издания, равно как и считали нужным остановиться на методологических и методических погрешностях, имеющихся в ней еще в достаточном количестве.

Мы уверены, что рецензируемая книга будет широко использована нашей учащейся молодежью. Тем более автору придется, подготовляя книгу к третьему изданию, вновь переработать ее, на сей раз не дополняя, а—наоборот—сокращая ее и, само собой разумеется, выправляя те дефекты, выяснение которых имела своей задачей настоящая статья.

Г. Маренко.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПОВОДУ КНИГИ В. Г. ФРИДМАНА «ВОЗМОЖНО ЛИ ДВИЖЕНИЕ» [1]) В СВЯЗИ С АПОРИЕЙ ЗЕНОНА «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА».

Мои замечания, не имеющие характера рецензии, касаются самого центрального вопроса этой книги—попыток автора, как он сам говорит, «диалектически разрешить» апории Зенона и в особенности его знаменитый парадокс «Ахиллес и черепаха». Эта попытка, как я хочу показать здесь, отнюдь не имеет в себе ничего диалектического. И наоборот, самым скверным образом запутывается в тенетах формально-логических противоречий.

Апория «Ахиллес и черепаха» покоится на предположении непрерывности пространства, времени и движения. Именно это одностороннее предположение и приводит к формальному противоречию.

Ахиллес никогда не может догнать черепахи. Когда он приходит на то место, в котором была черепаха—она з а э т о в р е м я продвигается на некоторое расстояние вперед. Скорость и расстояние безразличны. С какой бы скоростью не двигался Ахиллес, догоняя черепаху, перед ним

[1]) Изд. «Прибой». Ленинград.

всегда стоит задача непрерывного бесконечного деления предстоящего пути, времени и движения. И это деление никогда не может быть завершенным.

Если, например, предположить, что скорость Ахиллеса в «n» раз больше скорости черепахи, а последняя в начале состязания находится от Ахиллеса на расстоянии к, мы имеем ряд:

$$к + \frac{к}{n} + \frac{к}{n^2} + \frac{к}{n^3} + \dots\dots$$

Каждый член этого ряда показывает, на каком расстоянии для данного времени, находится черепаха, а сумма всех предшествующих членов дает расстояние, пройденное Ахиллесом. Путь, пройденный Ахиллесом, никогда не может оказаться равным пути, пройденному черепахой. Синтез этого ряда никогда не может быть заключен, так как этот ряд не имеет последнего члена.

Было бы тщетно об'яснить эту апорию путем суммирования членов ряда по правилу бесконечной геометрической прогрессии. Это суммирование покоится на способе пределов, а последний таит в себе как раз те же противоречия, которые своими апориями вскрыл Зенон. Точно так же неудовлетворительны и другие многочисленные попытки разрешений апорий Зенона. Все они или приводят к ложному кругу, или, как, например, попытки современных формальных логиков, сторонников актуально-бесконечного, покоятся на сходных других еще более уязвимых противоречиях.

Апории Зенона, как правильно говорит Гегель, заслуживают более основательного рассмотрения, чем то, какое дается обычным об'яснением, провозглашающим их за «софизмы»,—они делают «величайшую честь разуму их изобретателя» и они «бесконечно остроумнее и глубже», чем Кантовы антиномии [1]).

Наш автор тоже считает, что разрешение этих «софизмов» имеет чрезвычайно важное значение. Они, как он полагает, оказали неблагоприятное влияние на развитие науки, укрепляли позиции идеализма и прямо, можно сказать, вызвали «порчу» математической мысли.

«Эти софизмы как читатель убедится из чтения моей книги, оказали огромное влияние на развитие древне-греческой математики, изгнав из нее понятие движения и понятие о бесконечно малой величине, что содействовало отрыву математики от жизни, лишало ее динамичности; а в итоге, до самого последнего времени, даже наши школьники чувствуют отголоски этой идеалистической **порчи** математики, произведенной (во многом) из-за софизмов Зенона. Кроме того, эти софизмы долгое время служили тем оружием, которое должно было, вмешавшись в вековечный спор между идеализмом и материализмом, решить дело в пользу идеализма» [2]) (курсив автора).

Вот почему так важно, по мнению В. Г. Фридмана, их опровергнуть, если мы хотим опровергнуть идеалистов [3]). Как скромно сознается автор—он делает самостоятельную попытку в разрешении этого многовекового спора.

«Обращаем внимание читателя на то, что все дальнейшее изложение (гл. гл. V и VI. *Г. Д.*) представляет нашу собственную и, думается нам, не лишенную некоторого интереса попытку разрешить софизмы Зе-

---

[1]) Гегель, Наука логики, пер. Дебольского, первая книга, стр. 122.
[2]) В. Г. Фридман, стр. 6.
[3]) Там же. стр. 78.

нона, пользуясь методом диалектического материализма,—методом, единственно могущим, по нашему глубокому убеждению, вполне удовлетворительно и правильно решить этот многовековый вопрос»[1]). И вообще вся книга, по мнению автора, «должна показать пример применения метода диалектического материализма».

Посмотрим же, в чем состоит это самостоятельное «разрешение» «софизмов» Зенона и каковы в действительности эти примеры сугубого применения диалектического метода?!

Если извлечь собственную мыслишку автора из-под всякой мишуры и совершенно ненужных разглагольствований (им посвящены более 3/4 всей книжки) о боге, Платоне, Эпикуре и Сексте, эмпирике, о номинализме и реализме, о неоплатонизме, о простых и сложных процентах, о Соловьеве и братьях Трубецких и пр. и пр., то она сведется к следующему положению.

Зенон, по мнению нашего автора, ошибся потому, что предположил непрерывность и бесконечную делимость пространства, времени и движения. Если бы он исходил из представления о дискретной структуре этих основных форм материи, он не пришел бы к софистическим утверждениям. И квантовая теория и радиоактивные процессы и поглощение света, все это, по мнению автора, убеждает нас в том, что существует предел делимости этих форм, что существуют атомы времени, пространства и движения.

«В настоящее время наука приходит уже к тому очень вероятному заключению, что существуют даже атомы времени, то-есть что время течет не непрерывным потоком, а дробно, с промежутками, когда никакого течения времени нет («пустота между атомами времени»)[2]). (Курсив автора. *Г. Д.*). То же самое нужно сказать и относительно пространства. Существует предел делимости продвижения, что если тело находится в каком-нибудь месте пространства, то оно или будет пребывать в нем в покое, или же уйдет от этого пункта не меньше, чем на какое-нибудь минимальное расстояние,—на атом расстояния»[3]). (Курсив автора. *Г. Д.*). Поэтому, умозаключает наш автор, следует предположить, что не существует ни мгновений времени, ни точек пространства». Отсюда, между прочим, вытекает, что не существует так называемых мгновений (моментов) времени (точек времени)[3]).

Такова гипотеза нашего автора.

Не надо никакого углубленного рассмотрения, чтобы заметить те противоречия, на которые наталкивается это предположение. В самом деле, что это за атомы пространства, времени и движения и какой смысл имеют «пустые» (?!) промежутки между ними?

Гипотетические атомы нашего автора, очевидно, не могут иметь непрерывного строения, это противоречит их природе. В противном случае—они сами состояли бы из атомов, и к ним, к каждому в отдельности, были бы применимы все те аргументы, которые выставил Зенон. Но в таком случае, чем же отличаются эти атомы от «пустых промежутков»—свободных от времени и пространства?

Это отличие не может, очевидно, состоять в том, что одни из них, а именно атомы, неделимы, а пустые промежутки делимы и непрерывны. Такое предположение противоречит природе пустоты. (Если она была непрерывна, она не могла бы быть пустотою, а состояла из временных

---

1) Там же, стр. 148.
2) Там же, стр. 163.
3) Там же, стр. 16?.

и пространственных протяженных частей). Единственное отличие, стало быть, состоит в том, что эти атомы обладают пространственной и временной, хотя и неделимой, протяженностью, а пустые промежутки ею не обладают. Но если это так, то эти пустые промежутки уже не могут быть промежутками, так как они ничем не отличаются от точек пространства и мгновений времени?! Таким образом—эти гипотетические атомы пространства и времени не могут быть разделены друг от друга пустыми промежутками—они непосредственно должны соприкасаться друг с другом. Их границы—точки и моменты.

Неделимость атома пространственного и временного протяжения не может означать ничего другого, как только то, что начальная точка (момент) атомного протяжения или длительности совпадает с его конечной точкой. Иными словами, если мы имеем в виду пространственное протяжение, не надо тратить времени на прохождение атомного расстояния—мы непосредственно из его начальной точки перескакиваем в конечную.

В результате и эти атомы пространства и времени, по своим свойствам, ничем не отличаются от «пустых промежутков», а также от точек и мгновений. Чем другим могут характеризоваться точки и мгновения, как не тем, что в них совпадает начало и конец протяжения и длительности.

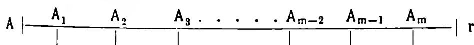
Перейдем теперь непосредственно к апории Зенона. Какую же помощь может оказать, по мнению автора, дискретная структура времени и пространства для разрешения апории?

Ахиллес в своем движении за черепахой доходит до такого минимальнейшего расстояния и времени, которое дальше не поддается делению. Он больше не тратит времени и энергии на прохождение, он дальше не занимается «делением» пространства, а сразу из начального пункта этого атома перескакивает в его конечный пункт, в то место, где находится черепаха [1]).

«Ахиллес,—говорит наш автор,—догонит черепаху, так как последнее его продвижение произойдет «единым и неделимым актом». Но эта неделимость не имеет ничего общего с бергсоновским запрещением делить какое бы то ни было движение; эта неделимость выражает лишь то, что для всякого живого организма существует минимум продвижения [2]).

Так «разрешается» В. Г. Фридманом знаменитая апория Зенона.

Нетрудно, однако, показать всю мнимость, вздорность и формальность этого «разрешения».



Вот перед нами пространственный ряд, состоящий из атомов пространственного протяжения. A—это начальное положение Ахиллеса, r—это пункт финиша,—пункт, где Ахиллес догоняет черепаху. A_1, A_2, A_3, A_{m-1}, A_m—различные положения Ахиллеса и в то же время границы атомов пространства.

В пункте A_m—Ахиллес отделяется от черепахи только одним атомом. По нашему условию, эта точка должна совпадать с точкой r—местонахождением черепахи (иначе, какой смысл имело бы утверждение о неделимости пространственного атома). Следовательно, Ахиллес до-

---

[1]) Для простоты рассуждений мы нарочно изолировались сейчас от «пустых промежутков» между атомами. Не обладая свойством непрерывности, они фигурируют на положении точек и мгновений и поэтому ни в чем не могут изменить наших рассуждений.

[2]) Там же, стр. 176.

гонит черепаху не в пункте г, а уже в пункте Am. Но то же самое можно сказать и относительно пункта Am—1, Am—2, Am—3, и т. д. Словом, уже в пункте А, когда Ахиллес еще не начинал состязания, он уже, оказывается, его кончил, он уже догнал черепаху.

Если Зеноновская апория приводит нас к выводу, что Ахиллес никогда не может догнать черепаху, то эти рассуждения приводят к обратному результату—Ахиллес всегда догоняет черепаху даже тогда, когда он не двигается с места. Зеноновская апория основана на предположении непрерывности пространства времени и движения,—наши же рассуждения основаны на предположении их дискретности. То и другое предположение в силу своей односторонности приводит к формальным противоречиям.

Мы имеем здесь любопытный пример удвоения парадокса. На ряду с апорией Зенона «Ахиллес никогда не догонит черепахи» также правомерна и другая апория «Ахиллес всегда догонит черепаху» (даже когда он не начинает двигаться). Это удвоение не случайно и свойственно не только этой апории. Такое удвоение происходит всегда, когда из живого деятельного единства абстрагируются и изолируются моменты, которые имеют значение только в связи с движением целого.

В. Г. Фридману, хотевшему непрерывное свести к дискретному, незачем было обращаться за аналогиями к совеременной физике, к квантовой теории, к затуханию колебательного движения и другим, как он, почему-то называет, «элейским процессам». Если бы он повнимательнее познакомился с другими апориями Зенона, он нашел бы пример, вполне соответствующий его предположению о дискретном характере количества, времени и пространства. Разница лишь в том, что великий элеец был диалектиком и не боялся последовательных выводов из своих положений. Наш же автор, несмотря на то, что на каждой странице своей книжки божится и клянется диалектическим материализмом, на деле не выходит из-за формально-логических границ.

Указывая на другие апории Зенона, мы имеем прежде всего в виду его «удвоенный» парадокс «против множественности вещей», который, в сущности, покоится на тех же принципах противопоставления—непрерывного и единого, дискретному и множественному. Вот как гласит этот парадокс:

«Доказательств против множественности вещей в тесном смысле слова дошло до нас два. Это—так называемые первая и вторая антиномии. Первая антиномия сводится к следующему. Если допустить существование многих вещей, то окажется, что 1) они вовсе не имеют величины (тезис) и 2) они бесконечны по величине (антитезис). Первая антиномия учит, что вещи, если их много, по занимаемому ими пространственному протяжению равны одновременно и 0 и ∞ («и бесконечно малы и бесконечно велики» не вполне точно передают большинство историков). Аргументирует Зенон следующим образом. Тезис: множества вещей не было бы, если бы каждая вещь не была единицей, так как множество есть не что иное, как совокупность единиц. Однако истинной единицы в мире не существует. В самом деле, что такое единица? Истинная единица есть то, что неделимо. Если единица неделима, то она есть точка, которая, будучи прилагаема, не увеличивает и, будучи отнимаема, не уменьшает, то-есть она не имеет величины. А то, что не имеет вовсе величины, плотности и об'ема, есть ничто. Антитезис: Каждая из множества существующих вещей имеет определенную величину и расстояние от другой вещи. То же самое придется сказать и о всякой другой вещи, лежащей перед предыдущей. Какую бы

вещь мы ни брали, она не будет последней, так как в понятие вещи включена необходимость отстояния от другой вещи. В каком бы направлении мы ни двигались, указанное свойство вещей будет повторяться до бесконечности и таким образом никогда мы не сможем дойти до предела, за которым более не было бы вещей (это невозможно в силу неот'емлемого свойства вещей, логически неразрывно связанного с их множественностью). Итак, вещей бесконечное число (ибо нет последней вещи), а вследствие того, что каждая из них отстоит от другой на некотором расстоянии, они должны занимать бесконечное пространство»[1]).

Если провести сравнение «Ахиллеса» с этой «удвоенной» апорией, то тезису последней соответствует в Ахиллесе наше рассуждение, исходящее из представления о дискретной структуре времени и пространства, а антитезису соответствует формулировка самого Зенона, исходящая из представления непрерывности. Это аналогия не внешнего, а внутреннего порядка. В сущности, и там и тут мы имеем одну и ту же апорию, с тем лишь различием, что апория «против множественности вещей» представляет более общую формулировку противоречий всякого количества, не осложненную пространством, временем и движением. Можно повести дальше параллели между этими апориями и показать, что зеноновский «Ахиллес» приводит к противоречиям бесконечно большого, бесконечного непрерывного деления и движения, а наши рассуждения (апория-bis) приводят к противоречиям нулевого и бесконечного малого.

Таким образом, мы видим, что сам Зенон показал прекрасные примеры умения владеть оружием отрицательной диалектики. Нашему автору следовало бы получше вдуматься в апории великого элейца, он не пустился бы тогда в рискованные односторонние утверждения о дискретной структуре времени и пространства. Но, если наш автор далек от понимания отрицательной диалектики элейца (он всецело и безнадежно замерз на формальной односторонности), то тем более он далек от понимания положительной диалектики.

Можно, напр., уверенно сказать, что наш автор или совсем не удосужился просмотреть сочинения Гегеля, или, если и читал их, то не иначе, как на манер гоголевского Петрушки. Гегель для него остался только идеалистом и больше ничего. Он не устает подчеркивать в своей книжке, что Гегель строил свою философию в противоречии с опытом[2]), что он рассуждал, не сообразуясь с научными данными, что он учил о «развитии какого-то универсального понятия»[3]) и пр. и пр.

Правильно, конечно, что марксизм, в философском отношении,—это перевернутое гегельянство, гегельянство, поставленное на ноги. Но не надо забывать и того, что всякое перевернутое имеет сходство, родственную связь, а иногда тождественно с тем, что подвергается переворачиванию. Вот это-то и упустил В. Г. Фридман.

Поэтому, когда он касается (мельком и только в одной строчке) взглядов Гегеля на движение—он ставит его на одну доску вместе с элейцами и такими идеалистами, как Джемс и Бергсон. «Но, ведь, мышление Зенона стало в противоречие с бытием: мышление Зенона, логически (с точки зрения формальной логики) вполне правильное, говорит, что движение невозможно, бытие же очень наглядно показывает нам это движение реально происходящим. Тем хуже для бытия, говорили элейцы; на этой же позиции стоял и философ-идеалист Гегель»[3]).

---

[1]) А. Маковельский, Досократики, ч. II, стр. 52.
[2]) Там же, стр. 64.
[3]) Там же, стр. 170.

Не знаем, на каком месте стоит В. Г. Фридман, но что он не стоит, не сидит и не лежит на диалектической позиции, за это можно поручиться. Он забыл «маленькую малость», что Маркс и Энгельс только потому и переворачивали Гегеля, что последний дал характеристику диалектики всякого движения, хотя и в «мистифицированной форме».

Вот почему наш автор, перечисляя всех, кто говорит так или иначе о софизмах Зенона (начиная Эпикуром и кончая чуть ли не Гришкой Распутиным), не останавливается совершенно на замечательных указаниях Гегеля, дающих действительное диалектическое разрешение апориям Зенона.

Гегель первый показал, что отрицательная диалектика элейцев, уничтожавшая движение бытия, недостаточна. Самому бытию, движению и всем определениям бытия присуще противоречие, но не формальное чисто отрицательное, а положительное, увязанное в единство. Сама действительность есть не что иное, как движущееся противоречие. Гегель первый показал, что непрерывность и дискретность в количестве не могут быть односторонне оторваны и противопоставлены друг другу. Количество есть единство этих моментов, непрерывность и дискретность [1], а поэтому свойства количества—быть этим простым единством дискретности и непрерывности—приводят к спору или антиномии бесконечной делимости пространства, времени, материи и т. д. Эта антиномия состоит лишь в том, что дискретность должна быть признаваема так же, как непрерывность. Одностороннее предположение дискретности приводит к достижению бесконечного или абсолютного разделения на части, стало быть, к неделимому, как к первоначалу; напротив, одностороннее предположение непрерывности к бесконечной делимости [2]).

В связи с этим Гегель разобрал антиномии Канта, которые тоже, в сущности, могут быть сведены к некоторым апориям Зенона. Гегель указал, что ошибка Канта состояла в том, что он придавал этим антиномиям лишь суб'ективное значение. Но Кант остановился на том отрицательном результате, что мысль не может постигнуть сущности вещей, и не проник до истинного и положительного значения антиномий. Истинный и положительный результат, вытекающий из антиномий, есть тот, что все существующее содержит в себе противоположные определения, и поэтому понять предмет—значит узнать противоположные определения, содержащиеся в единстве предмета [3]).

Так что сравнивать Гегеля с элейцами, как это делает наш автор, которые так же, как и Кант, остались только на точке зрения отрицательной диалектики—значит обнаружить полнейшее непонимание философии Гегеля.

Этим и определяется разрешение зеноновых апорий. Эти апории разрешаются не тем, что непрерывность количества уничтожается в дискретности, или, наоборот, дискретность в непрерывности. «Его истинное разрешение может состоять лишь в том, что оба его определения, поскольку они противоположны, и вместе с тем необходимо присущи одному и тому же понятию, могут сохранять значение не в своей односторонности, каждое для себя, а имеют свою истину, лишь в своем снятии, в единстве своего понятия» [4]). Конкретно, в действительном движении, пространстве и времени и формальное «никогда не догонит» и «формальное всегда догонит», связанные в единство, терпят ограничение и дают своим результатом встречу Ахиллеса и черепахи на таком-

[1]) Гегель, Наука логики, кн. 1, стр. 113.
[2]) Там же, стр. 116.
[3]) Гегель, Малая логика, стр. 90.
[4]) Гегель Наука логики, кн. 1, стр. 117.

то расстоянии от начального пункта. Впрочем, эти моменты не уничтожены абсолютно единством, они сняты и следовательно сохранены, т.-е. действительное движение, пространство и время имеет их как противоречивые моменты.

Что же мы можем сказать в итоге о попытке В. Г. Фридмана «разрешить» парадоксы Зенона. В результате получается типичная формально-логическая путаница. Бросив совершенно неосновательно несколько упреков по адресу Гегеля и не разобравшись как следует в сущности материалистической диалектики, автор оказался в результате на той идеалистической скамье, на которой сидят Джемс и Бергсон. (Недаром автор на всем протяжении своей книжки так усиленно хочет от них отмежеваться).

В результате оказывается, что действительная материя движется в дискретном пространстве и времени, а воображаемая мыслимая материя, та, с которой имеет дело математика—в непрерывном. «Софизмы» Зенона поэтому имеют значение только для этого воображаемого математического движения, но не имеют силы для действительности. Они правильны, если взять ту предпосылку, что они относятся к математическим непротяженным точкам и к бесконечно делимому движению и времени; вот та конкретная обстановка, при которой они применимы в полной силе. Но при конкретных условиях реальной действительности, в материальном мире они неприменимы и их вывод (о невозможности движения) неправильный [1]).

Таков окончательный вывод нашего автора. Мы не имеем возможности это обсудить, но он почти ничем не отличается от взглядов идеалиста Джемса.

Но забавнее всего, что, делая этот вывод и вспомнив, что где-то говорится о диалектической формуле «да—нет и нет—да», наш автор важно замечает: «На вопрос, правильны ли софизмы Зенона, нельзя отвечать по формуле: да—да и нет—нет, надо отвечать по формуле «логики противоречия», именно по формуле: «да—нет» «нет—да». Софизмы Зенона одновременно и правильны и неправильны. Они правильны для «математических точек» и неправильны, если относятся к материальному миру. Такая «сугубо материалистическая диалектика» нашего автора напоминает нам тоже «диалектику» одного старого французского учебника. Для русских, где часто встречались фразы в роде следующей «я имею две ноздри, а у моей бабушки были вчера именины».

Г. Дмитриев.

ВАЛЬТЕР КЕННОН. Физиология эмоций. Телесные изменения при при боли, голоде, страхе и ярости. Перевод Дорфмана и Кратинова. Под редакц. и с предислов. Б. М. Завадовского. «Прибой». 1927. Цена 2 руб.

Появление книги В. Кеннона нужно расценивать как крупное литературное событие. На ее страницах, написанных сухим, «ученым» языком узкого специалиста, вдумчивый читатель найдет ряд новых интересных и глубоких мыслей, фундаментально дополняющих те познания, которые в области изучения поведения человека дало двадцатое столетие.

Если Павловская школа со своим блестящим методом условных рефлексов с каждым годом все глубже и глубже проникает в область деятельности больших полушарий головного мозга, подводя под понятия психологии об'ективно-рефлексологический базис, если Фрейд дал основ-

---

[1]) В. Г. Фридман, цит. кн. стр. 178.

ные исходные пункты в изучении бессознательных процессов человеческой психики, то Кеннон своими исследованиями телесных изменений при различных эмоциях (страхе, боли, ярости и пр.) создает базу для об'ективного изучения эмоциональных переживаний, создавая тем самым возможность полного и всестороннего изучения поведения человека.

Кеннон—физиолог. Этим определяется тот подход, который характерен для него в исследовании вопроса. Он рассматривает и анализирует не суб'ективно-психологическую сторону эмоций, а те доступные нашим органам чувств об'ективные процессы, которые возникают в организме при различных эмоциональных состояниях. Он стремится внести вклад не в старую суб'ективно-эмпирическую психологию, а в новую науку, которая возникла в XX столетии—в «науку о поведении животных и человека» (15 стр.), строящуюся исключительно на об'ективном фундаменте.

Эмоциональные переживания связаны с деятельностью желез внутренней секреции. Кеннон сосредоточил свое внимание на телесных изменениях во время эмоций, которые определяются деятельностью надпочечников, их мозговой части, как известно одних из важнейших желез внутренней секреции.

Его экспериментальные исследования, содержание которых достаточно подробно изложено в настоящей книге, внесли в науку о поведении новую, оригинальную методику и ряд капитальных фактов, касающихся связи между внутрисекреторными процессами и эмоциональными состояниями.

Раздражение чревных симпатических нервов вызывает появление в крови адреналина—гормона надпочечников. Разработав простую ясную методику определения содержания адреналина в крови [1]), Кеннон показал, что в организме высших животных при повышенных эмоциональных состояниях также выделяется адреналин. Кровь кошки, которая испытала болевое ощущение, страх или ярость, содержала в своей крови явные следы адреналина. Целым рядом опытов, как самого Кеннона, так и других исследователей, было показано, что этот адреналин играет исключительную роль в тех телесных изменениях, которые характеризуют эмоциональные переживания. Еще до Кеннона было известно, что при сильных эмоциях в крови повышается содержание сахара. За это говорят наблюдения над людьми, у которых после глубоких переживаний повышается процент сахара в моче. У кошек Кеннон вызывал это же явление, привязывая их к станку, благодаря чему кошки приходили в возбужденное состояние. Болевые раздражения, как было показано на кошках, вызывают тот же эффект. Так как одновременно с сахаром в крови находят адреналин, Кеннон ставит эти два процесса в связь, считая, что адреналин играет в повышении содержания сахара, существенную, хотя еще точно и не выясненную, роль. Такую же важную роль играет адреналин и в повышении кровяного давления, которое способствует выливанию из мышц ядовитых продуктов, обмена веществ и через это—восстановлению их работоспособности.

Но, кроме такого посредственного действия на мышцы, адреналин влияет на них и прямо. Если впрыскивать животному адреналин, то

---

[1]) Реактивом служит отрезок живой кишки кролика, находящийся в Ринге—Лонковском растворе. Пропускание через препарат крови, содержащей адреналин, вызывало торможение сокращений кишки. Ничтожные количества адреналина (в растворе 1: 2 00000000) оказывали на движение кишки заметное действие.

через незначительный отрезок времени можно наблюдать, как повышается моторная деятельность мышц и падает их порог раздражения. Кеннон думает, что в этом случае адреналин действует специфически на мышцы, нейтрализуя ядовитые продукты обмена веществ, накопляющиеся в них при утомлении. Наконец, Кеннону же удалось показать, что адреналин способствует ускорению свертывания крови—и здесь проявляя какое-то еще не ясное специфическое действие. В общем, как говорит Кеннон, «адреналин играет в организме большую роль: он вызывает усиленный распад углеводов в печени и увеличивает содержание сахара в крови; способствует притоку крови к сердцу, легким, центральной нервной системе и конечностям (скелетной мускулатуре. *В. С.*) и оттоку ее от заторможенных органов брюшной полости; он быстро уничтожает мышечную усталость и повышает свертываемость крови» (109 стр.).

Но Кеннон не останавливается на описании этих замечательных явлений—он идет дальше. Он пытается вскрыть то биологическое значение, которое имеют эти эмоциональные телесные изменения, связанные с повышенной адреналинизацией организма. Это значение—приспособительное. Быстрое выделение сахара в кровь под влиянием эмоционального возбуждения создает благоприятные условия питания тканям тела, которые пред'являют повышенный запрос в связи с напряжением. Восстановление возбудимости утомленных мышц обеспечивает возможность их добавочной усиленной работы. Повышение свертываемости крови способствует быстрому затягиванию ран, полученных в борьбе. «Телесные изменения,—пишет Кеннон,—сопровождающие сильные эмоциональные состояния, могут служить органическим подготовлением к предстоящей борьбе и возможным повреждениям, естественно обусловливая реакции, которые боль может вызвать сама по себе. Повышенное содержание сахара, усиленная секреция адреналина, приспособление кровообращения и ускоренное свертывание крови—все это в большей мере охранит жизнь того организма, который обладает наибольшей способностью вызывать все эти явления» (123). Все реакции, связанные с выделением адреналина в кровь, «могут быть истолкованы, как подготовление к сильному напряжению, которое может потребоваться организму» (119). К моменту борьбы—повышенное эмоциональное состояние в процессе борьбы—болевые ощущения вызывают адреналзацию организма и следом за этим ряд реакций, мобилизующих силы и способности организма, так как они никогда не мобилизуются в спокойном состоянии. Кеннон исследовал только адреналовую железу. Но кроме нее в эмоциональных переживаниях без сомнения участвуют и другие железы. Ведь эмоции влияют на все стороны жизнедеятельности организма, они универсальны и именно поэтому своим аппаратом они не могут иметь только надпочечники.

Заслуга Кеннона в том, что он начал и дал основную методику. Уже на основании того, что он дал, можно с уверенностью утверждать, что и в этой темной области—области эмоций—уже утверждается об'ективно-физиологический метод, который дает неизмеримо больше, чем методы суб'ективной психологии.

Конечно, работы Кеннона отвечают далеко не на все основные вопросы даже в той сравнительно узкой области, которую он своими опытами освещает. Так, например, в ряде случаев остается неясным тот механизм связи, который существует между внешними раздражениями, возбуждением симпатической системы действием адреналина и соответствующими телесными изменениями. Смутной представляется та

причинная последовательность, в которой располагаются эти элементы эмоционального переживания.

Совершенно опущен анализ связи между об'ективно-физиологической и суб'ективно-психологической сторонами эмоций.

Точно так же напрасно для теоретического анализа экспериментально полученного материала не привлечено учение Павлова об условных рефлексах. Благодаря этому недостатку работы читатель должен в некоторых местах книги сам переводить суммарно-психологические положения автора на дифференцированно-рефлексологический язык. Следует, наконец, упомянуть и о тех наивно-пацифистских рассуждениях по поводу войны, воинственных эмоций по поводу борьбы с войной путем переведения этих эмоций в общественно-полезное русло (эквиваленты воинственных эмоций), которые (рассуждения) преподносятся читателю в конце книги.

Здесь автор выступает, как типичный механист, не понимая того, что область социальных отношений должна быть анализируема специфическими методами исторического материализма и что, следовательно, перенесение в эту область биологической аргументации только путает вопрос. В наше время должно быть каждому ясно, что причины войны не в биологических воинственных эмоциях, а в явлениях социальных. Это место книги читатель смело может опустить. Книге предпослано интересное и содержательное предисловие Б. М. Завадовского.

Вас. Слепков.

Н. А. БОБРИНСКИЙ. Зоогеография и эволюция. Дарвиновская библиотека. Гиз. 1927 г. 150 стр. Ц. 90 к.

Автор, зарекомендовавший себя переводом с английского известной книги Джеда, эволюционист, вновь выступает правоверным последователем Дарвина.

Зоогеографию он справедливо считает одной из важнейших форм исследования живой природы, определяющим образом влиявших на возникновение дарвинизма. Поэтому изложение зоогеографии под его мастерским пером получает интересную связь с учением об эволюции.

В попытке излагать зоогеографию, как науку об исторически сложившейся фауне, исторический метод проникает в нее непосредственно. Особенно интересен в этом отношении принцип классификации зоогеографических областей, предложенный Рютимейером, принцип, пересматривающий старую, но прочно обоснованную, до-дарвиновскую, физиономическую классификацию Склетера. Сравнивая различные ископаемые фауны (мерзойскую, эоценовую, миоценовую, плиоценовую) с современными, он (Рютимейер) пришел к заключению, что фауна Австралии, Антарктического материка с его островами, а также самого юга Южной Америки и поныне носит характер мерзойской эры; с этими «живыми ископаемыми», «фауна Мадагаскара и Африки к югу от Сахары (следовательно, эфиопская область Склетера) до сих пор сохранила миоценовый отпечаток, индо-малайская фауна—древне-миоценовый; фауна Южной Америки тоже миоценовый, но более поздний; фауна Центральной Америки и Средиземноморской подобласти—плиоценовый, а фауна северных частей Европы, Азии и Северной Америки—четвертичный (97).

К сожалению, автор слишком мало останавливается как на характеристике общепринятых областей Склетера, так и на особенностях двух других принципов классификации—Рутимейера и Гексли.

Архитектоника книги прекрасно намечена и выполнена. В первой главе сжато определяются контуры проблем зоогеографии и ее основных понятий и в следующих главах концентрически воспроизводится система зоогеографической науки. Изложение венчается вопросом об образовании видов, поскольку он доступен обсуждению на основе современного состояния теории эволюционного учения и зоогеографических данных.

Несколько «клинообразно» втиснута V глава: «Фауна британских островов и история фауны Восточной Европы с ледниковой эпохи». Вдруг на 100-й странице автор уведомляет читателя, что в предыдущей главе, где он излагал основы зоогеографической науки, он следовал дедуктивному «пути к познанию истины», теперь он пробует пойти обратно по индуктивной тропе. Не потому, чтобы один путь был легче или тяжелей. Нет. А так, для разнообразия.

Но, по сути дела, здесь автор только свободней оперирует с эмпирическими познаниями зоогеографии, чтобы вновь поставить некоторые основные вопросы ее научной методики: в первой части этой главы основная мысль—источники заселения областей, во второй автор хочет показать, «как сложилась фауна какого-нибудь небольшого района в исторической последовательности». Первая проблема разобрана по одной работе Шарффас, другая по М. Я. Мензбиру.

В изложении книги чувствуется большой собственный опыт автора по зоогеографическим наблюдениям.

Для своей темы в книге несколько необычно отсутствует латинская терминология систематики, очевидно, из соображений популяризации.

Автору нетрудно было бы развить свой труд до об'ема учебника, отсутствие которого оставляет несистематизированными познания учащихся. Но и в форме популярной брошюры она может служить ориентировочным пособием по зоогеографии. Принимая во внимание четкость и ясность, с которой написана рецензируемая книга, можно ожидать ее большого успеха у читателей.

Отметим, наконец, еще пару особенностей автора, как эволюциониста. Вопреки упорному невниманию русских эволюционистов к «немецкому Дарвину» Геккелю, Бобринский разделяет то его положение, что «всякий организм мы вправе рассматривать, как результат воздействий двух начал: наследственности и изменчивости». Правда, по дальнейшей расшифровке видно, что автор ничего нового не говорит этим и даже вопрос о наследственной изменчивости разбирает вне данного положения». Благодаря законам наследственности, говорит он, дети всегда до известной степени похожи на родителей. Благодаря же изменчивости, каждая отдельная особь имеет свои личные, присущие только ей признаки» (135).

Из этого куцего понимания изменчивости неясно, что же виды изменчивы или нет. Об изменчивости видов, как уже сказано, у него речь идет особо. В сфере изменчивости видов идет борьба между современным эпигенетическим и преформистским пониманием наследственной изменчивости, и книга в доступной для широкого круга читателей форме излагает суть спора.

К серии лапсусов или даже просто неверных предрассудков относится тоже и новая мысль, что виды в природе «вообще не существуют, а существует только наше представление о них» (132). Отрицание реальности не только категории вида, но любой другой таксономической единицы, систематики вытекает из теоретической необходимости эво-

люционного учения односторонние искать непрерывный ряд органических форм. Так Бобринский вполне последовательно аргументирует: «Раз мы признаем эволюцию, т.-е. принимаем, что одни виды животных происходят от других, то все наши систематические деления до известной степени искусственны и устанавливаем мы их исключительно в целях удобства» (131).

Никто не будет настаивать, что научные познания современной систематики абсолютно адэкватно отражают действительность, но их относительность вовсе не исключает реального отражения вещей в природе. Перейти же от мысли, что систематич. категории «до известной степени искусственны» к релятивистской трактовке относительности их «исключительно удобством», означает сползать на идеалистическую платформу. Хотя для экономиста это означает только то, что в непрерывном ряде форм человек совершенно произвольно берет группу особей или форм и придает им значение известной систематической группы, что границ и пределов, устанавливаемых классификационными понятиями систематики, не существует в природе.

Какую бы дичь ни преподавал эволюционист, границы, пределы вообще и виды в частности, в природе существуют реально, и все дело в том, чтобы не принимать их за абсолюты. Виды же в природе существуют не просто как отвлеченная собирательная единица, а как группа особей, с совершенно реальными отличительными признаками. Если же различия, как думают эволюционисты, вносятся в систематику суб'ективно и действительно реально только единство (через родство) форм, то отсюда единство не различимого есть абсолютное тождество, простое ничто, т.-е. единство неразличимого безоб'ектно. Систематика же, как бы она ни была несовершенна, имеет своим основанием, об'ектом живую природу не только с ее действительным, реальным, генетическим единством, как это многократно подчеркивал эволюционист К. А. Тимирязев, но с такими же реальными различиями, порождаемыми в процессе развития на различных ступенях. Надо сказать еще, что эволюционисты, занимающие отличную от Бобринского позицию по затронутому пункту, просто жертвуют логической последовательностью.

Как бы там ни было с последовательностью, отрицание Бобринским реальности вида не только не верно, но и значительно отстало даже в теоретическом развитии эволюционного учения, сошлемся хотя бы на прекрасную главу о реальности вида в книге Тимирязева «Исторический метод биологии».

По своему простому изложению книга будет доступна для широкого круга читателей.

И. Бугаев.

П. НОВИКОВ. Теория эпигенеза в биологии. Изд. Комм. Академии. Стр. 99. Ц. 70 к. 1927 г.

Читатель не посетует на ясность задач, которые ставил перед собою автор рецензируемой брошюры. Вышедшая брошюрой статья т. Новикова, по его словам, имела двоякую цель: 1) «дать сжатый очерк исторического развития теории эпигенеза», 2) с другой стороны, «отметить некоторую связь учения об эпигенезе с научными и философскими особенностями отдельных моментов его прошлого, установить некоторые специфические особенности и тенденции этой теории, сопоставить

их с исторической обусловленностью и характерными отличиями преформистских учений». Ясно?

Брошюра распадается на две части: на исторический обзор и теоретический разбор эпигенетических учений. Так делил материал Дриш, наблюдатель истории и «исторического», так делали многие, так сделал и т. Новиков. Нельзя сказать, чтобы четко были разграничены в книге эти задачи. Непреодолимые препятствия в этом отношении возникают у автора потому, что он детски невинен в части научной методологии истории наук. В книге ему пришлось сначала наметить непрерывную цепь исторического развития эпигенетического учения.

Единственным руководителем в случаях историко-методического безголовья служит хронология. Она же служит рамой Новиковского изложения. Но в теоретической части о чем же говорить приходится?

Приходится, во-первых, повторяться, а, во-вторых, выполнять вот ту, уже отмеченную, «ясную» задачу книги.

Несмотря на повторяемость, на известный «преформизм» первой части во второй, систематический разбор эпигенеза несколько более интересен, чем исторический.

Там автор пытается найти «историческую обусловленность эпигенеза» и преформизма. И выходит, что «борьбу теории эпигенеза с преформизмом, учит он, следует рассматривать, как одно из выражений кардинальнейшего в истории биологии факта—прогрессирующего расхождения морфологической и физиологической точек зрения на развитие органических форм» ... «преформизм и старый и более поздний есть отображение одностороние-морфологического анализа формообразования, большинство же эпигенетических теорий проникнуто физиологическими тенденциями» (87 стр.). Почему роковым образом кардинальнейшее расхождение морфологии и физиологии опосредуется в эпигенезе и преформизме, автор так и не поведал.

Затем он связывает преформизм с «статическим мышлением», а эпигенез с «динамическим», в силу чего «внимание эпигенетических систем устремляется на изменчивость формы, теории же преформации приписывают последней постоянство». Трехэтажная философия связи физиологии—эпигенеза—динамического мышления раз и морфологии—преформизма—статического мышления два, упирается в два следующих противоречия. Трансформистская идея родилась в морфологических пеленках, а также, следовательно, безнадежно статично мышление морфологии. Виталисты никогда не занимали преформистской позиции, но и исторический взгляд их никогда не привлекал; куда же тогда девалась «динамичность мышления» Новиковского эпигенеза?

Эволюционная идея в биологии мало интересовала, как более широко известная, нашего автора. Хорошо, оставим первое противоречие.

Связь эпигенетической теории с витализмом и преформистской с механистическим мировоззрением, особенно в до-Дарвинскую эпоху, не ускользнула от внимания автора. Но он признает обусловленными только облюбованную трехэтажную связь, а «архаический конкордат эпигенеза с витализмом и каким-либо отголоском «организма», есть явление чисто внешнее, исторически возникшее.

«Понятно, на досуге не возбраняется вымыслить какие угодно фантастические «конкордаты», но историческую связь, воспроизводившуюся так упорно в эпигенезе и витализме, нельзя отбросить, надо понять. Как механическая, так и виталистическая концепция в биологии не историчны, им обеим чужда последовательно проводимая концепция развития. Эпигенез, как процесс становления новообразований, может быть

правильно понят только с точки зрения теории развития и неправильно может быть понят с телеологической финальной, энтелехиальной точки зрения. (Что теологическое понимание эпигенеза неправильно и не научно, заметил и сам т. Новиков при анализе учения об эпигенезе Дриша).

В рамках механистической метафизики эпигенез есть чудо. Так в какой же форме исторически мог отстаиваться старый эпигенез, как не в виталистической, теологической форме, до появления трансформизма XIX века? Теологический костюм эпигенеза мог быть оставлен, поскольку теоретическая биология стала бы ступенью выше, стала вплотную к диалектическому пониманию природы. Исторически же теологическая форма эпигенетической теории в известном логическом смысле и на известной ступени истории биологии неизбежна.

Не поняв необходимой связи эпигенетической теории в до-Дарвинской биологии с телеологической оболочкой и преформизма с механическим мировоззрением, т. Новиков захотел сочетать механистическую концепцию с эпигенезом. Его вовсе не смутил преформистский по существу характер эпигенетических воззрений Каммерера.

Чтобы уловить действительные логические тенденции эпигенеза и преформизма, автору нужно было больше внимания уделить исторической «связи учения об эпигенезе» и преформизме с философией (Декарта и Лейбница), о чем он говорит лишь со слов комментаторов. В частности, интересно было бы исследовать, в какой мере влияние общефилософских анти-механических взглядов Лейбница отразились на теоретическом витализме эпигенетика Вольфа.

Тов. Новиков приводит обширную литературу, которой он пользовался, но философы в ней обойдены. Почему?

Внимание к философии недостаточно у автора, им и об'ясняется слабость книжки. Мы уже не говорим о том, что он прозевал Гегелевскую критику «эволюционизма» в смысле преформизма.

О философии Гегеля он изрек, что она «содержащий в себе рудимент (?) исторического понимания природы». Что сказать о такого рода «рудиментарных» представлениях о философии Гегеля?

В исторической и систематической частях подчеркнуто, что сама проблема впервые стала в онтогенетической форме—и это обусловлено до-трансформистской эпохой истории биологии.

В историческом очерке самое интересное изложение критики Ру одностороннего теологического и механического понимания эпигенеза. Автор показывает, что и в положительном понимании индивидуального и филогенетического развития Ру, сочетая эпигенетическую преформацию и преформационный эпигенез, приближается к диалектическому пониманию проблемы. П. Новикова Ру удовлетворяет только в онтогенетической постановке проблемы.

Преформация имеет смысл только как историческое повторение эпигенеза. Ее устанавливает уже биогенетический закон Геккеля. Филоэпигенетические новообразования невозможны без проявления их в онтогенезе, т.-е. в индивидуальном развитии. Отсюда, незаконно китайской стеной отгораживать онтогенетический и филогенетический эпигенез, чем занимается автор. Чистый механо-ламаркистский филогенетический эпигенез (к которому благосклонно примыкает автор), когда вновь появляющиеся признаки были бы обусловливаемы только внешними влияниями среды, устраняет историческую основу развития и приведет к витализму, несмотря на сознательные устремления в «механику». Дриш тоже начинал с механических увлечений, а кончил спиритизмом.

Совершенно одностороннее и потому неверно положение в теоретической части автора, что «с эпигенезом согласуются лишь те учения, которые допускают минимум устойчивости (курсив мой. *И. Б.*) для признаков организма», и далее «всякое учение о сальтационном (курсив мой. *И. Б.*) видообразовании, хотя бы размах каждой мутации был сведен к минимуму, все же тяготеет к преформизму, так как содержит в себе хотя бы самое малое допущение постоянства признака и на самый незначительный срок» (86). Положение явным образом упирается в «трехэтажную философию» о связи динамического мышления с эпигенезом и т. д. Реакционность его видна уже в том, что он пришел к теоретическому отрицанию скачка в биологии. Только теоретическая наивность позволяет автору не понимать, что представить себе становление новообразования постепенно, беспрерывно, значит допустить становящееся уже существующим (т.-е. эволюционным в смысле трансформизма, который есть только особая форма преформизма). Попытка представить эпигенез, как абсолютно беспрерывный процесс текучести, есть преформизм.

Необходимо заметить еще, что в книге ни к чему приводится понимание органической школой социологии (Гертвиг) эпигенеза в обществе.

Книга Новикова требует значительной переработки, чтобы быть рекомендованной читателю.

И. Бугаев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В редакцию журнала „Под Знаменем Марксизма“.

У меня не могло быть ни малейшего желания участвовать в той борьбе между «диалектиками» и «механистами», которая происходит, и не потому, что я не занимаю ясной и определенной позиции в этой дискуссии. Но я втянут в борьбу, мое имя фигурирует и в письме И. И. Скворцова и в письме Н. Карева, помещенных в «Под Знаменем Марксизма».

Я не ответил Скворцову, хотя у меня возражения были. Строки, уделенные мне в письме Карева, вынуждают меня сказать несколько слов.

Можно лишить человека предпосылок и условий, необходимых для работы и даже для самой жизни, но нельзя отнять у него его убеждений. Нельзя превратить диалектического материалиста одним росчерком пера в естественно-научного материалиста. Подобную же операцию попытался совершить Карев над моими воззрениями в своем письме.

Да, я организационно беспартийный биолог-материалист, но не только естественник-материалист. На точке зрения ортодоксального диалектического материализма я стою с юных лет (с 1903 г.) и оставался ей неизменно верен и в самые трудные периоды жизни. К участию в журнале «Под Знаменем Марксизма» меня привело не естественно-научное материалистическое мировоззрение, но последовательно продуманный диалектический материализм. Уже в первой моей статье «Дарвинизм и теория мутаций» в журнале «Под Знаменем Марксизма» (1925 г., № 3, стр. 138) была изложена в самой общей форме моя диалектическая точка зрения. Специализация в области биологии заставила меня на время всецело приковать внимание к естественно-историческим проблемам и усвоить общепринятую среди биологов терминологию. Мои, полагаю, диалектические воззрения будут более обстоятельно выявлены в докладе или в статье на тему «Эволюция и диалектика в биологии».

Что же касается специально цитаты из моей статьи «П. Каммерер», приведенной в письме Степанова, то смысл ее будет более ясен, если я приведу целиком тот абзац, из которого она взята.

«Каммерер являлся не только материалистом в понимании явлений и процессов жизни, но его мировоззрение было проникнуто элементами, близкими к философии диалектического материализма. Он стоял на точке зрения признания вечного движения, вечного изменения во вселенной. «Не вечное существование, а вечная перемена, вечное превращение является одинаковым принципом и жизни, и смерти». «Одно постоянно переходит в другое». «Отчетливых границ вообще нет нигде в природе». Таковы его формулировки, отражавшие диалектическое понимание явлений мира».

Разве приведенные положения не являются э л е м е н т а м и, б л и з к и м и к философии диалектического материализма? Разве в них не о т р а ж а е т с я диалектическое понимание явлений? Говорится, ведь,

только о близких элементах и об отражении, а не сказано, что Каммерер являлся диалектиком-материалистом, что диалектический материализм являлся его методом и мировоззрением. Хотел бы я выяснить мои недоумения.

Любопытно, что в докладе на заседании «Об-ва Воинств. Матер.» Н. Карев относительно Козо-Полянского утверждает, что «его старая книга «Диалектика в природе» была приемлемой для марксиста книгой». Основное же положение этой книги следующее: «Эволюционная точка зрения в биологии и есть диалектическая точка зрения в ее специальном для этой науки понимании» («Диалектика в природе», 90 стр.). Как примирить применение двух разных масштабов в оценке моих высказываний и воззрений Козо-Полянского?

В других цитатах, приведенных из моей статьи в письме Степанова, содержалась только об'ективная характеристика взглядов Каммерера.

С марксистским приветом

Ф. Дучинский.

25 июня 1927 г.
